This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

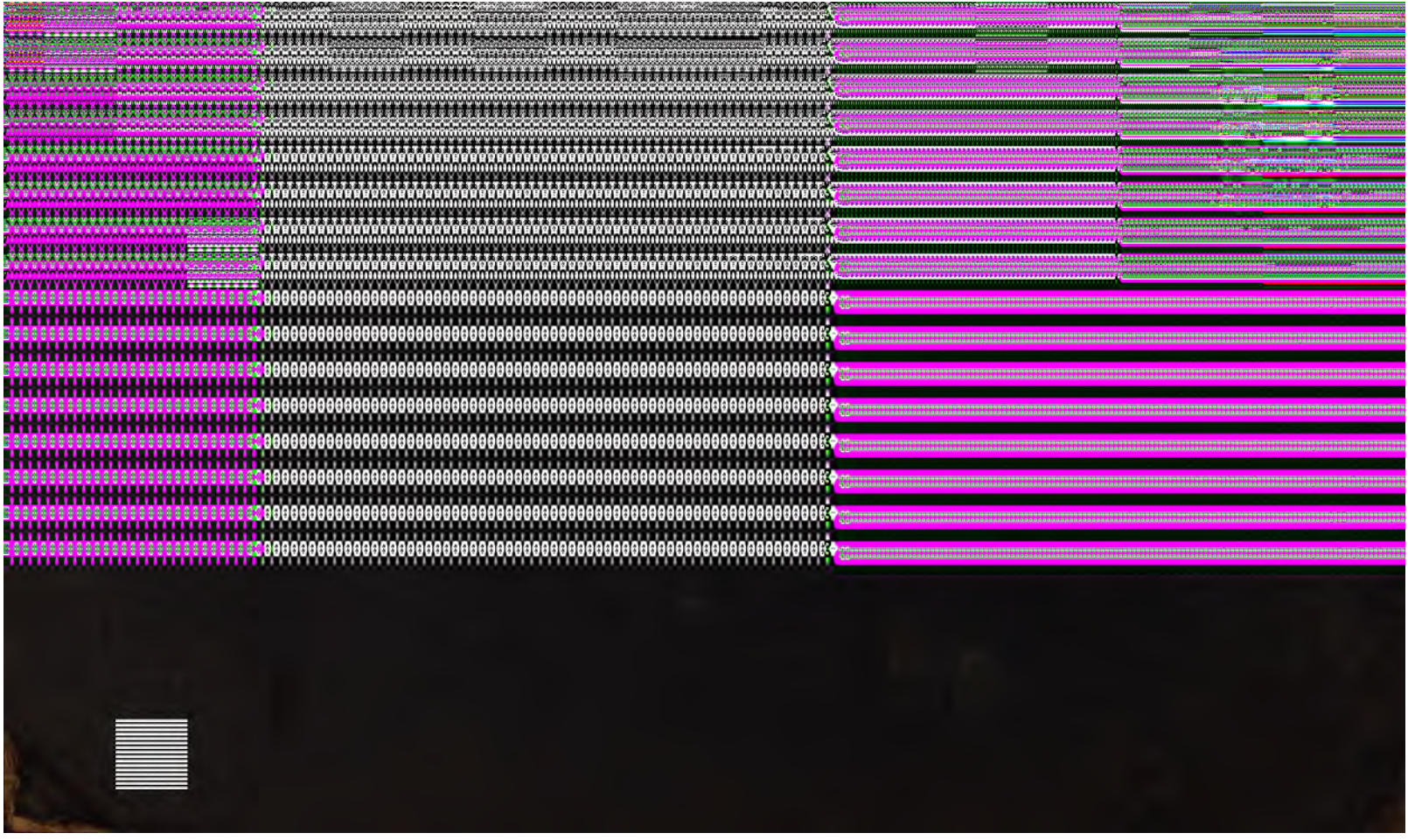
- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`



ARIES

XXII a/4

125

II I
II 138

ПОВѢСТИ, СКАЗКИ И РАЗСКАЗЫ.

И

ДЪРЖАВНА МЪЖКА ГИМНАЗИЯ
ВЪВ ГР. СОФИЯ

№ 11,636

ПРОВ. [illegible] г.

НОВЫЙ ВѢКЪ.

Онъ зарождается незримо и неслышно въ раззолоченныхъ палатахъ или въ глухомъ, грязномъ углу пастушьей пещеры,—зарождается среди веселыхъ игръ и смѣха, или среди угрюмой тишины пыльнаго кабинета ученаго; въ мышиной норкѣ подвальнаго этажа, или начердакѣ подъ крышей, среди гнетущей, безвыходной нищеты.

Онъ родится среди человѣчества, изъ его жизни, но человѣчество, занятое этою жизнью, не замѣчаетъ его. Оно начинаетъ видѣть его только тогда, когда уже онъ значительно выросъ, накопилъ силъ и знанія, богатствъ нетлѣнныхъ и благъ матеріальныхъ.

У него есть заповѣдная шкатулка и надъ ней онъ дрожитъ, какъ и всякій скупой. Онъ ревниво прячетъ ее отъ всего человѣчества, но оно рано или поздно вскроетъ ее, разумѣется, послѣ смерти великаго скряги. Оно всегда находитъ въ ней то, чего не ожидало, находитъ новыя, нежданныя богатства, съ которыми порой не знаетъ что дѣлать и говоритъ, съ сожалѣніемъ качая головой:

Куда оно? Какая вещь пустая!

И бросаетъ жемчужное зерно въ ящикъ міроваго забвенія, въ вѣковой хламъ всемірной исторіи. Но приходитъ новый вѣкъ и хламъ вѣковой разбирается съ любовью и

жемчужное зерно вставляется въ корону знанія, въ лучшую корону, которая блеститъ сіяющимъ вѣнцомъ нетлѣнной истины надъ головой всего человѣчества...

Онъ жилъ когда-то на озерахъ, въ тѣ времена, когда страны были полны озерами и болотами, жилъ въ конурахъ изъ хвороста, на сваяхъ, которыя онъ вбивалъ въ вязкое дно озеръ. Вѣковые льды, вѣковая борьба съ громадными медвѣдями, съ холодомъ и голодомъ воспитали его въ колыбели суровой мачихи природы. Онъ радовался каждому осколку кремня, которымъ онъ могъ оскоблить кости громадныхъ дикихъ быковъ и оленей, которыхъ онъ поѣдалъ.

Прошли милліоны лѣтъ и человѣчество вскрыло тѣ объѣдки, которые первобытный вѣкъ оставилъ послѣ себя, вскрыло ту почву, въ которую онъ вбивалъ свои сваи, нашло кости животныхъ, служившихъ его цѣлямъ, и поняло великую тайну приспособленія и развитія, въ силу котораго оно идетъ впередъ и вѣчно работаетъ надъ сваями общественности, незная куда, въ глубь какой почвы оно вбиваетъ эти сваи.

Онъ жилъ среди тропическихъ лѣсовъ, полныхъ могучей растительности. Онъ вглядывался въ деревья этихъ лѣсовъ, разбиралъ зубцы и жилки ихъ листьевъ, присматривался къ жизни птицъ, изучалъ ихъ языкъ, пѣсни и учился у нихъ гармоніи. Онъ выучился добывать огонь изъ дерева, но никто не зналъ, какой огонь онъ прячетъ въ темномъ углу хижины изъ листьевъ, подъ большимъ камнемъ тяжелой человѣческой мысли.

По смерти его человѣчество вскрыло заповѣдный уголъ и яркій свѣтъ фантазіи ослѣпилъ его. Оно поклонилось чудной, божественной сказкѣ, не замѣчая, что за ея словами спрятанъ великій смыслъ, который не разгадали философы всѣхъ вѣковъ и народовъ.

Онъ жилъ на берегу великой, плодоносной рѣки, въ

которой лотосъ купаетъ свои нѣжные, дѣвственные цвѣты, рѣки, утучнявшей почву рисовыхъ плантацій остатками прежняго, когда-то жившаго міра. Онъ жилъ подъ жгучимъ, тропическимъ солнцемъ, которое палило вершины пальмъ и гигантскихъ пирамидъ. Все въ немъ было царственно-покойно и величаво-просто,—каменные колоссы и пирамиды, дворцы-террасы и сотни воротъ вѣковаго города, узорчатыя колонны и темные, священные храмы, стѣны которыхъ покрывали таинственныя письмена—гіероглифы. Въ этихъ храмахъ пряталась наука, въ видѣ обрывковъ, не сплоченныхъ въ стройное зданіе, и въ самомъ темномъ углу ихъ онъ зарылъ тѣ сокровенныя тайны, до которыхъ не можетъ еще докопаться современное человѣчество.

Римская тога покрывала его въ то время, когда онъ обхватилъ цѣлый міръ западной цивилизаціи. Мечемъ и огнемъ пригнулъ онъ его подъ свое желѣзное иго и цѣлый міръ дивился его силѣ и могуществу. Онъ училъ этотъ міръ подвигамъ гражданства, великимъ подвигамъ, которые до сихъ поръ сіяютъ алмазами на скрижаляхъ исторіи всего человѣчества. Среди чужихъ племенъ и народностей онъ захватилъ и боговъ Греціи, захватилъ свѣтлыя созданія искусства, ту музыку линій, которую онъ надежно припряталъ въ храмѣ Весты. Онъ зарылъ ее въ чудномъ, мраморномъ саркофагѣ, на который всѣ музы съ грустью положили вѣнки, а богиня любви зажгла надъ нимъ свой вѣчный пламень неугасаемаго огня. И цѣлыя поколѣнія варваровъ забрасывали этотъ саркофагъ хламомъ своей обыденной, грубой жизни. Цѣлыя поколѣнія первосвященниковъ клали на него свое священное veto и торжественно провозглашали ему: anathemos!

Бездушные мраморные боги, гордые своей античной красотой, съ величіемъ возносились на костяхъ рабовъ, съ презрѣніемъ слушая какой-то смутный, подземный шумъ

гулъ какого-то сумазброднаго ученія, обхватившаго сердца всѣхъ страдающихъ и угнетенныхъ. Но это ученіе тихо, незримо, какъ вѣшняя вода, проникало почву и повелительно разливалось по вѣсямъ и селамъ. Поднялось все приниженное и забитое и съ трепетомъ и надеждой, дивясь и недоумѣвая, смотрѣло на горизонтъ будущаго, на которомъ загоралась заря *человѣчности*... Но не то судилъ «Новый вѣкъ». зарывая свою сокровенную шкатулку въ священномъ городѣ Іудейской палестины, въ самомъ гробу Великаго Учителя...

Бурно, повелительно разлился потокъ, злобный и фанатичный, возникшій изъ ученія любви и мира. Огнемъ и мечемъ онъ проложилъ себѣ дорогу, обхватилъ весь востокъ, сѣверъ Африки, югъ Европы—и зацвѣлъ, заигралъ радужными цвѣтами фантазіи, пестрыми арабесками восточныхъ сказокъ, глубокой мудростью восточныхъ мудрецовъ.

Въ отпоръ ему поднялись палладины, поднялись съ твердой вѣрой, что они отнимутъ священныя реликвіи у нечистыхъ обрѣзанцевъ. Закаленные въ бояхъ съ сосѣдями, грубые рыцари креста, привыкшіе къ мечу, не находя ему простора и работы дома, они съ радостью, съ фанатическимъ увлеченіемъ понесли его въ ту страну, въ которой камни говорили и земля содрогалась отъ знаменій. И цѣлыхъ четыре столѣтія тянулся «Новый вѣкъ», выросшій изъ ученія любви и мира, тянулись кровавыя, звѣрскія битвы народовъ за пустой гробъ, изъ котораго все живое, человѣчное давно уже унеслось, въ свѣтозарной славѣ, въ область любви и мира...

Насталъ «Новый вѣкъ», вѣкъ возрожденія. Человѣчество вскрыло тотъ саркофагъ, надъ которымъ тяготѣло вѣковое veto и проклятіе церкви. Какъ ребенокъ оно радовалось каждой чертѣ, каждому уцѣлѣвшему кусочку древней гармоніи. Казалось, эта гармонія готова была спуститься на землю и освѣтить миромъ уставшихъ въ борьбѣ и битвахъ.

Но рядомъ съ поклоненіемъ красотѣ кипѣли и эти битвы. Внутренній междоусобный раздоръ обхватилъ націи, проникъ за священный порогъ церкви и мысль впервые поднялась и заговорила противъ произвола и насилія...

Онъ одѣлся въ бархатный кафтанъ съ большими дутыми пуговицами французской работы. Спряталъ грудь и руки въ аллансонскія кружева. Надѣлъ громадный, завитой парикъ, какъ бы боясь простудить горячую мысль, которая жгла ему голову, и заплелъ назади, привязанную бантомъ, косу, какъ эмблему прошедшаго, отсталаго, какъ преданіе, которому когда-то поклонялся. Онъ выслалъ цѣлую фалангу піонеровъ, которые несли бѣлое знамя свободы мысли. Въ крови и пламени онъ ломалъ все, что прежде было дорого человѣчеству, и оно рукоплескало этой варварской бойнѣ, ради будущей свободы, оно подняло кровавое знамя, на которомъ блестѣли безумные, святые для него символы: «братство, равенство, свобода», не понимая, что братство безъ любви—пустой звукъ, равенство—противуестественный миѳъ, а свобода не въ силахъ обхватить безчеловѣчнаго человѣка, полнаго темныхъ влеченій и себялюбивыхъ страстей. Проникнутое великой идеей, съ полнымъ восторгомъ и упованіемъ человѣчество смотрѣло въ даль будущаго, но не то лежало въ той завѣтной шкатулкѣ, которая уцѣлѣла отъ лезвея гильотины и которую вѣкъ разрушенія зарылъ на берегу Сены въ грязный, сырой уголъ парижской морги...

Вскрыло человѣчество это богатство и свѣтъ электричества ослѣпилъ его и полетѣла мысль его черезъ моря и горы, во всѣ концы міра, загудѣла по проволочнымъ струнамъ телеграфовъ. Электричество поглотило пространство, оно послужило общенію. Но это не было общеніе любви и мира. Въ дыму и копоти каменнаго угля, въ пару машинъ и локомобилей, трудится человѣкъ надъ новой, роскошной одеждой цивилизаціи. Но дальше и дальше въ глубину

простой, первобытной жизни уходитъ отъ него человѣчность.

Древній Ваалъ высоко вознесся надъ новымъ человѣчествомъ, и отверженный, нѣкогда гонимый, разсѣянный по лицу земли, народъ Іеговы—гордо всталъ, жрецомъ верховнымъ, передъ жертвенникомъ золотаго тѣльца, собирая лепты труда со всѣхъ народовъ. Поднялось чудовище, желѣзное, крѣпкое, тягучее — сильное своей выносливостью и придавило всѣхъ «трудящихся и обремененныхъ...» Потемнѣлъ горизонтъ. Любовь спряталась въ громадную книгу конторъ и банковъ и не можетъ пробить тьму безчеловѣчія ни свѣтъ электричества, ни всепроникающая сила знанія.....

Что же откроетъ будущее человѣчество въ шкатулкѣ стараго скряги? Чѣмъ его встрѣтитъ «Вѣкъ Новый?..»

ПРИ ЦАРѢ ГОРОХѢ.

(Сказка).

I.

Кто не слыхалъ о царѣ Горохѣ, только не всѣ знаютъ какой онъ былъ славный: толстенькій, да жирный, красненькій, румяный, сѣденькій, лысенькій, съ круглымъ брюшкомъ, пухлыми щечками и маленькимъ носикомъ.

Всѣ любили царя Гороха и онъ всѣхъ любилъ, потому что въ его царствѣ всѣ любили другъ друга, за невозможностью ненавидѣть.

Въ его царствѣ не было злыхъ; потому что не было добрыхъ, и всѣ были умны или, по-крайней-мѣрѣ благоразумны, за то не было благонамѣренныхъ.

Въ его царствѣ не было бѣдныхъ, потому что не было богатыхъ и каждый имѣлъ сколько чего хотѣлъ, потому что всего было въ волю.

Въ его царствѣ не было цѣпныхъ собакъ, потому что не было воровъ, а не было воровъ потому что ни у кого не было моего, а у всѣхъ было чужое, т.-е. наше.

Иногда какіе-нибудь лакомки безъ церемоніи забирались къ царю въ кладовыя, благо онѣ были не заперты, и наѣдались тамъ всякаго добра. А когда царю Гороху доносили о томъ, то онъ только махалъ рукою и говорилъ:

— Ничего! Пускай ихъ!

Все было хорошо въ царствѣ добраго, славнаго царя Гороха и все обстояло благополучно. Не могъ онъ только избавиться отъ одного: отъ прихлебателей и наушниковъ и все не почему иному, какъ просто потому, что былъ онъ царь. Какъ онъ не гонялъ отъ себя весь этотъ народъ, какъ ни отмахивался, не могъ отогнать. Лезли они къ нему, какъ мухи или какъ трутни на медъ.

— Ахъ! ваше величество,—говорилъ ему какой-нибудь прихлебатель,—какой у васъ величественный видъ, такъ и видно, что онъ скрываетъ величіе души.

— Ничего!—говорилъ царь Горохъ,—пускай его!

И прихлебатель тотчасъ же бѣжалъ всѣмъ объявлять, что царь Горохъ его лучшій другъ и что онъ всегда говоритъ ему обо всемъ, что думаетъ. И всѣ тотчасъ же разспрашивали,—А что думаетъ нашъ славный царь Горохъ?... Хотя всѣ очень хорошо знали, что царь Горохъ никогда ни объ чемъ не думалъ и не думаетъ.

— Ваше величество!—говорилъ царю какой-нибудь наушникъ,—вашъ оберъ-гофъ-гартенмейстеръ говоритъ: колибы на горохъ не морозъ, онъ-бы черезъ тынъ переросъ. Очевидно онъ этимъ посягаетъ на права вашего величества!

— Ничего!—говорилъ царь Горохъ,—пускай его!

— Ваше величество,—говорилъ другой наушникъ,—вашъ гофъ нахъ-шнейдеръ-оберъ-мундшенкъ говоритъ, что всякая травяная тля лучше гороховаго киселя. Очевидно онъ намекалъ на священную особу вашего величества.

— Ничего! пускай его!—говорилъ царь Горохъ...

Было одно средство избавиться отъ этихъ надоѣдныхъ мухъ—это обратиться къ физикусамъ и химикусамъ. Они отъ всего могли избавить.

Это были очень странные люди. Они знали всякую мелочь и потому творили великія вещи. Собственно говоря, они занимались однимъ и тѣмъ же, но никакъ не хотѣли въ этомъ сознаться. У обоихъ были вѣсы, на которыхъ они все могли взвѣсить, привести въ мѣру и въ извѣстность, и хотя у тѣхъ и другихъ были совершенно одинаковые вѣсы, но физикусы называли свои вѣсы физическими, а химикусы—химическими, и каждый изъ нихъ строго держался своихъ вѣсовъ

И вотъ эти господа все мѣрили и вѣсили. Они вѣсили землю и говорили, что на ней можетъ родиться, вѣсили воду и говорили, сколько, когда и гдѣ выпадетъ дождя и снѣгу, вѣсили воздухъ и говорили, какіе и откуда будутъ дуть вѣтры и бури и указывали, какъ надо чистить воздухъ, потому что и онъ вѣдь можетъ засориться отъ долгаго употребленія. Наконецъ, они вѣсили всякій огонь, всякій лучъ, который падаетъ отъ солнца на землю, и говорили, что и какъ можно сдѣлать изъ этого луча.

И вотъ за все за это народъ ихъ терпѣть не могъ. Они были единственные люди, которыхъ никто не любилъ въ цѣломъ царствѣ царя Гороха. Да и какъ же было любить ихъ, сами посудите! Иной, напримѣръ, захочетъ вдругъ завести около города пруды съ карасями, а они говорятъ: «не смѣй! воздухъ испортишь»! Другой засѣетъ поле и радъ, что можно теперь лечь сытымъ желудкомъ къ верху и погадать: усну, или не усну!?—какъ вдругъ набатъ, вставай весь народъ: химикусы и физикусы всѣхъ сзываютъ машины качать, воды набирать, потому что черезъ три дня наступитъ засуха на три недѣли. Ну и идетъ народъ, въ затылкѣ чешетъ, глаза протираетъ и всѣхъ физикусовъ, съ просонковъ, ко всѣмъ чертямъ посылаетъ.

Правда, бывали минуты, что народъ имъ и спасибо говорилъ, но вѣдь спасибо только тогда и дорого, пока еще въ карманѣ лежитъ, а какъ выпустилъ, такъ и забылъ за что отдалъ; не дорогая, молъ, вещь! Притомъ, что сначала было въ диковинку, за то и кланялись, а какъ попривыкли, да обсмотрѣлись, такъ каждый говорилъ, что все это дрянь и онъ самъ гораздо бы лучше сдѣлалъ. Вѣдь извѣстно, что говорить всегда легче, чѣмъ дѣлать.

II.

И вотъ къ этимъ-то физикусамъ и химикусамъ наконецъ, обратился царь Горохъ съ просьбой: нельзя ли какъ-нибудь избавить его отъ всякихъ наушниковъ и прихлебателей?

— Можно, — сказали физикусы и химикусы, — только трудно. Для этого нужно уничтожить во всемъ народѣ самолюбіе, чтобы никто не лѣзъ впередъ или наверхъ, ближе къ вашему величеству. Если ваше величество дозволите, то мы весь народъ приведемъ въ одну мѣру, обровняемъ. Теперь въ немъ нѣтъ ни злыхъ, ни добрыхъ, а мы сдѣлаемъ такъ, что всѣ будутъ равны одинъ другому и каждый каждому, во всѣхъ простыхъ и кратныхъ отношеніяхъ. Всѣ будутъ идеальны, нравственны, индеферентны и будутъ блаженствовать съ позволенія вашего величества.

— Ничего! пускай ихъ!—сказалъ царь Горохъ.

И вотъ не успѣлъ процарствовать онъ и двухъ тысячъ лѣтъ съ двумя днями, какъ весь народъ въ его царствѣ измѣнился. Всѣ стали похожи одинъ на другого, какъ двѣ капли воды, и всѣ стали индеферентны. Кто-нибудь одинъ, который поближе стоитъ къ лѣсу, скажетъ:

— Ахъ, какой прекрасный лѣсъ! я пойду въ него.

И всѣ тотчасъ же закричатъ:

— Ахъ, какой прекрасный лѣсъ, я пойду въ него!

И всѣ дѣйствительно пойдутъ въ лѣсъ, такъ что въ городѣ никого не останется, кромѣ царя Гороха, физикусовъ и химикусовъ, что было не совсѣмъ удобно.

Такимъ образомъ полное согласіе вездѣ и во всемъ царило въ народѣ царя Гороха. Надѣнетъ одинъ бѣлый галстухъ и всѣ надѣнутъ бѣлые галстухи. Надѣнетъ одинъ красный колпакъ и всѣ надѣнутъ красные колпаки. Чихнетъ одинъ и всѣ за нимъ чихнутъ и всѣ скажутъ: будьте здоровы, а потомъ опять въ одинъ голосъ проговорятъ: покорно благодарю и всѣ поклонятся всѣмъ и каждому.

И до того дошло это согласіе и однообразіе, что все перемѣшалось. Всѣ дома, кушанья, даже кошки и собаки все стало одинаково и никто не могъ ужъ отличить себя отъ другаго. Всѣ стали гороховыми Иванами, старыми да малыми, а всѣ жены и дочери гороховыми Марьями, да Машами. Пробовали было они №№ себѣ нашивать, но еще больше перепутались.

И вотъ такимъ образомъ жили они, жили и стали совсѣмъ, какъ стадо барановъ, и одолѣла ихъ скука неисходная. Все одно и тоже цѣлый день и каждый день. Куда не пойди, вездѣ встрѣчаются или за тобой идутъ Иваны, да Иваны, Марьи, да Марьи. И напала на нихъ зѣвота. Зѣвнетъ одинъ во весь ротъ и всѣ за нимъ начнутъ потягиваться и вытягивать одну ноту а-а-а-о-о-у! или о-о-о-у-у-а-а-а! Не стало ни пѣсенъ, ни игръ, ни плясокъ. Всѣ ходятъ сонныя, точно очумѣли только и слышно, что жуютъ, или зѣваютъ, иди храпятъ.

И начали они умирать со скуки да такъ прилежно что въ полгода вымерло ихъ полцарства. Опустѣли города и села. Царь Горохъ испугался, да и физикусы съ химикусами призадумались. Прежде ихъ было въ одной столицѣ

6,666, а теперь всего на все осталось шесть во всемъ царствѣ. Когда народъ былъ уменъ, то каждый, кто особенно уменъ уродился, самъ собой, по своей волѣ шелъ въ физикусы и химикусы, а тутъ какъ сталъ весь народъ глупѣе барановъ, то и прекратились физикусы съ химикусами въ самомъ ихъ источникѣ. Видятъ они, дѣло плохо.

— Нельзя,—говорятъ царю Гороху,—жить безъ самолюбія, пусть каждый стремится къ лучшему изъ любви къ себѣ. Хотя народъ вашего величества и достигъ апогеи блаженства; но безъ внутренняго импульса онъ не можесъ удержаться на этой точкѣ. Однообразіе давитъ его; не даетъ простора его фантазіи. Онъ идетъ назадъ, становится ниже животнаго и, наконецъ, умираетъ отъ безвыходнаго положенія. Необходимо поднять строй его жизни, разширить рамку идеала, хотя бы недостижимаго, и оттѣнить его отрицательными явленіями, а для этого необходимо разнообразіе, а съ нимъ неизбѣжно явятся самолюбіе, зависть, разные мелкіе и крупные пороки, а съ ними, какъ непремѣнное зло—наушники и прихлебатели!

— Ничего!.. Пускай ихъ!..—сказалъ царь Горохъ.

И вотъ шесть физикусовъ и химикусовъ взялись за дѣло. Они промѣривали, провѣшивали, вычисляли, разсчитывали и примѣняли съ такой добросовѣстностью, что не прошло и двухсотъ лѣтъ, какъ между народомъ появилось разнообразіе. Иваны да Марьи стали разные, и хотя хуже прежнихъ, но именно самые дурные больше всѣхъ нравились всѣмъ, потому собственно, что были они всѣмъ въ диковинку. Ожилъ народъ, повеселѣлъ. Одинъ выстроилъ домъ въ три этажа, другой въ десять, третій построилъ его въ видѣ сахарной головы.

Всего скорѣе ожили барыни, потому что ихъ то болѣе всего и давило однообразіе. Посудите сами, ну какъ же возможно носить каждый день одно и тоже платье, одного

фасона! Тутъ поневолѣ умрешь съ тоски. А какъ пошло разнообразіе, то и появились сперва разные бантики, ленточки все шире и длиннѣе. А какъ стало самолюбіе подгонять и фантазія разыгрываться, то пошли такія фижмы, шлейфы, каблуки, шиньоны, роброны, камальи, сандальи, мантильи, бурнусы, визитки, патріотки, матроски, кринолины, турнюры, до какихъ еще не додумались и наши дамы, вѣроятно за недосугомъ.

Вмѣстѣ съ фантазіей проснулся и умъ. Даже физикусы и химикусы, несмотря на то, что считали себя абсолютно умными, и тѣ рѣшили, что у нихъ прибавилось ума. Ну да и ихъ самихъ тоже прибавилось порядочно. Не прошло и пятидесяти лѣтъ, какъ они догнали и перегнали то число, сколько ихъ было прежде.

И все пошло развиваться, обособляться, все пошло отдѣляться одно отъ другаго, какъ будто прежде не было для того никакихъ ни путей, ни дорогъ. Исчезли Иваны да Марьи, пошли Филомены, Калліопигомены, Пиготеги, Мандрагорины, Филопрепсихоры, Белльлепрепсихоры и, наконецъ, надавали такихъ именъ—изъ желанія разнообразія,—что сами отцы и матери не могли ихъ выговорить и только махали рукой и кричали:—Эй ты, Фроська или Проська, поди сюда!

III.

И въ концѣ концовъ вотъ что случилось.

Межъ всѣми и надъ всѣми красавицами, которыми было полно царство царя Гороха, была одна царица всѣхъ царицъ и звали ее Беллитой и если бы она жила не при царѣ Горохѣ, а при какомъ-нибудь царѣ Лизакархѣ въ Греціи, то ее давно бы сдѣлали богиней.

Даже сами физикусы и химикусы, несмотря на то, что отлично знали всю суть всякой красоты и говорили всѣмъ, что вычислили всякое вліяніе ея на всякаго и тѣ не могли устоять предъ силой красоты Беллиты, такъ что каждый изъ нихъ, встрѣчая ее, невольно разводилъ руками и задавалъ себѣ вопросъ: что у него гдѣ сидитъ: чувство въ умѣ или умъ въ чувствѣ!?

И вотъ въ такую красоту вдругъ разомъ влюбились двое; т.-е. влюблены въ нее были всѣ и мужчины и женщины, но только двое красавцевъ молодыхъ и сильныхъ были настолько смѣлы, что признались сами себѣ въ своей любви и не испугались ее.

Для одного впрочемъ, такой подвигъ, не былъ и труденъ. Онъ былъ увѣренъ въ себѣ, потому что опытомъ убѣдился, что ни одна женщина не въ силахъ противиться его магическому взгляду. Смѣлый, ловкій, пылкій, самолюбивый—онъ любилъ и наслаждался съ той силой, съ которой огонекъ обхватываетъ молодое деревцо, обхватываетъ исподволь, незамѣтно, потому собственно, что онъ можетъ жечь, а деревцо можетъ горѣть. Но какъ скоро появлялись первые слѣды пепла, то огонь быстро гасъ, оставлля голыя обгорѣлыя вѣтки.

Напрасно бѣдныя матери, которымъ вообще нравится прочная, осѣдлая любовь, предостерегали своихъ дочерей отъ этой хищнической страсти. Предостереженіе не дѣйствовало по той простой и давно извѣстной причинѣ, что страсть сама-по-себѣ, а разсудокъ самъ-по себѣ и одинъ другому не товарищъ.

И вотъ ловецъ милыхъ сердецъ или Никогинъ, какъ звали его, порхалъ и жуировалъ, благо при царѣ Горохѣ не было даже гражданскаго брака и всѣ кружились и порхали, какъ бабочки. Одни, покружившись, разлетались въ разныя стороны и мать могла, если желала, сама кормить свое дитя,

воспоминаніе счастливаго круженія, или предоставляла эту скучную заботу другимъ, а сама опять начинала кружиться. Другіе, покружившись, свивали прочное голубиное гнѣздышко и были счастливы и довольны. Однимъ словомъ, никто и ничѣмъ не стѣснялъ себя и каждый предавался влеченіямъ собственнаго сердца ad libitum.

Соперникъ Никогина былъ совсѣмъ иная статья. Звали его Сильваномъ. Онъ избѣгалъ женщинъ, зато онѣ бѣгали за нимъ. Былъ онъ молодъ, красивъ и крѣпокъ, какъ молодой дубъ, и выросъ онъ одинокимъ дикаремъ, прямо подъ крыломъ той мачихи человѣчества, которую зовутъ природой.

Онъ выросъ въ вѣковомъ дремучемъ лѣсу и этотъ лѣсъ замѣнилъ ему отца, мать и ту хитрую науку, которую многіе называютъ педагогіей — науку, которая учитъ воспитывать, но не умѣетъ воспитывать.

Вдали отъ людской жизни Сильванъ по-неволѣ вошелъ въ кругъ той жизни, которая окружала его и привыкъ смотрѣть на все своими собственными взглядами.

Ему казалось, что каждое дерево, каждая трава и былинка живетъ и чувствуетъ по своему. Казалось ему, что старый, вѣковой дубъ постоянно думалъ глубокую думу, которую не могли разгадать никакіе физикусы и химикусы. Видѣлъ онъ, какъ этотъ дубъ широко раскидывалъ свои вѣтвистыя руки и такъ бережно прикрывалъ ими молодые побѣги и всходы зеленыхъ травъ. Видѣлъ онъ, какъ дружно переплетались, между собою зеленые вязы, какъ будто лаская другъ друга. Видѣлъ онъ, какъ стыдливо опускала къ землѣ свои темные кудри чистая, бѣлая береза, какъ широко раскидывалъ во всѣ стороны свои лапчатые листья пышный щеголь кленъ и какъ прямо поднимались къ небу траурными, стройными пирамидами темныя ели. Въ жаркіе лѣтніе дни, когда лѣсъ, со всѣми своими пахучими тра-

вами, стоялъ весь проникнутый и сквознымъ сіяніемъ жаркаго солнца, и сырой прохладой собственной тѣни, когда въ немъ царила невозмутимая тишь, Сильвану казалось, что, среди этой прохлады и тѣнистой дремоты, всѣ кусты и травы къ чему-то прислушивались, что-то тихо, неуловимо, шептали другъ другу и творили какое-то таинственное непонятное дѣло, роясь въ сырой землѣ ползучими корнями. Зорко смотрѣлъ онъ на каждую траву, смотрѣлъ на голубые колокольчики, которые сами такъ зорко смотрѣли куда-то въ глубь травы, смотрѣлъ на дикій анисъ, раскинувшій широко свои бѣлые зонтики — шапки, на бѣлые ландыши, которые стыдливо прятались подъ своими лаковыми листами и думалъ: вотъ, вотъ кто-нибудь изъ нихъ поворотитъ свою головку, кивнетъ, поклонится стебелькомъ, махнетъ листикомъ, шепнетъ тихо свое тайное слово. Но всѣ травки стояли неподвижо и, безъ словъ, безъ шума, творили свое тайное дѣло.

Поздно осенью, когда мертвые листья падали съ деревьевъ, когда всякая былинка увядала и сохла, а холодный дождь прибивалъ къ землѣ все, что прежде было полно жизни всѣ почернѣвшіе трупы, прежде гордыхъ травъ и цвѣтовъ. Сильванъ становился еще суровѣе и мрачнѣе. Онъ самъ какъ будто увидалъ въ этомъ общемъ пиру смерти, какъ будто становился мертвымъ, засохшимъ листомъ.

Когда же первые проблески весенняго солнца пробуждали природу отъ долгаго сна. Сильванъ самъ оживалъ съ ней. Когда послѣ теплыхъ дождей каждое луговое и лѣсное зерно, разбухнувъ и лопнувъ, жадно зарывалось бѣлымъ росткомъ въ рыхлую землю и распускало надъ ней яркозеленые бархатные первые листья, когда весь лѣсъ одѣвался зелеными смолистыми благоухающими листиками и запѣвалъ тысячами птичьихъ ликующихъ голосовъ, тогда вдругъ въ самомъ сердцѣ Сильвана, во всемъ его существѣ раздава-

ной жизни и къ этому строю принаровлены или принаровились всѣ дѣйствія и природы, и людской жизни.... Но откуда же взялся этотъ строй?!... И вотъ-съ!.. Въ эту именно самую минуту... на меня вдругъ что-то словно налетѣло и весь міръ мнѣ представился удивительно цѣлесообразно устроеннымъ... Я понялъ... да я понялъ... не смѣйтесь, пожалуйста господа, я понялъ его устройство... Мнѣ казалось тогда, что все сложено изъ какихъ-то маленькихъ частичекъ, песчинокъ и я я самъ одна изъ этихъ песчинокъ... и все это связано, и движется, и живетъ въ удивительной гармоніи... Понялъ, что вся эта гармонія представлялась мнѣ какими-то свѣтлыми лучами и эти лучи освѣщали все кругомъ... такъ, что я ясно видѣлъ и себя и Степана и глыбы земли и породы вокругъ себя, а кругомъ мертвая тишина... Ни шороха!... И вмѣстѣ съ этой тишиной находитъ на меня какой-то удивительный миръ, покой... Такое, я вамъ скажу, спокойствіе, какого я уже никогда, никогда-съ, потомъ не испытывалъ... И вмѣстѣ съ этимъ спокойствіемъ чувствую я, что все что кругомъ меня есть... и эта земля и камни все стало какъ-то близкимъ мнѣ и, такъ сказать, породнилось со мной... а мое собственное «я» исчезло... право исчезло... и меня всего, всего, какъ есть потянуло къ Степану... И вотъ-съ въ эту минуту, господа, мнѣ кажется я былъ дѣйствительнымъ, истиннымъ альтрюистомъ. Да-съ! Мнѣ стало такъ жаль этого Степана, такъ жаль, что я сижу, дрожу и думаю: Господи! Какъ? Почему? Почему ты судилъ не мнѣ одинокому такую участь, а избралъ его—семейнаго работника!.. И, знаете ли, господа, что это чувство и молитва вертятся во мнѣ совсѣмъ безсознательно. Право съ!.. Опомнюсь я на мгновеніе... фу! думаю видно я больно отощалъ, что и мозгъ-то начинаетъ пробавляться «пустыми мечтаньями»... и даже молюсь-то я какъ женка, точно деревен-

ская баба... Но только я это подумаю, а строй нервовъ опять свое возьметъ, и я твержу, твержу совершенно безсознательно, какъ во снѣ: «Господи! возьми ты меня вмѣсто него—поставь меня на его мѣсто, а его помилуй!...» И чувствую я, что я плачу, невольно плачу, и рыданія горло мнѣ сжали... Сижу, дрожу и плачу... на мгновеніе опомнюсь, а тамъ опять голова закружится, и нервы опять заиграютъ. И можете-ли себѣ представить, что въ это мгновеніе вдругъ мнѣ ясно представилось, что... все что теперь передо мной—все это сонъ... тяжелый сонъ... что и я, и Степанъ мы не можемъ быть погребены заживо и что мы оба живемъ и будемъ жить помимо этой темной норы... и что ничто не можетъ насъ запереть, заключить въ этакую земляную темницу, что мы свободны. И какъ вы думаете!.. Въ ту самую минуту, какъ мнѣ это ясно до очевидности, до осязательности ясно представилось, я вдругъ слышу, кто-то меня зоветъ... такъ тихо, трепетно... «Рафаилъ Семенычъ! Рафаилъ Семенычъ!..» Я оглянулся... я чувствую, что не сплю, не галлюцинирую... а голосъ слышнѣе и явственнѣе: «Рафаилъ Семенычъ! Рафаилъ Семенычъ!» Я вдругъ, знаете ли, вскочилъ и бросился прямо къ Степану...—«Это ты, говорю, ты, Степанъ!», а слезы не даютъ мнѣ говорить... Въ это мгновенье я вижу; ясно вижу, какъ Степанъ барахтается... Бросился я къ нему и началъ руками отгребать отъ него землю и камни, а онъ говоритъ:

— Рафаилъ Семенычъ! Ондрюшка-ста теперича гдѣ?

— Какой, говорю, Андрюшка?

— Да вѣдь насъ ста двое было... Я да Ондрюшка... какъ затрещало-ста... въ верхахъ-то... я баю: бѣги скорѣй, Ондрюха,—а яста поддержу верхи-то... онъ побѣгъ, а я началъ верхи-то держать и не смогъ... Дюже больно претъ... такъ меня-ста и прижамкало... какъ вдаритъ меня тутъ-вотъ, въ високъ-ста, такъ я ничегохоньки и не чую.

— Я, знаете, тотчасъ осмотрѣлъ ему високъ и чувствую, что онъ весь мокрый, въ крови.—Значитъ ударъ образовалъ кровяной подтекъ и субъектъ впалъ въ безсознательное состояніе, а затѣмъ кровь почему-то вышла, кровоизліяніе совершилось и... сознаніе опять вернулось... Но, признаюсь, все это не такъ меня поразило; а огорошило то, что онъ сталъ верхи держать, чтобы спасти товарища Андрея. Андрей бросилъ его и побѣжалъ, а онъ... вотъ, господа, это, это... по моему истинный альтрюизмъ!

— Или глупость!—рѣзко и грубо перебилъ его инженеръ Нечукный.

— Нѣтъ-съ, Павелъ Дмитріевичъ! сказалъ разсказчикъ. Дай Господи! и онъ перекрестился,—чтобы у каждаго изъ насъ было побольше такой глупости. Да-съ! И вотъ-съ, господа, вѣрьте или не вѣрьте, а мнѣ стыдно стало, то есть мой альтрюизмъ, такъ сказать, дѣланный, разсудочный сконфузился, устыдился этого самобытнаго, неразсуждающаго-то альтрюизма. Я понялъ, что такой альтрюизмъ можетъ быть только у цѣльныхъ натуръ и что онъ прямо-съ, прямехонько выходитъ изъ сердца, то-есть изъ простого и глубокаго чувства.

— Ну! какъ же вы выбрались съ вашимъ Степаномъ, изъ вашей земляной темницы?—перебилъ его опять господинъ Нечукный—разскажите намъ, не томите!

— А вотъ-съ! Я сперва взялъ тогда платокъ и перевязалъ, какъ можно туже, голову Степана, потому что, понимаете ли, кровотеченіе было сильное, а потомъ и говорю ему... Ну, какъ же мы теперь выберемся отсюда? Вѣдь мы здѣсь заживо погребены, кругомъ замурованы.—«Нѣтъ, говоритъ, Рафалъ Семенычъ. Коли Господь судилъ намъ не умереть-ста, такъ онъ насъ и ослобонитъ». И вотъ, господа, эти простыя слова придали мнѣ удивительную бодрость и надежду... Вѣдь вотъ, опять натура человѣческая-

то!.. Скажи ей при случаѣ слово ободренія такъ, какой-нибудь просто глупышъ,—ребенокъ махонькій, и человѣкъ готовъ сейчасъ вѣрить... Ужь больно сильна въ насъ эта глупая привязанность къ жизни... Да-съ!.. И чувствую тогда, что сердце во мнѣ еще колотится, не остыло, а руки и ноги еще дрожатъ... Присѣлъ я на землю и думаю; Господи! Сила Высшая!.. Та, которую мы не знаемъ и, не зная, отвергаемъ... Если въ Твоей великой механикѣ суждено, чтобы кто-нибудь изъ насъ двоихъ погибъ... то да погибну я, а не онъ .. я, одинокій и никому не нужный... И повѣрьте, Господа, что это было не самоуничиженіе, а дѣйствительно мнѣ ясно представилось тогда, что я человѣкъ ничтожный, что знанія мои выѣденнаго яйца не стоятъ, что отъ меня больше вреда, чѣмъ помощи... и что наконецъ... всѣ-то мы просвѣщенные и мудрые интеллигенты мизинца не стоимъ ихъ .. этихъ глупыхъ богатырей, которые живутъ и дѣйствуютъ однимъ сердцемъ, а не головой, этихъ гномовъ, которые въ минуту смертельной опасности забываютъ о себѣ, а думаютъ только объ ихъ «Ондрюшкѣста»... И тогда мнѣ ясно представилось, что если бы всѣ люди могли бы быть связаны крѣпкими чувствами, то тогда и вся музыка была бы другая... Все бы выходило съ другого, хорошаго, казового конца... И повѣрьте, что тогда бы совсѣмъ, совсѣмъ другіе горизонты открылись бы человѣчеству...

— Да, мы ждемъ отъ васъ окончанія вашей исторіи!.. А вы тутъ насъ угощаете вашей подземной философіей, перебилъ его господинъ Нечукный.—Извѣстно, если человѣкъ двое или трое сутокъ не поѣстъ, пробудетъ безъ пищи, то у него такіе брюшные горизонты откроются... что ихъ пожалуй и не поймешь... А тѣмъ паче коли человѣка навѣкъ заключатъ въ подземную кутузку...

— Нѣтъ-съ! Позвольте, Павелъ Дмитріевичъ, Позвольте-съ!..

— Да кончайте скорѣй! и Богъ съ вами...

— Если я, господа, надоѣлъ, то я готовъ замолчать хоть сію минуту—обидѣлся разскащикъ.

— Нѣтъ! Нѣтъ!—послышалось почти отъ всѣхъ насъ... Насъ всѣхъ интересуетъ, какъ вы выбрались...

— Да очень просто-съ!.. Въ то время, когда я разсуждалъ и философствовалъ, Степанъ вдругъ шепотомъ говоритъ мнѣ: «Рафалъ Семенычъ... слышите?!» Я прислушался... Ну! думаю, кажется у него галлюцинація слуха... Посидѣли мы, и опять онъ спрашиваетъ у меня: «Слышите?! Слышите?. Вѣдь это идетъ-ста къ намъ выручка!..» Я посидѣлъ съ минуту, прислонясь къ осыпи... ничего не слышу... Только сердце колотится .. Но, наконецъ слышу—точно тараканы шурчатъ... чуть-чуть слышно... А Степанъ опять спрашиваетъ... «Вò! Слышите?!..» И подивился я тутъ, господа этой чуткости слуха у этакаго верзилы...

— Это давно извѣстный фактъ, перебилъ тоненькій, невзрачный господинъ, литераторъ, Александръ Ивановичъ Погромовъ,—что у горныхъ работниковъ, у рудокоповъ слухъ удивительно тонокъ...

— Ну-съ, началъ опять разсказчикъ.—И я наконецъ услыхалъ... что дѣйствительно, мѣрно шуршитъ и все ближе, ближе, явственнѣе... Слушаю я, а у самого такъ все внутри ходитъ и ходитъ... Ну! думаю, какъ это да самообманъ! Галлюцинація?! Послушаю, послушаю... шуршитъ!.. И вдругъ замолкнутъ... Нѣтъ! думаю, такъ это только кажется.., И опять слушаю, жадно, отчаянно слушаю.. И снова заскребетъ, и зашуршитъ и застучитъ... И вотъ-съ такимъ родомъ я должно быть съ часъ... Нѣтъ! куда больше часу висѣлъ между небомъ и землей... Наконецъ Степанъ и говоритъ: «Вотъ слышите-ста—Ондрюшка говоритъ...» Напрягъ я свой органъ слуха и дѣйствительно слышу разговоръ глухой, далёкій... разговоръ—и опять зашуршали и застучали кирки

и лопаты... И вотъ, господа, когда я услыхалъ и убѣдился, что это идутъ къ намъ на выручку—то повѣрите-ли... что я обезумѣлъ, просто обезумѣлъ... И смѣяться то мнѣ хочется и слёзы текутъ у меня и дрожу-то я весь, трясусь, какъ въ лихорадкѣ... и Степана обнимаю, и крещусь, и молюсь... А стукъ и голоса все слышнѣй и слѣшнѣй... Слышу стучатъ, крѣпы ставятъ... Схватилъ я камень и началъ изъ всѣхъ силъ колотить въ твердую породу, колочу и кричу, какъ сумасшедшій... а Степанъ и говоритъ: «Оставьте, Рафалъ Семенычъ, и такъ придутъ!.. Слышите!» Я отъ радости просто не знаю что дѣлать... а онъ флегма поганая говоритъ: «И такъ придутъ!..» Ну-съ, и дѣйствительно пришли. Ближе и ближе... и наконецъ... блеснулъ свѣтъ, да такой яркій, что я думалъ, что ослѣпну, и посыпалась земля и высунулась лопата... А затѣмъ высунулся Андрюшка и еще двое работниковъ—Живы-ли? говорятъ. Господи помилуй!—А я всѣхъ, всѣхъ обнимаю и просто плачу навзрыдъ... Нѣтъ, господа! говорятъ, что кто на морѣ не бывалъ, тотъ Богу не молился. Нѣтъ-съ! Не вѣрьте! Не правда...—и тотъ, кто живой въ землѣ не былъ зарытъ—и тотъ тоже Богу не молился...—Съ тѣхъ поръ, какъ это случилось, прошло уже вотъ пятнадцать лѣтъ, а я все до сихъ поръ помню до малѣйшихъ подробностей... а главное—цѣню, цѣню этотъ случай, потому что онъ показалъ мнѣ, что значитъ истинный, несочиненный альтрюизмъ, и нашъ—дѣланный, искусственный...

И разсказчикъ умолкъ.

А мы всѣ въ запуски принялись спорить. Одинъ доказывалъ что для всякаго альтрюизма должны быть узда и мѣрка. Другой говорилъ что развитіе не возможно безъ разсудочныхъ движеній а они то и дѣлаютъ альтрюизмъ разсудочнымъ. Третій съ жаромъ увѣрялъ, что во всемъ должна быть свобода и ни къ какому альтрюизму не слѣдуетъ при-

нуждать себя. Четвертый поддакивалъ ему и доказывалъ что каждый, кто съ полной свободой развиваетъ свои способности тотъ можетъ быть истиннымъ альтрюистомъ—альтрюистомъ malgré lui и можетъ принести гораздо больше пользы, чѣмъ всякій разсудочный альтрюистъ... Мы спорили, горячились, пѣтушились,—высказывали въ подтвержденіе разные факты, хозяинъ не забывалъ доливать наши стаканы и наконецъ разошлись мы, когда уже вторые пѣтухи давно пропѣли.'

ДУБОВАЯ КОРА.

(Изъ записной книжки стараго туриста).

I.

Лѣтъ двадцать тому назадъ, мнѣ привелось прожить одинъ день въ мѣстечкѣ Бѣльцы, въ одной изъ южныхъ губерній.

День былъ лѣтній, жаркій, праздничный. Я остановился въ небольшой гостинницѣ, которая выходила на базарную площадь. На площади толклась и сновала толпа народа, и его несмолкаемый говоръ сливался съ звономъ колоколовъ съ ближайшей церкви.

Былъ крестный ходъ. На церковной паперти тоже толпился народъ. Повсюду яркими пятнами сверкали на солнцѣ желтые, красные платки и бѣлыя свитки.

Колокола загудѣли сильнѣе, торжественнѣе, и образа вынесли изъ церкви. Впереди несли хоругви, старыя, закопченыя. За ними слѣдовали кресты и образа. Передъ мѣстной чудотворной иконой густо толпился народъ. Праздникъ былъ въ честь ея, и на этотъ праздникъ собрались богомольцы изъ дальнихъ и ближнихъ мѣстъ. Крестьянки

—молодыя и старыя, убогіе старики и маленькіе ребятишки бросались на землю и ложились ничкомъ, стараясь, чтобы икону пронесли надъ ними.

Среди площади поставили столикъ, покрыли его покровомъ, положили на него крестъ, Евангеліе, поставили чашу съ длиннымъ кропиломъ. Люди съ образами обступили его полукругомъ, сзади нихъ расположились кресты и хоругви и молебенъ начался.

Я смотрѣлъ на полную фигуру сѣдого протопопа, съ краснымъ, лоснящимся лицомъ, на фигуру такого же полнаго рыжаго дьякона, съ окладистой бородой, на молящіяся фигуры крестьянъ.

«Вотъ это настроеніе!—думалось мнѣ,—подъемъ души, который умягчаетъ чувство и дѣлаетъ человѣка изъ звѣря».

Послѣ молебна кресты и образа понесли дальше, въ ближайшую деревню, и весь народъ повалилъ за ними, поднимая густыя облака пыли.

На площади остались кое-гдѣ отдѣльныя кучки. Они смотрѣли вслѣдъ за удалявшейся толпой и крестились.

Около самыхъ воротъ гостинницы стояло трое. Одинъ въ сѣрой свиткѣ, съ длинными сѣдыми усами и такимъ же чубомъ. Другой, въ кумачной рубахѣ, молодой парень, съ гармоникой подъ мышкой, и третій, который сидѣлъ на скамеечкѣ у воротъ, толстый, коренастый, здоровый мужичина, съ черной окладистой бородой. На немъ была накинута синяя чуйка съ подборомъ. Онъ говорилъ басомъ.

— Нонѣ Владычица... того... — проговорилъ онъ, — недолго у насъ прогостила. Къ Здвиженью унесли.

— Отецъ Еремѣй, сказываютъ ребята, больно торопился. У Здвиженья, сказываютъ, химандритъ изъ Слуца будетъ.

— Такъ, такъ,—проворчалъ третій, куря носогрилку и поплевывая.

— Владычицу унесли, черезъ недѣлю Никола Гусинскій будетъ.

— И то Николу принесутъ изъ Гусина. Это вѣрно! Такъ такъ!

Ко мнѣ въ нумеръ вошелъ половой, въ бѣлой рубахѣ, узорчато вышитой по воротнику и на рукавахъ.

— А вы бы, сударь, погуляли у насъ. Тутъ недалече, за городомъ, хорошія мѣста, дубровы, надъ рѣчкой.

— А что это у васъ тамъ за зданіе на концѣ площади, длинное, каменное?

— А это школа. Помѣщикъ Чупрынко выстроилъ на свой коштъ.

— И много учениковъ?

— Ничего, не очень дивно, но порядочно.

Дѣлать мнѣ было нечего. Я послушалъ совѣта, взялъ зонтикъ и пошелъ; но прежде всего я пошелъ къ школѣ. Большое, новенькое, каменное, одноэтажное, неоштукатуренное зданіе стояло на углу улицы. Окна въ немъ были небольшія и далеко одно отъ другого. Ворота были на запорѣ. У калитки на лавочкѣ сидѣлъ «москаль» въ сѣрой свиткѣ, съ огромными бакенами и усищами.

— Что,—спрашиваю,—можно школу посмотрѣть?

— Чего въ ней видать? Ничего нѣтъ. Школяры распущены и ученья нѣтъ.

Я заглянулъ въ окна. Новенькія, крашенныя подъ дубъ лавочки; классная доска, на стѣнахъ ландкарты и разныя таблицы въ рамочкахъ. Какъ быть школа.

— Много у васъ,—спрашиваю,—учениковъ?

Сторожъ не вдругъ отвѣтилъ. Онъ посмотрѣлъ на меня исподлобья пристально, какъ бы соображая, отвѣчать или нѣтъ?

— Достаточно,—сказалъ онъ.

— А сколько?

— Да сорокъ-три будетъ.

— Все изъ деревень?

— Изъ деревень.

И вдругъ, совершенно неожиданно, поднялся съ лавочки, отряхнулся, крякнулъ, юркнулъ въ калитку и захлопулъ ее.

«Нелюбезно, — подумалъ я, — а все-таки хорошо, что школа каменная въ мѣстечкѣ! И сорокъ-три ученика! Изъ нихъ хоть половина выйдетъ добрыхъ деревенскихъ просвѣтителей. Хорошо!» и я пошелъ переулочкомъ.

Переулокъ былъ на краю поля и упирался въ зелень. Издали манилъ къ себѣ кудрявый лѣсокъ, кусты и деревья черешни, дубковъ, граба. Мѣстность была дѣйствительно живописная, такъ что художникъ нашелъ бы здѣсь много матеріала для прелестнѣйшихъ этюдовъ. Вонъ среди луговинки стоятъ громадные три дуба, могучіе, съ искривленными, узловатыми вѣтвями, одинъ красивѣе другого, а около нихъ кустятся грабы и черешни. Подъ однимъ изъ дубовъ сидѣлъ сѣдой старичокъ и усердно плелъ какую-то коробейку, угрюмо ворча что-то себѣ подъ носъ. Я хотѣлъ подойти и разспросить, кому принадлежитъ этотъ живописный уголокъ, городу или какому-нибудь пану, и почему онъ стоитъ неогороженный, какъ вдругъ въ сторонѣ, на лужайкѣ раздался протяжный, жалобный стонъ. Я оглянулся: на луговинѣ сидѣла небольшая собачонка и жалобно выла. Я подошелъ къ ней. Собака метнулась въ сторону и сильнѣе завыла. Она силилась уйти, но переступала только передними ногами, а заднія волочились по землѣ безъ движенія. Черная, запекшаяся кровь пятнала ея кудлатую бѣлую шерсть. Собачонка вся дрожала, жалобно выла и взвизгивала.

Я подошелъ къ старику.

— Что это, дѣдушка, — говорю, — собаку-то задавили, переѣхали, что ли?

— Переѣхали? Ни! ни!—Школяры, бисовы дѣти, замордовали.

— Какіе школяры?

— Ото, туточка... въ школѣ учатся, лайдаки! Дóбра собака, хороша собака була... Билькой зовутъ... Эй! фьюю! Билька! Бисова дочь! У-у!.. бисова дочь!

Собака сильнѣй завыла, услыхавъ знакомый голосъ. Она изъ всѣхъ силъ поползла къ намъ, но сдѣлавъ два-три шага, застонала и упала.

— Дóбра собака, да забили лодари! Всѣхъ собакъ у насъ перебили, шибеники! Добре было собакъ, всѣхъ перебили... Сегодня одну забьють, завтра другу забьють. Всѣхъ перебили, бисовы внуки!

— Да какъ же они собакъ бьютъ? Кто же имъ позволяетъ?—удивился я.

— А такъ же... заманять и забьють! Всѣхъ псовъ у насъ замордовали. Ворота на дворъ школьный отворють, хлѣбца альбо мясца набросають... ну, песъ, дурень, и бѣжить на прикормку. Какъ забѣжить на дворъ, тутъ сейчасъ ворота запруть и мордують. Боже ты мой милостенькій! Начнуть его всѣмъ гуртомъ травить: и камнями швырять. и вилами ему брюхо прободуть, и полѣньями, палками колотють. Визжить, визжить дурень, ажно душенькѣ не мочно! А его бьють... Какъ забьють, вытащуть въ поле и кинуть... Вотъ! Вишь! И Бильку вчера замордовали, да видно не совсимъ... Ожила, бисова дочь! Билька! Билька! фьюю!

— Да какъ же,—спросилъ я,—вѣдь за школярами же смотрятъ? Вѣдь тамъ учителя есть.

— А то бисовы диты! Они перво учать, якъ псовъ забивать, капкановъ, западней наставлять, усякаго звиря изводить, усяку птицу загублять... Нехай имъ чортъ у пекли у дыхло полиномъ пихае!

Собака опять жалобно застонала.

— Ей бы помочь чѣмъ-нибудь — можетъ быть, она выздоровѣетъ.

Старикъ вздохнулъ и взглянулъ на Бильку.

— Унучькина была собачка. Добрый песикъ бувъ, ласковый, усе за Маруськой бигавъ. Куды Маруська, и винъ туды такъ слидомъ и бѣжить, хвостомъ виляе. А учора здуривъ, да до школяровъ и побигъ. Отъ тамъ и замордовали. Билька! Билька! Фьюю! у... бисова дочы! Чтобъ тобѣ чортъ узялъ!

И старикъ, кряхтя, быстро поднялся и, подпираясь толстой, здоровой палкой, скоро пошелъ къ собачонкѣ.—Я смотрѣлъ ему вслѣдъ.

Дойдя до собаки, онъ широко размахнулся и треснулъ ее по головѣ палкой. Собака упала.

— Эй! эй! Что ты дѣлаешь?!—закричалъ я.

Но онъ снова размахнулся и гулко щелкнулъ ее, а затѣмъ, съ видимымъ озлобленіемъ, началъ колотить ее по головѣ, какъ бабы колотятъ бѣлье валькомъ.

Я сдѣлалъ нѣсколько шаговъ по направленію къ нему и остановился: зачѣмъ я пойду?

Онъ, очевидно, убилъ ее,—убилъ, чтобы не видать ея страданія. Дикарь добръ по-своему. Если онъ не надѣется помочь жертвѣ, то онъ даритъ ей coup de grâce. Но школяры! школяры! Признаюсь, это меня возмутило до глубины души. А главное—учителя! Просвѣтители, умягчителя звѣря въ человѣкѣ! Вотъ, думаю, провинція, какъ далека ты отъ центровъ цивилизаціи, человѣчности!..

И, продолжая соображать на ту же тему, я шелъ лѣскомъ. Народъ, думалось мнѣ, самъ по себѣ добръ, хоть его и зовутъ звѣремъ. Притомъ здѣсь, на благословенномъ югѣ, на границѣ Украйны, гдѣ природа сама такъ щедра и привѣтлива, здѣсь человѣкъ по-неволѣ дѣлается мягче. Чувство глубоко и широко звучитъ въ его пѣснѣ. Сама природа

учитъ его человѣчнымъ отношеніямъ ко всему окружающему: и къ звѣрю, и къ птицѣ, и къ человѣку.

Задумавшись, я потерялъ дорожку, по которой шелъ. Лѣсъ и кусты стали гуще. Я продирался сквозь ихъ чащу, перепрыгивалъ черезъ колоды и вдругъ остановился. Далѣе идти было некуда. Былъ обрывъ, который круто спускался въ оврагъ. Мѣстность была удивительно живописная. Исполинскія грабы заросли дикимъ хмелемъ, который гирляндами висѣлъ на ихъ длинныхъ здоровыхъ сучьяхъ, а внизу, по обрыву и склонамъ оврага, шли кусты боярышника, жимолости и черешенъ. Я пошелъ по краю оврага. Деревья становились еще красивѣе. Въ одномъ мѣстѣ торчалъ погорѣлый дубъ, и его голые сучья всѣ были густо и прихотливо убраны дикимъ хмѣлемъ. Полюбовавшись на него, я пошелъ далѣе. Легкій, теплый вѣтерокъ нанесъ какой-то тяжелый, удушливый запахъ.

Здѣсь, должно быть, падаль,—подумалъ я, и только-что сдѣлалъ два-три шага, какъ передо мной, у моихъ ногъ, развернулась безобразная картина. Нѣсколько конскихъ костяковъ ярко бѣлѣло среди кустовъ темной зелени; впереди виднѣлся трупъ свѣже-ободранной лошади, весь въ крови. Стайка воронъ съ крикомъ поднялась изъ оврага. Двѣ-три черныхъ собаки пробѣжали по его скату.—И вдругъ ободранный трупъ лошади ожилъ! Несчастная приподняла окровавленную голову и ощерила зубы.

Не вѣря своимъ глазамъ, я сдѣлалъ нѣсколько шаговъ впередъ. Дѣйствительно, передо мною была живая, ободранная лошадь. Она вздрагивала всѣми мышцами своего кроваваго тѣла, страшно ворочала воспаленными глазами и скрежетала зубами. Какіе-то глухіе, дикіе стоны вылетали изъ ея горла.

Не помня себя, я бросился дальше отъ этого мѣста. Пораженный неслыханной жестокостью, я инстинктивно шагалъ,

не зная, гдѣ и какъ, и опомнился только тогда, когда подходилъ къ воротамъ гостиницы.

У воротъ сидѣли тѣ же три человѣка. Мальчишка игралъ на гармоникѣ «Барыню».

— Что это у васъ?!—вскричалъ я.—Живыхъ лошадей обдираютъ? Тамъ въ оврагѣ лежитъ живая ободранная лошадь.

— А это такъ... такъ! — заговорили сѣдые усы; — кожевники, ма буть, пошутковали, да и ободрали живую. Такъ! это хлопцы шуткуютъ.

— Она умретъ, не сумлѣвайтесь,—успокоивалъ меня синяя чуйка.—Ей теперь ужъ не жить... Шабашъ!

— Это Данилка Довкунъ потѣшался вчера,—началъ мальчишка съ хохотомъ.—Вчера, знашь, гнѣдка Дядькова привели, еле ноги волочитъ. Данилко и говоритъ: «давай, веди въ оврагъ, я его живого обдеру духомъ». Спуталъ ему ноги, повалилъ и давай драть. Гнѣдко-то, слышь, пишшитъ, зубами скрежетъ, а мы мремъ-хохочемъ. «Теперь ужъ, говоритъ Данилко, къ лѣту дѣло. На что тебѣ шкура-то? И такъ проходишь, не холодно!» Ха-ха-ха!

— Это у насъ здѣсь, значитъ, живодерня,—начала мнѣ толковать дидактически синяя чуйка.—Со всѣхъ, значитъ, деревень сюда ведутъ лошадей обдирать—ну, здѣсь, значитъ, и шкурамъ складъ. Купцы наѣзжаютъ.

— Да какъ же это съ живой кожу драть?!!—вскричалъ я.

— А оно, знашь, лучше, легче снимать-то. Шкура теплая, потная, она сама отстаетъ. Обыкновенно мы такъ дѣламъ: коня дубиной хлопнемъ, значитъ, его затуманитъ. Онъ и лежитъ смирно, не дыргатъ, а все, значитъ, еще живъ. Потому что кто-жъ теперь, напримѣръ, станетъ съ дохлой лошади шкуру драть. Шкура теперь пристанетъ, ее и ножемъ не возьмешь, а коли со свѣжей, потной... Ну!... оно духомъ сдерешь.

Я тутъ только началъ понимать, что мы говоримъ на разныхъ языкахъ.

— Да вѣдь какъ же!—протестовалъ я:—еслибы съ тебя вдругъ начали, съ живого, кожу драть?!

Чуйка вытаращилъ на меня глаза. Свитка вынула носогрилку, раскрыла ротъ, посмотрѣла и залилась хохотомъ.

— Отъ чуешь, що брешe! Съ чиловика шкуру дерти. Хиба жъ мы турки чи бусурманы яки!?

— Человѣкъ, значитъ, особь статья, а скотина, значитъ, другая,—началъ внушительно чуйка.—Теперича вы, напримѣръ, человѣку не будете горло рѣзать, а барану перерѣжете, потому, значитъ, что у человѣка душа, а у барана ничего—паръ.

— Да какъ же это вамъ не толкуютъ, что надо быть сострадательнымъ и къ животнымъ? Какъ же это попы не учатъ въ проповѣдяхъ, не внушаютъ вамъ на исповѣди?

Но тутъ я и самъ почувствовалъ, что зашелъ далеко. Собесѣдники мои посмотрѣли другъ на друга и уставились на меня.

— Попы? що попы?! Ха! Попы!—прохрипѣла свитка.—Звисно, попъ спытае: чи ходишь у церкву, чи молишься Богу, чи держишь посты, чи святкуешь, може не работаешь ли у праздникъ? Ну, и усе тамъ... Боронь Боже, що до церкви, а тутъ... Э! панычу! панычу! усе то дурость една, казнащо!..

Въ тотъ же вечеръ я долженъ былъ уѣхать изъ Бѣльцовъ, но живая, ободранная лошадь долго мерещилась мнѣ. Да и теперь еще иногда вечеромъ, когда я стану засыпать, то вдругъ передъ глазами поднимется кровавая лошадиная голова, со страшными, налитыми кровью глазами, ощеренными зубами. Я весь вздрогну и проснусь.

II.

Въ 1857 году позднимъ лѣтомъ или, лучше сказать, ранней осенью я путешествовалъ по пермской губерніи. Въ концѣ августа я былъ на сѣверной ея окраинѣ, въ чердынскомъ и соликамскомъ уѣздахъ.

Порученье, которое я исполнялъ, было оффиціальное, и мнѣ по-неволѣ приводилось имѣть дѣло съ становыми, исправниками и всѣми предержащими властями. О моей поѣздкѣ заранѣе были разосланы разныя предписанія съ повелѣніемъ оказать надлежащее содѣйствіе. Вслѣдствіе этого, въ чердынскомъ уѣздѣ меня взялся сопровождать становой.

Мнѣ необходимо было осмотрѣть берега Колвы, взглянуть на первобытныя письмена на одной скалѣ, которыя были описаны Бабстомъ, осмотрѣть камень Вѣтланъ и Дивью пещеру. Я хотѣлъ ѣхать прямо водой, но становой убѣдилъ, что ѣхать будетъ лучше сперва сухимъ путемъ до села Чигори.

Я ѣхалъ впереди, на легонькой телѣжкѣ на дрожинахъ, а сзади меня катилъ становой и уѣздный докторъ. Они по пути ѣхали въ Чигорь осмотрѣть одного скоропостижно умершаго. Докторъ былъ еще молодой человѣкъ, лѣтъ 22 или 23-хъ.

Въ Чигорь мы пріѣхали къ ночи. Остановились въ большой, просторной двухъ-этажной избѣ. Сейчасъ же явился чай, пироги съ лещами, яйца и неизмѣнный ямайскій, разумѣется, россійскаго произведенія. Собесѣдники мои оживились, но только-что мы сѣли благодушествовать, какъ въ избу вошли два сѣдобородыхъ мужика.

— А!—вскричалъ становой:—други сердечные! Какъ поживаете?

— Къ твоей милости пришли, Софронъ Яковличъ!

— Къ моей милости!? А что же до сихъ поръ не изволили жаловать... благодѣтели!

Мужики ничего не отвѣчали и переминались съ ноги на ногу.

— Мы пришли... то-ись, какъ бы выборные, значитъ...

— Какіе выборные? Отъ кого выборные? Знать ничего не знаю, не вѣдаю. Объясните, объясните, выборные, объясните, кто васъ выбралъ. Это любопытно!

— Мы, то-ись, Софронъ Яковличъ, отъ нашихъ, то-ись, отъ нашихъ... отъ всѣхъ...

— Любопытно! любопытно!.. А гдѣ вы скрывались лѣтомъ? Ась?.. Лѣтомъ-то гдѣ были?

Мужики ничего не отвѣчали и только переминались съ ноги на ногу.

— Вотъ я васъ, «выборные»! — и онъ застучалъ кулакомъ по столу.—Я васъ!... А теперь пошли вонъ! Вонъ! Не до васъ теперь. А завтра чѣмъ свѣтъ, чтобы быть здѣсь... здѣсь быть... «выборные»!..

Мужики поклонились чуть не въ ноги и медленно удалились.

— Р-ракаліи! Пріѣдешь лѣтомъ подать сбирать—въ лѣсъ сбѣгутъ. Съ собаками не отыщешь. А теперь пришли, какъ пріѣхалъ гнѣздо ихъ опечатывать.

— Какое гнѣздо?—спросилъ я.

— А часовню. Тоже вѣдь здѣсь старообрядскую часовню поставили... И какъ они учуютъ это, ракаліи! Никому не говорилъ—нѣтъ, пронюхали.—И онъ долилъ стаканъ чаю ямайскимъ и закурилъ новую трубку.

— Лѣтъ пять тому назадъ,—началъ онъ, выпустивъ цѣлыя облака дыма,—тоже вотъ пришлось мнѣ возжаться въ верхотурскомъ уѣздѣ съ этою сволочью.—Я, знаете ли, служилъ тогда въ верхотурскомъ уѣздѣ.—Разъ, вдругъ, бацъ ко

мнѣ бумага отъ исправника. Что такое? «До свѣденія нашего дошло,—пишетъ,—что въ селѣ Ниловѣ въ пещерахъ скрываются тайно два сектанта, бѣглые, и многихъ совращаютъ изъ православія въ свою ересь. Свѣденія сіи доставлены г. губернатору, который въ строгости предписываетъ оныхъ сектантовъ разыскать и къ нему представить». Что такое? думаю,—никогда не слыхалъ. Сейчасъ тройку и маршъ въ Нилово. Пріѣзжаю, начинаю допрашивать того, другого, третьяго: говорите! Ну, сначада было прималчивали, отнѣкивались. Но я, знаете ли, всегда на бабъ сперва. Поведешь атаку этакъ бодро. Выпорешь одну, другую, третью. Ну, и повинятся... Покаялись и разсказали, что съ мѣсяцъ или поболѣе живутъ у нихъ въ Искорскихъ пещерахъ «два святыхъ мужа». Пришли, молъ, не вѣсть изъ какихъ странъ, и поучаютъ истинной вѣрѣ. Днемъ, молъ, скрываются въ пещерахъ, а вечеромъ, молъ, вылѣзаютъ и народъ поучаютъ. Ну! собралъ я, значитъ, понятыхъ, сотскихъ, десятскихъ. Идемъ, говорю, указывай, гдѣ скрываются ваши «святые мужи». А тамъ, надо вамъ сказать, въ горахъ это, страсть какія пещеры. Чуть не подо всѣмъ Ураломъ идутъ. Пришли мы. Дѣло было ужъ къ вечеру, но солнце еще не садилось. Привели, и вижу я, дыра чернѣетъ.... какъ вамъ сказать?... вотъ коли согнуться до поясницы, такъ ничего, свободно пролѣзешь. Ну! говорю сотскимъ: лѣзь и зажигай свѣчи!— Свѣчъ съ собой захватили—маканцевъ.—Полѣзли, зажгли. Вошелъ и я. Ничего не видать. Темень. Вышина—страсть! На землѣ все камень этакъ наваленъ, и только одинъ уголъ расчищенъ, и въ немъ стоитъ налой и крестъ деревянный. Вотъ, указываютъ, тамо-тка еще пещера. Вижу, чуть-чуть въ въ потьмахъ что-то мерещится. Думаю, какъ туда лѣзть?..... Но тутъ, спасибо, сотскій надоумилъ. «Надо бы здѣсь не маканцевъ, говоритъ, а пальниковъ».—Что такое, говорю, пальники?—«А этака, знашь, говоритъ, суха лѣсина, да въ

смолу обмакнута».—Давай ее сюда, говорю, тащи твои пальники. Они было-начали мяться, да у меня немного вытанцуешь. Сейчасъ установленнымъ порядкомъ бацъ въ ухо, въ другое, въ третье!.. Принесли пальниковъ. Зажгли это пальники и вошли въ другую пещеру. Какъ только вошли, освѣтили... Батюшки свѣты! Повѣрите ли, видимо-невидимо этой нечисти—летучихъ мышей. Какъ примутся летать, крестить во всѣ стороны, пищатъ, снуютъ, прямо въ глаза лѣзутъ и всѣ пальники погасили... А надо вамъ сказать, что я страсть боюсь этой погани. Выскочилъ я въ первую пещеру. Думаю, что дѣлать?! Не возьмешъ никакимъ зубомъ этихъ «святыхъ мужей». И вдругъ, въ эту самую минуту, знаете ли, этакъ, такъ сказать, вдохновеніе меня осѣнило. Повернулся я къ сотскимъ и десятскимъ и зарычалъ на нихъ такъ свирѣпо:—Я, молъ, васъ, такіе, сякіе, разтакъ и этакъ всѣхъ вашихъ дядей и матерей. Тащите духомъ лѣсу, тащите бурелому, валежнику, рубите живо лѣсины!—Пошли, застучали по лѣсу. Натащили всякаго бревна и дерева. Навалили чуть не до половины первую пещеру. Цѣлый, знаете ли, этакій завалъ устроили. Взлѣзъ я на этотъ завалъ и кричу: —Эй, молъ, отцы святые, не знаю, какъ васъ звать! Если вы сейчасъ не выйдете, то мы выкуримъ васъ, какъ лисъ или зайцевъ.—Подождалъ, постоялъ, и вдругъ слышу какъ бы изъ-подъ земли такой глухой голосъ: «Воля Господа вседержащаго да будетъ надъ нами и надъ Духомъ Его. Амины!»... Такъ, знаете ли, меня отъ этого голоса даже въ ознобъ прошибло. Обернулся я, смотрю, а всѣ мои дураки, десятскіе и сотскіе, безъ шапокъ стоятъ, крестятся.—Ахъ вы! разтакъ васъ, этакъ...—и при этомъ я соскочилъ внизъ: —Зажигай,—говорю,—сейчасъ! Я, молъ, имъ, такимъ-сякимъ, выкурю ихъ какъ нечисть поганую!—Ну, подожгли, знаете ли лѣсъ, понатыкали въ него пальниковъ. Затрещалъ, запылалъ, дымъ повалилъ такой... страсть! Вышелъ

я изъ пещеры, присѣлъ на камушекъ. Подлѣ меня писарь стоитъ. «Чай не выйдутъ,—говоритъ.—Гдѣ имъ скрозь этакій дымъ выйтить!» А огонь тамъ такъ и деретъ. Знаете ли, въ дыру-то его поддуваетъ, и весь дымъ въ пещеру тянетъ. Ну, прогорѣло. Снялъ я шапку, перекрестился: слава, молъ, Господу, изжилъ бѣду!.. И на другой же день настрочилъ донесеніе: «Имѣю, молъ, честь донести, что оные сектанты истребили сами себя въ Искорской пещерѣ самосожженіемъ».

— Какъ такъ?! Вѣдь *вы* ихъ сожгли!—вскричалъ я.

— Какъ сожогъ!! Развѣ я ихъ жогъ? Я ихъ просто выкуривалъ... Я даже благодарность получилъ.

— За что?—удивился я.

— За это самое... за быстроту, за сообразительность...

Я молча поторопился допить стаканъ чаю и завалился скорѣе спать. Мнѣ постлали за перегородкой, на хозяйской кровати. Спутники мои улеглись въ избѣ на сѣнѣ.

Я хотѣлъ разстаться съ ними на другой день и уѣхать пораньше на Колву, гдѣ меня ожидала лодка.

Но «человѣкъ предполагаетъ, а Богъ располагаетъ».

Проснулся я часовъ въ семь. Въ избѣ говорили два голоса полушопотомъ. Одинъ былъ голосъ доктора, другой незнакомый мнѣ. Я долженъ замѣтить, что въ первый разъ мы встрѣтились съ этимъ докторомъ въ Чердынѣ. Онъ только-что два года какъ былъ выпущенъ изъ к-го университета, гдѣ и я воспитывался. Мы вспоминали съ нимъ объ университетѣ, о старыхъ профессорахъ, изъ которыхъ онъ уже многихъ не засталъ. Я спрашивалъ его, много ли у него здѣсь практики, и какъ вообще идетъ жизнь его.

Какая же здѣсь практика, помилуйте! Здѣсь нѣтъ ни помѣщиковъ, ни крупныхъ чиновниковъ, ни купцовъ, а жалованьишко плохое.

Я сказалъ, что подъ практикой я разумѣлъ помощь больнымъ.

— Здѣсь,—говорю,—условія гигіеническія плохія. Заразительныя болѣзни сильно распространены.

— Да! Есть! есть!—и онъ принался усиленно сосать трубку.

Глядя на его опухшее, покраснѣвшее, сильно лупившееся лицо и носъ также красный, который началъ на кончикѣ уже лосниться, я подумалъ: пришибетъ тебя заскорузлая жизнь—не выкарабкаешся. И дѣйствительно, вечеромъ онъ подливалъ усерднѣе станового въ «чай китайскій ромъ ямайскій», пилъ стаканъ за стаканомъ, отчаянно ерошилъ волосы, сопѣлъ немилосердно и на всѣхъ смотрѣлъ какъ-то сосредоточенно, большими сѣрами глазами на выкатѣ.

Проснувшись поутру и услыхавъ голоса, я заглянулъ за перегородку, отодвинувъ ситцевую занавѣску, которою была занавѣшена дверь. Докторъ стоялъ посреди избы въ полушубкѣ и сосалъ трубку; передъ нимъ стоялъ небольшой мужичокъ съ добродушной, унылой физіономіей.

— Смилосердуйтесь, ваше благородіе!—упрашивалъ вполголоса мужичокъ.—Вотъ какъ передъ Богомъ... кромѣ трешницы... на подушное припасъ... разрази меня громъ... Жена и ребятки и теперь ничего не ѣмши... Вѣдь не родился хлѣбъ-то. Смилосердуйся! Не потроши!

— Не кричи, тебѣ говорятъ!—перебилъ сердитымъ шопотомъ докторъ.

«Господи!—подумалъ я:—никакъ онъ подлецъ торгуется и даже съ вымогательствомъ!»

Я кашлянулъ, и въ то же мгновеніе докторъ быстро выдернулъ трешницу изъ рукъ мужика и, взглянувъ на меня вполглаза,—закричалъ на него:

— Ну! Пошелъ, пошелъ вонъ! Тамъ увидимъ... Пошелъ! Мужичокъ покорно вышелъ вонъ.

— А вы ужъ никакъ проснулись?—обратился ко мнѣ докторъ.

Да! А вы ужъ какія-то дѣла обдѣлываете?

Онъ очевидно смутился.

— Нѣтъ! Это такъ, знаете... Ну! разумѣется, пристаютъ.

— Кто пристаетъ?

— Нѣтъ... такъ... Вѣдь вы понимаете, здѣсь все мужичье. Край дикій, необразованный... предразсудковъ это тамъ, суевѣрій, не оберешсся.

И онъ принялся разсказывать, какіе здѣсь суевѣрія и предразсудки, но о томъ, о чемъ я спрашивалъ, умолчалъ. Мимо объѣхалъ.

Я Всталъ. Лошади мнѣ были давно уже запряжены. Вошолъ Софронъ Яковлевичъ.

— А!—Закричалъ онъ:—вотъ и вы поднялись! А хотѣли раньше насъ уѣхать. Не уѣдете, батюшка! Не родился еще тотъ человѣкъ, кто раньше становаго на мѣсто поспѣетъ.

Но я сказалъ ему весьма серьезно и внушительно, что я сейчасъ же ѣду и ни въ какихъ дальнѣйшихъ услугахъ его не нуждаюсь.

— Какъ вамъ будетъ угодно! Ваша воля!—сказалъ онъ.

Я наскоро выпилъ стаканъ чаю и отправился.

Мнѣ необходимо было сдѣлать только 20 верстъ къ берегу Колвы, около котораго ждала меня лодка. На лодкѣ былъ лоцманъ и четыре гребца-женщины. Подлѣ этой лодки стояла другая, также съ рулевымъ и шестью бабами. Онѣ громко разговаривали, и голосистый, «прицюкивающій», протяжный говоръ ихъ далеко раздавался. Когда же показался мой тарантасъ, онѣ смолкли.

— А что, развѣ Софронъ Яковлевичъ не поѣдутъ?—спросилъ меня одинъ изъ рулевыхъ.

— Нѣтъ! должно быть, не поѣдетъ.

— Валите клажу-то.—Цего тутъ баиться!—прокричала одна бойкая, курносая бабенка.

И всѣ бабы пошли къ тарантасику, въ которомъ клажи было очень немного. Я былъ налегкѣ. Въ одинъ мигъ въ лодку были уложены сакъ, подушки, постланъ коверъ. Бабы усѣлись, рулевой былъ у руля, и мы отправились.

Кто не ѣзжалъ по русскимъ сѣвернымъ порожистымъ рѣкамъ и любитъ дикія, скалистыя мѣстности, тому я совѣтую проѣхаться по Колвѣ. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ скалистый берегъ поднимался на нѣсколько сотъ футовъ. Скалы, какъ отвѣстныя сѣрыя стѣны, прямо торчатъ надъ водою, въ которой отражаются ихъ вершины, поросшія зеленью. Теперь эта зелень уже сильно пожелтѣла. Вездѣ чувствовалось приближеніе холодной ранней осени.

Я осмотрѣлъ и камень Вѣтланъ, и Дивью пещеру, снялъ вѣрную копію съ гіероглифической надписи. При входѣ въ пещеру, мнѣ невольно вспомнился разсказъ станового, и когда рулевой зажегъ нѣсколько пальницовъ и роздалъ ихъ бабамъ, когда яркій свѣтъ отъ смолы, горѣвшей съ трескомъ и копотью, освѣтилъ стѣны пещеры, то я невольно вздрогнулъ. Мнѣ живо представилось, какъ задыхались отъ дыма несчастные сектанты.

Полюбовавшись на прихотливые узоры сталактитовъ и подумавъ, что такая пещера привлекала бы массу любопытныхъ, если бы была среди цивилизованнаго, населеннаго края, я разстался съ этимъ дивомъ природы, и мы отправились въ обратный путь.

Солнце уже близко опускалось къ землѣ, и его косые холодные лучи освѣщали пятнами высокія ели, пихты и лиственницы, росшія по берегамъ.

Вдругъ вдали раздалось пѣніе. Пѣли визгливые женскіе голоса. Рулевой зорко всматривался въ даль.

— Никакъ становой ѣдетъ,—сказалъ онъ.

Пѣнье приближалось, и вскорѣ показалась большая лодка. Она быстро плыла. Шесть бабъ гребли и распѣвали плясо-

вую пѣсню. Докторъ подыгрывалъ имъ на гармоникѣ. Становой сидѣлъ или лежалъ подъ навѣсомъ лодки. Какъ только наша лодка подъѣхала къ ихъ лодкѣ, онъ вылѣзъ изъ-подъ навѣса и закричалъ:

— Уррра! Вваше выскродіе... ваше прев—ство! Прошу милости гулять... съ деревенскими бабатухами... Уррра!

Докторъ тоже поднялся и, снявъ картузъ, раскланивался низко, размахивалъ гармоникой и повалился. Мы проплыли мимо. Ихъ лодка цовернула вслѣдъ за нашей. Они довольно долго провожали насъ. Становой кричалъ и приглашалъ насъ изо всѣхъ силъ своихъ легкихъ.

Въ «Росной Пущѣ», небольшомъ селѣ, гребцы хотѣли остановиться, но я велѣлъ проѣхать мимо. Лодка станового причалила, и вся веселая компанія осталась тамъ.

Переночевавъ въ небольшой деревушкѣ, Иркизѣ, я на другое утро, до восхода солнца, отправился въ Чигорь. Приземистый мужичокъ съ маленькими подслѣповатыми глазками сѣлъ, въ качествѣ ямщика, на козлы моего тарантасика, который окружала толпа.

— Ты, мотри, хворостькой, не цуркай, валяй, валяй! не замедляй!—кричала толпа.

— Ладно! ладно!—соглашался «хворостькой», взобравшись на козлы, и началъ нахлестывать лошадей, которыя скорѣе напоминали телятъ. Дорога отъ проливныхъ дождей, которые шли цѣлую недѣлю, сильно испортилась. Тарантасикъ принялся прыгать по ямамъ и рытвинамъ. Грязь летѣла во всѣ стороны и залѣпляла глаза. Я остановилъ «хворостькаго» и велѣлъ ему ѣхать осторожнѣе.

— Ладно! ладно!—согласился онъ.—Мы по-маненечку.

Черезъ пять минутъ онъ обернулъ ко мнѣ свое подслѣповатое лицо.

— А Софронъ-то гулятъ! Ха!

— Какой Софронъ?

— А свѣтъ-же Яковличъ!.. Вчера, слышь, порѣшилъ часовню-то, припечаталъ... Деньжищъ что ему натащили... у-у! страсть! Все взялъ. «Мало», говоритъ, и припечаталъ. Правильный человѣкъ! А Степана Курчатку испотрошилъ. Семенъ-то у него въ ногахъ валялся.

— Какой Семенъ?

— А сынъ-то. Извѣстно дѣло, кому кровь родительска не дорога. Сдѣлай милость, не трожь ты ево, говоритъ. Дохтору трешницу далъ, самому синюху далъ. Не плѣнилъ! Трешницу взялъ и синюху взялъ и всего распотрошилъ. Вотъ и поди ты!

— Да за что же?

— А такъ изъ лютости. Онъ вѣдь во хмѣлю дюже лютой бываетъ. Во какой звѣрь!!. Ведьмѣдь!.. Правильный человѣкъ!.. А Бабулиху изъ избы вытолкалъ. Тутъ у насъ есть стара на стара солдатка, Бабулиха прозывается. Ту и съ внукой изъ избы вытурилъ. «За недоимокъ», говоритъ, и къ избѣ цусового приставилъ. «Теперь, говоритъ, она, слышь, въ казну пойдетъ»... изба-то!.. Цортъ гунявый!.. Онъ съ живого шкуру сдеретъ! Пра, сдеретъ, цо-о-о-ртъ!

Пообѣдавъ по-дорожному въ Чигорѣ, я вздумалъ, ради моціона, пройтись немного и, разспросивъ, гдѣ лежитъ путь пошелъ впередъ, приказавъ лошадямъ ѣхать за собой.

На углу улицы молча стояла толпа. Я подошелъ. У небольшой покривившейся избенки сидѣла сѣденькая старушка и держала на рукахъ дѣвочку лѣтъ шести или семи. Она укачивала ее и причитала надъ ней, посматривая на всѣхъ дикими, блуждающими глазами.

— Мертву качатъ,—пояснила мнѣ шопотомъ баба, которая стояла возлѣ меня.—Повредилась, знацитъ, болѣзная —и баба вытерла глаза кончикомъ платка на головѣ.

— Отчего же она умерла? — спросилъ я ее также шопотомъ.

— Да была, знацитъ, больна, а становой ее вытурилъ изъ избы и съ Бабулихой. Дѣвоцка-то крицала, крицала, да такъ и померла. Вонъ она и повредилась, Бабулиха-то. Одна какъ перстъ была у ней внуцька-то... Ни семьи, никого у ней нѣтъ!.. Болѣзная!..—И баба заплакала.

А дребезжащій голосъ старухи, не умолкая, глухо, монотонно причиталъ надъ мертвой:

Я постельку постелю,
Мою Дуню уложу.
Баю-баюшки-баю
Дуню милую мою.

Я отошелъ и быстро зашагалъ по дорогѣ, стараясь идти по окраинѣ, гдѣ земля еще не размокла.

Къ вечеру, когда уже солнце сѣло, я подъѣхалъ къ селу Выскорскому. Въ воздухѣ сильно похолодѣло, и выпалъ первый снѣгъ. Это было въ концѣ августа. У избы, куда меня подвезли, стоялъ мужичокъ у длинныхъ дрогъ, въ которыя была впряжена тощая лошаденка. Она тяжело дышала, и густой паръ шелъ отъ нея. На дрогахъ стоялъ новый, некрашеный гробъ.

Лицо мужичка было какъ будто знакомо. Я вспомнилъ, что это онъ утромъ упрашивалъ доктора не потрошить.

— Куда-же я теперь ево повезу? — допрашивалъ онъ стоявшихъ подлѣ мужиковъ.—Грязища страсть! Вишь, какъ дюже умаялся конь-то. Везти нѣшто назадъ. Ево, цорта, на дорогѣ встрѣнешь. Онъ во-какъ укатитъ!

Оказалось, что становой не далъ ему бумаги на похороны, а священникъ не хочетъ хоронить безъ разрѣшенія.

Вечерѣло. Среди сумерекъ ярко бѣлѣлъ снѣгъ. Онъ лежалъ пятномъ подъ дрогами, и на этомъ яркомъ бѣломъ пятнѣ было другое — кровавое. Кровь тихо капала изъ гроба.

А ты, дядя, зацѣмъ гробъ-то не сколотилъ? — сказалъ высокій сѣдой мужикъ. — Гляди-ко-сь. Родителеву кровь проливашь. Нехорошо!

Я поторопилъ скорѣй лошадей и уѣхалъ въ Чердынь. Но вечеромъ долго не могъ уснуть, и какъ только сталъ засыпать, то вдругъ поднялась передъ глазами живая окровавленная лошадь...

III.

Въ 1863 году я прожилъ полтора лѣтнихъ мѣсяца на южномъ берегу Крыма. Я пріѣхалъ туда юго-восточнымъ воднымъ путемъ по Волгѣ и Дону. Въ Таганрогѣ, часа за два до отъѣзда, привезли на пароходъ больного, полнаго старика, небольшого роста. Онъ задыхался, постоянно стоналъ. Его привезъ молодой лакей и сейчасъ же уложилъ на койку 2-го класса.

При первомъ взглядѣ на старика, я тотчасъ же узналъ его. Это былъ знаменитый московскій или, лучше сказать, русскій актеръ, Михаилъ Семеновичъ Щепкинъ. Не довѣряя глазамъ, я подошелъ къ лакею, который, уложивъ больного, остановился у притолоки, въ дверяхъ каюты.

— Вѣдь это Михаилъ Семеновичъ?—спросилъ я его.

— Да-съ!

— Скажите, пожалуйста, что съ нимъ?

— Больны-съ. Вотъ въ Крымъ веземъ. Дохтора указали.

Когда пароходъ отъѣхалъ, часа черезъ два, больной проснулся, всталъ. Его подвели къ общему столу. Онъ посидѣлъ за нимъ нѣсколько минутъ, тяжело дыша, затѣмъ всталъ и опять улегся.

Вечеромъ мы пріѣхали въ Керчь, и я счелъ первымъ долгомъ, какъ только пароходъ причалилъ къ пристани,

отправиться на Митридатову гору посмотрѣть памятникъ Стемпковскому и поискать между обломками греческой посуды, которыми заваленъ весь юго-восточный склонъ горы, какого-нибудь характернаго черепка, или ручки съ греческой надписью отъ древней стеклянной амфоры. Проходя мимо города, на одномъ изъ фонарныхъ столбовъ я увидалъ наклеенную большую афишу, на которой крупными буквами стояло имя Щепкина. Афиша объявляла, что онъ будетъ участвовать въ спектаклѣ, въ пьесѣ «Москаль Чарывникъ».

«Какъ же это,—подумалъ я,—будетъ участвовать больной, еле живой, задыхающійся старикъ!»

Я вернулся на пароходъ часовъ въ десять. Михаилъ Семеновичъ по прежнему лежалъ на койкѣ и стоналъ. Въ каютѣ за столомъ сидѣло нѣсколько пассажировъ и тихо разговаривали.

— Помилуйте,—говорилъ одинъ вполголоса:—вѣдь это нужно быть деревяшкой, чтобы сзывать публику смотрѣть на умирающаго старика. Онъ еле дышетъ.

— Да въ театрѣ-то онъ былъ?—спросилъ другой пассажиръ.

— Былъ. Возили. Только растревожили. Вонъ теперь стонетъ. Видно опять хуже сдѣлалось.

Чтобы не слыхать этихъ стоновъ, я вышелъ на палубу, на которой собрались почти всѣ пассажиры. Вечеръ былъ тихій. Полная луна стояла невысоко надъ моремъ. Теплый, южный воздухъ, южное, глубокое, темно-фіолетевое небо. Одна изъ чудныхъ картинъ Айвазовскаго развернулась передъ нами. Только здѣсь всѣ краски были живѣе, и луна ярко свѣтила, и тихо колыхался, какъ растопленное золото, ея отблескъ въ темно-синихъ волнахъ моря.

Но я не могъ любоваться этой восхитительной картиной. Тамъ, внизу, изъ каюты постоянно доносились тихіе

стоны. Я вспоминалъ тѣ роли, въ которыхъ я наслаждался игрой великаго комика. Вспомнилъ, что одинъ разъ по желанію государя Николая Павловича, были устроены два спектакля рядомъ, изъ которыхъ въ одномъ игралъ Мартыновъ, а въ другомъ Щепкинъ въ роли «Скупого» Мольера, и публика, и цѣнители не могли рѣшить, кто изъ нихъ выше. Каждый былъ неподражаемъ въ своемъ родѣ. Вспомнилъ незабвеннаго Фамусова; вспомнилъ слезливую мелодраму «Матроса», въ которой вся публика, весь театръ плакалъ отъ игры Щепкина. И вотъ!..—Теперь этотъ великій русскій талантъ играетъ собственную — послѣднюю, грустную роль «въ долинѣ плача и печали».

Мы пріѣхали въ Ялту.

На берегу толпился народъ, и стояла щегольская четверомѣстная коляска. Лакей въ ливреѣ протолкался сквозь толпу пассажировъ и вошелъ на пароходъ. Они, вмѣстѣ съ лакеемъ Щепкина, вывели его бережно изъ каюты и усадили въ коляску.

— Это В—въ прислалъ за нимъ, — сказалъ кто-то изъ пассажировъ.—Везетъ его къ себѣ въ Оляпку.

— Ну! и слава Богу! Ему тамъ будетъ покойно,—проговорилъ другой голосъ.

«Слава Богу!» подумалъ и я.

На берегу, прямо противъ пристани, стоитъ низенькое, двухъ-этажное деревянное зданіе. Въ то время это была почти единственная гостинница въ Ялтѣ (другяя была еще не устроена). Содержалъ ее какой-то аферистъ-французъ. Я остановился въ этой гостинницѣ и на другой же день отправился въ Гурзуфъ, гдѣ пробылъ около мѣсяца. Черезъ мѣсяцъ я снова долженъ былъ вернуться въ Ялту.

Въ первый же день я встрѣтился съ моимъ добрымъ старымъ знакомымъ Николаемъ Ивановичемъ Пазриковымъ. Нервный, больной, онъ постоянно разъѣзжалъ по всѣмъ

европейскимъ и россійскимъ водамъ. Разумѣется, мы другъ другу обрадовались. Усѣлись на дворѣ той же деревянной гостинницы, подъ тощими деревцами, и спросили себѣ какого-то пойла. Когда мы поразсказали другъ другу о томъ, какъ жили послѣдніе годы, я вспомнилъ о Щепкинѣ и спросилъ Николая Ивановича, не знаетъ ли онъ, что съ нимъ?—Николай Ивановичъ заволновался.

— Умеръ!—отвѣтилъ онъ коротко и рѣзко и тутъ же вскочилъ со стула и началъ размахивать руками. — Нѣтъ! вы представьте себѣ, каковы эти господа, безсердечники, деревяшки!

— Да кто такой? Что такое? Вѣдь его увезъ къ себѣ В.?

— Ну да, на одну ночь.

— Какъ на одну ночь?

— Такъ-съ. Вѣдь вы знаете, привезли его больного, еле живого.

— Ну да!.. Я самъ ѣхалъ съ нимъ на пароходѣ.

— Ну вотъ! привезли, а графъ В. тотчасъ же пригласилъ его къ себѣ въ Оляпку... Тамъ вѣдь у него, понимаете, комфортъ, роскошь, домъ-дворецъ, свой докторъ, своя аптека. Ну-съ! пріѣхалъ Михаилъ Семеновичъ, полежалъ, отдохнулъ, легче ему стало. Одышка отпустила, за обѣдомъ, знаете ли, разговорился, повеселѣлъ. Вечеромъ пріѣхали и гостьи какія-то баронессы или княгини. Ну и графъ сейчасъ устроилъ для нихъ литературный вечеръ! «Садись, Михайла Семенычъ, читай!» Дали ему второй томъ «Мертвыхъ Душъ». Бѣдный старикъ читалъ добросовѣстно, какъ и всегда, всю душу вложилъ въ дѣло. Читалъ онъ до 12 чатовъ, а тамъ задохнулся, заохалъ, застоналъ, и его увели, уложили, позвали доктора. Докторъ немного поговорилъ съ нимъ и ушелъ, а на другой день говоритъ графу: «Ваше сіятельство, онъ вѣдь очень плохъ и можетъ вдругъ умереть».—«Какъ?!» и графъ и графиня ужасно перепугались:

«Какъ! у насъ умереть? у насъ въ домѣ!» Графиня кричитъ: «Ахъ! я такъ боюсь мертвецовъ! Нельзя ли какъ-нибудь»... И вотъ, ничего худого не говоря, живо велѣли заложить карету и вмѣстѣ съ докторомъ отправили умирающаго въ Ялту. А? Какъ вамъ это нравится?

— Что же они? «мертваго тѣла» испугались?

— Да-съ! Испугались... Нѣтъ, вы представьте себѣ. Самъ пригласилъ къ себѣ жить. Пріѣзжаетъ больной, съ дороги. Вѣдь что бы догадаться, послать за докторомъ, осмотрѣть, дать хоть бы первый день отдохнуть... Вѣдь по человѣчеству, не правла ли? Нѣтъ, читать заставили!

— И что же онъ скоро умеръ?

— Позвольте! Сейчасъ разскажу. Привезли его сюда и положили вотъ здѣсь, въ этой самой комнатѣ, на солнцѣ,— и онъ показалъ на одно изъ оконъ нижняго этажа гостинницы.—Нумера на другой-то половинѣ дороже, а у графа не нашлось ни денегъ, ни любезности, ни даже деликатности, нанять отъ себя номеръ поудобнѣе и покойнѣе...

— Да вѣдь, можетъ быть, это было бы непріятно больному—возразилъ я.

— Чего же тутъ непріятнаго?!. Помилуйте! Когда это была прямая обязанность его, графа. Тутъ никакая щепетильность не обидится. Но вы послушайте, какъ несчастный скончался... Вѣдь это ужасно! И въ этой исторіи честь иниціативы принадлежитъ вашей тетушкѣ, Ненилѣ Степановнѣ... Вотъ субъектъ! Коли бы власть была, сейчасъ бы я ее на первой осинѣ повѣсилъ бы, безъ всякой жалости... Ей Богу, право!

— За что же?

— А за то же...

Но чтобы объяснить такой жестокій взглядъ Николая Ивановича на мою тетушку, я долженъ сказать два-три слова о ней. Моя тетушка, Ненила Степановна была сорока-

трехъ-лѣтняя «львица». Высокая стройная belle femme, брюнетка, съ живыми черными глазами. Сорока лѣтъ, уже вдовой, она вышла за 70-лѣтняго старика, моего дядю, дѣйствительнаго тайнаго совѣтника, управлявшаго однимъ изъ округовъ на восточной окраинѣ Россіи. Вѣрнѣе сказать, она женила его на себѣ и проводила на кладбищѣ черезъ два года. При немъ и безъ него она продолжала вести великосвѣтскую бойкую жизнь. Энергичная, ловкая, разбитная, она постоянно вертѣлась въ кругу высшаго общества и эксплуатировала встрѣчнаго и поперечнлго въ свою пользу. Въ провинціальномъ обществѣ она всегда занимала мѣсто первой дамы, распоряжалась и повелѣвала. Въ домашней деревенской жизни она также повелѣвала и пользовалась самымъ безцеремоннымъ и жестокимъ образомъ крѣпостнымъ правомъ.

— Представьте себѣ,—продолжалъ Николай Ивановичъ, —что эта госпожа устроила балъ по подпискѣ въ нумерахъ этой гостинницы наверху, какъ разъ иадъ тѣмъ нумеромъ, гдѣ лежалъ умирающій.

— Да что же развѣ другого мѣста въ городѣ не было? —замѣтилъ я.

— Было! Да еслибы даже и не было, то вы поймите, что изъ одного того, чтобы не безпокоить умирающаго, должно было отказаться отъ бала. Нѣкоторые такъ и сдѣлали. И вѣдь ей говорили, ее усовѣщевали.

— Что же она?

— Ничего-съ! «Михаилу Семеновичу,—говоритъ,—веселѣе будетъ, когда мы здѣсь танцовать будемъ». Каково?!

— Ну и устроила?

— Какъ же! устроила.

— Хорошо общество!—сказалъ я, пожимая плечами.

— Нѣтъ! скажите: хорошъ этотъ графъ, сплавляющій «мертвое тѣло» отъ себя подальше, и эта безщабашная

«львица», устроивающая пиръ надъ умирающимъ человѣкомъ.

— Что же?—спросилъ я:—и танцовали?

— Какъ же!.. Всѣ эти, съѣхавшіяся со всѣхъ концовъ Россіи, важныя особы обоего пола, всѣ плясали до упаду.

— А больной?

— Умирающій!—поправилъ Николай Ивановичъ.—Что же, по-неволѣ терпѣлъ, хоть и было не втерпёжь. Ваша тетушка попляшетъ наверху, попляшетъ какую-нибудь кадриль или польку и сбѣжитъ внизъ къ Михайлу Семенычу прохладиться. «Ну что, Михаилъ Семеновичъ? Какъ вамъ... немножко получше? Да?» Ну, а онъ, несчастный, едва лепечетъ, стонетъ, задыхается. Поправитъ у него подушку, дастъ лекарство, повертится, помашетъ вѣеромъ... Заиграютъ наверху, и она опять наверхъ. Пригласили, знаете ли, военный оркестръ, выписали изъ Ливадіи. Трубы дудятъ, барабаны грохочутъ, вся гостинница ходуномъ ходитъ, дрожитъ. и все это надъ Щепкинымъ, въ его послѣднія минуты...

— Что-жъ, онъ такъ и умеръ?

— На разсвѣтѣ скончался, когда разъѣзжаться стали. Бѣдная душа не выдержала... И знаете ли, какъ я подумаю, какъ я только подумаю объ этой смерти.. Бѣдный, бѣдный! думаю. Никто ни родной, ни дорогой не закрылъ твоихъ глазъ. Сколько добрыхъ чувствъ ты возбудилъ въ насъ, сколько юныхъ душъ воспиталъ!.. Тяжела была твоя крѣпостная, молодая жизнь и покончилъ ты тяжело свою старость, подъ гулъ и громъ плясовой музыки, подъ топотъ безпечныхъ, гулящихъ людей твоей родины!..

ЛАЗАРЬ УБОГІЙ.

Народная легенда.

Динь! Динь! Динь! Звенятъ, скачутъ, летятъ; катитъ масляница—румяная, нарядная!.. Дины! Дины! Дины!.. Стой!!.. Тпрр!!..

— Гдѣ блинами пахнетъ?!

Подкатили къ избѣ большой, въ два этажа, разубранной, разукрашенной—не изба, а цѣлый домъ-дворецъ стоитъ! Всѣ карнизы и карнизцы рѣзные,—коньками да пѣтушками прорѣзаны. Всѣ яркой зеленью раскрашены, желтыми, красными и синими полосками расписаны, — а на бѣлыхъ ставенькахъ красные цвѣты и яблоки какъ жаръ горятъ. Страсть хорошо!

Выскочили на крыльцо хозяева, кланяются въ поясъ дорогой гостьѣ. Подхватили подъ-руки, ведутъ на новое крылечко, со столбиками!.. Идетъ, входитъ, пыхтитъ масляница: толстая, нарядная, веселая-развеселая.

Ввели въ горницу. Цѣлый столъ блинами уставленъ и пшенными, и крупичатыми, и грешневыми, и прѣсными, и кислыми, и сладкими, со снѣтками, и съ икрой, и съ яйцами.

Стоитъ и масло топленое, и сметана жирная. Стоитъ цѣлый строй стклянницъ, штофиковъ и полштофиковъ съ разными романеями, водками сладкими и горькими,—есть вишневка, листовка, есть малиновая и даже сливянки полштофа, и даже россійской цѣлая бутыль! Пей, веселись, сердце человѣческое!

И сѣла масляница и сѣли гости за столъ. Ѣдятъ, жуютъ, масло течетъ, сметана ползетъ по усамъ, по бородамъ, съ усовъ каплетъ. Важно!.. Ѣдятъ часъ, ѣдятъ два... Ѣдятъ и пьютъ; пьютъ и ѣдятъ... Шумятъ, поютъ, гуторятъ. Гулъ ровно мельнично колесо гудомъ гудитъ. — Всѣ масляницу встрѣчаютъ, радуются, пьянымъ-пьяно!

И вдругъ подъ окошечкомъ жалостный голосокъ: «матушки, батюшки, христовы радѣтели! Сотворите милостинку Христа ра-а-ди!..»

Выглянулъ въ окошко бородатый, жирный хозяинъ, видитъ хромой, лысый Пахомъ — приплелся съ клюкой подъ окошечко: видно кусочки собираетъ.

Взялъ два блина, завернулъ въ бумажку, что на полу валялась; шварканулъ въ окно—прямо въ снѣгъ.

— Прими, молъ, Христа ради!

Заковылялъ Пахомъ, подошелъ, поднялъ блины, перекрестился.

— Пошли, молъ, тебѣ Господи добраго здоровья! Спаси Господи!

Увернулъ блины бережно, положилъ въ котомочку. Побрелъ домой.

Снѣжокъ, такой мокренькій, идетъ, снѣжитъ, масляницѣ дорожку подмазываетъ, — Пахому все лицо запорошилъ — всѣ глаза заслѣпилъ. Отряхивается отъ него Пахомъ.

— Экій, думаетъ, надоѣдный какой! Спаси Господи!

Идетъ Пахомъ мимо деревни, по улицѣ. Всюду народъ шумитъ, гудётъ, масляницѣ радуется.

— Господи! — думаетъ Пахомъ, — приду, принесу моей хозяюшкѣ Марѳушенькѣ два блинка. Пущай масляницу встрѣчатъ, радуется. А ужъ Настюша какъ, маковка моя, обрадуется!..

Вышелъ Пахомъ изъ деревни, пошелъ по задворкамъ, до своей деревни, что была въ двухъ верстахъ. Идетъ, ковыляетъ, посошкомъ подпирается, а самъ думаетъ:

— Господи! чтобы, да кабы всѣмъ людямъ, православнымъ мірянамъ, да широку масляницу-бы встрѣчать, пировать. А то нѣту, нѣтъ... Нѣтъ такого Божьяго соизволенія, чтобы каждому было способно жить... Чтобы у каждаго, то-есть, на бѣломъ свѣтѣ былъ достатокъ. Одинъ цѣлу гору блиновъ напечетъ и закуски всякія устроитъ, и винцомъ сладкимъ балуется... а у другого, хвать-похвать и вотъ!..

И Пахомъ пощупалъ котомку: тутъ-ли въ ней два блина въ бумажкѣ лежатъ.

— Ну да сегодня надавали мнѣ радѣтели всякихъ кусочковъ... Спаси Господи!..

Идетъ, ковыляетъ Пахомъ, а снѣжокъ все навстрѣчу, все навстрѣчу такъ и частитъ, мельтешитъ, сѣетъ, посыпаетъ... И все кажется Пахому, что сквозь снѣжокъ кто-то какъ будто рядомъ съ нимъ идетъ. Приглядится, протретъ глаза—нѣтъ никого! Пойдетъ, заковыляетъ—и вотъ, вотъ идетъ кто-то подлѣ. Остановился, глядь... и спутникъ его стоитъ передъ нимъ,—остановился, на длинную палку опирается.

— Кто такой?!—думаетъ Пахомъ.

Стоитъ человѣкъ еще молодой, не большой и не маленькій, безъ шапки, и длинныя кудри по плечамъ лежатъ, ровно у дьякона или дьячка...

Одежда на немъ... не то стихарь, не то армякъ—и вся она изодрана и заплатана.

А лицо—лицо чистое и такое доброе, да ласковое! Глаза

большущіе, голубые, да ясные. И отъ всего лица его ровно свѣтъ какой идетъ — или только это такъ снѣжокъ показываетъ.

— Что, добрый человѣкъ? Откель идешь?—спрашиваетъ его Пахомъ.

Но ничего добрый человѣкъ не отвѣтилъ. Стоитъ, молчитъ и смотритъ на Пахома любовно, да ласково.

Подивился Пахомъ, перекрестился и пошелъ, заковылялъ по дорогѣ, а человѣкъ съ нимъ рядомъ идетъ.

Пойдетъ, пойдетъ Пахомъ, остановится — и человѣкъ остановится. Стоитъ и молчитъ.

— Должно быть нѣмой,—смекаетъ Пахомъ,—и одежа-то у сердечнаго вишь какая дырявая, спаси Господи! Вездѣ прорѣхи. Даже вотъ тѣло видать.

Идетъ, ковыляетъ Пахомъ и все на спутника косится, а снѣжокъ сѣетъ, мельтешитъ прямо въ глаза.

— Мнѣ-то не холодно,—думаетъ Пахомъ,—а ему-то каково! — Вишь, болѣзный, какъ жмется и ручки-то ему некуда спрятать. Спаси Господи!

— Постойко-сь, голубчикъ, я те прикрою,—говоритъ.

Остановился, стащилъ съ себя кафтанишко.

— На-ко! — говоритъ, — прикройся кафтаномъ-то. Все тебѣ теплѣй будетъ; а мое дѣло привычное.

Взялъ путникъ кафтанъ, прикрылся имъ.

— У насъ вотъ третье-днясь случай это въ деревнѣ былъ—говоритъ Пахомъ.—Вышелъ мужичекъ, Парамономъ звали. Этакъ же вотъ, снѣжокъ запорошилъ... Все гадалъ: дойду, да дойду до Кутякина — этако село тутъ у насъ есть,—а снѣжокъ все сильнѣй да сильнѣй. Мятель поднялась. Всю ночь проплуталъ... А на утро нашли его! въ овражкѣ замерзлый лежитъ, сердечный!... Спаси Господи!

Помолчалъ, поковылялъ Пахомъ, и спутникъ молча идетъ.

— У насъ теперь масляна—говоритъ Пахомъ:—народъ

все веселый... а у меня, вонъ, ничего-то нѣтъ! Пошелъ, третье-днясь собирать въ Успеньево. Ну! Слава Те Господи! Надавали мнѣ радѣтели, вишь сколько! — И показалъ Пахомъ на котомку. — Мнѣ-то немного надо... Ну! А у меня старуха и внука у насъ—Настюшенька.—Така ладна дѣвочка. Четвертый годокъ идетъ... Была, значитъ, у меня дочка и зятекъ былъ. Зятька-то въ солдатчину угнали, въ некруты царски... Такъ полагать надо и убили его на страженьи. Тогда вѣдь война севастопольска была... Сколько тамъ народу перебили и не счесть! Спаси Господи!.. А дочка-то померла... Больно ужь значитъ она любила мужа-то... Какъ угнали его, такъ вся зачахла, извелась и померла... Она, знашь... ровно ужь не въ умѣ была... Вотъ и покинула намъ внучку-то... Взяли мы ее и воспитывамъ, со старухой-то... Только достатковъ-то никакихъ нѣтъ. Міръ кормитъ Христа-ради... Да все наровятъ какъ урѣзать... Прошлый годъ отпущали осьмину въ мѣсяцъ, а нонче—говорятъ: куда вамъ эку махину?!. Вѣдь старики вы... да махонькій ребенокъ у васъ.... Пущай будетъ вамъ и полосмины... Вотъ и маемся... Спаси Господи!.. И думаю я, пригожій мой, зачѣмъ это одни люди маются, а другіе пиршествуютъ?! Вотъ хоть бы теперь взять у Сидора Терентьича.... Каки достатки! И домъ большой, и лавка, и кабакъ, и масляну справлятъ, какъ заправскій хрестьянинъ. А Микита Викулычъ... что лѣсомъ торгуетъ... Вѣдь простой мужичекъ былъ... а теперь, гляди-кось!.. въ купцы вышелъ!.. А мнѣ нѣтъ... все нѣтъ удачи, да спокою... Спаси Господи!.. Дѣтки всѣ померли, некому подкрѣпить меня, подсобить некому... А вѣдь было у насъ цѣлыхъ пятеро... Три сына, да двѣ дочки... Вотъ! Одни съ старухой, да съ внукой остались!.. И все бы, знашь, ничего... Да вотъ бѣда!.. Нога!! Ноги нѣтъ!.. Третьяго года пошелъ въ лѣсъ дровецъ порубить, въ колковскій участокъ... да вотъ ноженьку порубилъ... Здоровый то какъ-никакъ ко-

пошился, а какъ порубилъ ногу-то, совсѣмъ плохъ сталъ... Старуха моя, слышь, въ шпиталь меня свезла и тамъ я, почитай, цѣлый годъ провалялся. Хотѣли ужъ ногу-то пилить... да я упросилъ... Спаси Господи!.. Такъ ее, знаешь, всю свело и посохла она... Вишь! Какъ лутошка стала!.. А безъ меня старуху-то мою обидѣли... Отняли у насъ тягло и землицу отняли... Ничего была землица-то... ладная, да другимъ спонадобилась... А надо сказать тебѣ, что старуха моя Марѳа, свѣтъ Панкратьевна, така ужъ съ роду родясь болѣзная, да немощная была... Такъ просто, я ее изъ жалости за себя взялъ... По тому самому, что никто, т.-е. во всей деревнѣ не бралъ ее за себя. А была она дѣвка така добра, да смиренница... И вотъ, вишь, Господь сподобилъ прожить съ ней годовъ тридцать и дѣтокъ нажить. И все бы ничего... Ладно!.. Не жалился бы Господу... Да вотъ бѣды одолѣли. Маемся, маемся и все думаемъ: для-че это такъ Господь распредѣлилъ. Тебѣ блинъ масляный, а тебѣ корка суха!—Отчего, скажи ты мнѣ, Господь милосливый не ко всѣмъ христіанамъ милосливъ?! Вотъ како сумлѣнье меня беретъ... Спаси Господи!

Посмотрѣлъ Пахомъ на странника, а странникъ не глядитъ на него, молча идетъ.

— И была у меня, слышь,—началъ опять Пахомъ:—скотинка: лошадка така, дюже добра. Пѣгашка—мы звали ее. И коровенка—буренушка была, и даже овечки... И все это, братецъ мой, распродали, за недоимки распродали... Прихожу я это домой... Пусто! Голо!.. Шаромъ кати... И старуха моя дюже отощала... Еле жива, ровно лучинка бродитъ, шатается... Что молъ, говорю, за погромъ такой? Спаси Господи!... Такъ и такъ говоритъ: все распродали... Пошелъ я жалиться міру... Ну, а на міру, самъ знашь, кака правда живетъ!.. «Ты, говорятъ, теперь убогій, съ тягломъ не совладашь». — Да зорители вы мои! Помилосердуйте!...

Коли не совладаю, подушны не внесу—ну, тогда и лишайте меня живота, а покель что—животъ мой!.. Самъ я, на свои денежки все заводилъ... а теперь... На-кось! Спаси Господи!.. Ни лошадки, ни коровки, ни овечки... Ни Боже мой!.. Все спустили!!. «Мѣсячину тебѣ положили, говорятъ... чего-жъ еще?! Живи Христа ради... да славь Бога-Христа!» — А надо тебѣ сказать, сердечный мой, что всѣмъ тутъ дѣломъ заправлялъ у насъ—мужичекъ есть такой—непутный... Спаси Господи! Выродовъ прозывается — Петръ Выродовъ!.. Давно ужь онъ міру клянчилъ, чтобы прирѣзать ему землицы-то... Значитъ сусѣдомъ мнѣ былъ... да все меня сумлѣвались... А тутъ вдругъ способность вышла... Какъ значитъ положили меня въ шпиталь... Старуха-то одна съ внукой осталась... Годъ, значитъ, прошелъ... Подушныхъ нѣтъ... Такъ и порѣшили: отобрать землицу... А тамъ каки-то казенны недоимки начли и скотинку продали... И такъ, говорятъ, цѣлый мѣсяцъ всей деревней ее пропивали... Дюже весело было!.. Ну вонъ, значитъ, пришелъ я, взвылъ, таково прискорбно стало... Ну! А тамъ пошелъ побираться... И ничего!.. Господь питаетъ!.. Только вотъ объ одномъ все сумлѣваюсь... Скажи ты мнѣ, сердечный, отчего Господь милосливый не ко всѣмъ милосливъ... А?

И поглядѣлъ Пахомъ на спутника, а спутникъ идетъ, молчитъ—ровно глухой.

— И впрямь должно быть глухой, подумалъ Пахомъ.. а то може какой-нибудь косноязычный... Спаси Господи!

— Охо-хо!—вздохнулъ опять Пахомъ.—Вотъ, сердечный, ты мой, и далъ намъ Господь со старухой одну утѣху... дѣвчонку, внучку. Така бойка, да смышлёна дѣвочка. Увеселительница наша! Утѣшаемся на нее и славимъ Господа. Словно она у насъ красно солнышко... Право!.. Улыбнётся и всё горе забудемъ! Ровно и нѣтъ его... Спаси Господи!... Надняхъ, это я ее припужать хотѣлъ... «Подь-ко, подь-ко,

говорю, вотъ я те, попкина дочь, отстягаю... больно отстягаю»... А она смѣется... «Нѣтъ, говоритъ, дѣдка, не отстягаешь! Тебѣ, говоритъ, шибко больнѣе будетъ»!.. Вотъ така шустра, да догадлива!.. А вонъ... вишь... и наша деревенька, на пригорочкѣ-то... Пустомятово прозывается... Ты куда-же идешь, сердечный, въ Покровско али дàлѣ?..

И посмотрѣлъ Пахомъ на спутника, а спутникъ, по прежнему, идетъ и молчитъ...

Вошли они въ деревню. Снѣжокъ немного притихъ. Идутъ, поднимаются на горку. Пошли прясельцы, избенки... Вездѣ народъ высыпалъ на улицу. Крикъ, шумъ, пѣсни. Парни въ снѣжки играютъ. Дѣвки на салазкахъ съ горы катаются.

Подошли, наконецъ, и къ Пахомовой избенкѣ. Стоитъ избенка въ два оконца; вся къ землѣ пригнулась.

— Плоха, плоха у насъ избенка,—говоритъ Пахомъ.— Все у міра прошу лѣску подправить... Да нѣтъ, не даютъ, жидоморы! Говорятъ: и такъ проживешь!... А что же это насъ не встрѣчаютъ?! Старуха знатъ, что я седни приду и дѣвчонка знатъ... Самъ наказывалъ, что седни къ обѣду приду... Бывало завсегда дѣвчонка выбѣжитъ за воротцы, и старуха выползетъ... А теперь... Спаси Господи!

И вошелъ Пахомъ съ путникомъ въ воротцы.

— Войди!—говоритъ!—войди къ намъ, болѣзный!.. Не хорошо странному отъ избы уходить.. Войди, гость посланный... Гостемъ будешь... У меня два блинка есть... Подѣлимся, встрѣтимъ масляну.

И вошли они въ сѣни; а въ сѣняхъ слышно, что кто-то воетъ и стонетъ, причитаетъ въ избѣ.

— Спаси Господи! перекрестился дрожащей рукой Пахомъ. Отворилъ двери; вошли.

Подъ образами, на лавочкѣ лежитъ Настюшка. Свѣчка передъ образомъ горитъ и наклонилась надъ ней бабушка Марѳа—плачетъ, убивается, голосомъ причитаетъ:

— Покинула насъ звѣздочка, покинула насъ убогенькихъ, радость наша красная! Покинула сиротиночекъ, свѣтелъ нашъ свѣтъ въ очахъ! Закатилось наше солнышко!..

Пошатнулся Пахомъ, бросился онъ къ бабушкѣ Марѳѣ.

— Что тако, говоритъ,—приключилось съ ней?! Спаси Господи!

— Померла, голубушка!—плачется Марѳа.—Ясная утѣшница наша. Отнялъ Господь милосливый!.. Третье-днясь вечеромъ разнемоглась, повалялась завчера, а седня душеньку Господу отдала...

Стоитъ Пахомъ. Руки, ноги, голова трясутся.

— Господи! Господи! Господи!—шепчетъ онъ и перекреститься хочетъ и не можетъ.

А путникъ взялъ его за руку,—такъ крѣпко да ласково взялъ и проговорилъ тихо и явственно одно слово, одно только слово:

— Вѣрь!!!

И подошелъ онъ тихонько къ лавкѣ, на которой лежала дѣвочка и взялъ дѣвочку на руки.

И поднялъ онъ дѣвочку высоко кверху и снова опустилъ.

И дѣвочка зашевелилась, вся потянулась, какъ во снѣ, и сквозь сонъ улыбнулась и открыла глазки.

Ахнули разомъ и Марѳа и Пахомъ, ахнули, всплеснули руками, зарыдали и упали на колѣни.

— Знахарь ли ты?.. Ангелъ ли Господень?.. говоритъ Пахомъ, а самъ весь отъ радости дрожитъ и трясется.—Да благословитъ тебя Господь милосливый!..

И оба они обнимаютъ, цѣлуютъ дѣвочку и дѣвочка цѣлуетъ ихъ.

И оба они догадались, поняли, что всё прахъ, тлѣнъ—всѣ блага земныя. Дорога душа человѣчья и любовь къ ней. Въ ней богатство и радость и счастье людское.

И поклонился Пахомъ страннику и говоритъ:

— Родимый! Не обидь, не обсудь... Не побрезгуй нашей трапезой... Раздѣли со мной, сердечный ты мой, хлѣбъ-соль... Убогая... да отъ сердца она.

И высыпалъ Пахомъ все изъ мѣшка на столъ и два блинка изъ бумажки вывернулъ.

И перекрестились Пахомъ и Марѳа, и сѣли всѣ трое за столъ. И странника промежь себя посадили. И взялъ онъ на колѣни къ себѣ дѣвочку. И дѣвочка такая тихая, да радостная — сидитъ у него и улыбается. Посмотритъ на дѣдку—улыбнется... Посмотритъ на бабку—улыбнется... А они плачутъ, не нарадуются.

— Вотъ!—говоритъ Пахомъ, а голосъ у него дрожитъ и слезы текутъ изъ глазъ.—Вотъ тебѣ, сердечный мой, блинокъ. Кушай его себѣ на здоровье. Спаси Господи! А мы со старухой другой раздѣлимъ и внукѣ дадимъ. Встрѣтимъ масляну и Господа благословимъ.

И положилъ Пахомъ блинъ передъ странникомъ, а другой взялъ и разорвалъ. Одну половинку себѣ взялъ,—другую старухѣ далъ. И глядитъ на странника: что, молъ, онъ, сердечный, скажетъ?

А странникъ, помолчалъ, помолчалъ и заговорилъ тихо, явственно:

— Былъ одинъ богатый человѣкъ, одѣвался онъ въ порфиру и виссонъ и каждый день задавалъ блестящіе пиры. И былъ также одинъ нищій, именемъ Лазарь. Онъ лежалъ у воротъ богача, лежалъ больной, покрытый ранами и струпьями и питался объѣдками и крохами, которые бросали ему со стола богача слуги его, а собаки приходили и лизали струпья его. И вотъ умеръ бѣдный Лазарь и ангелы взяли отстрадавшую душу его и отнесли ее на лоно Авраамово.

И Пахомъ и Марѳа слушаютъ странника, слушаютъ—

не шелохнутся и руки сложили. И слушаетъ его дѣвочка. И также рученки сложила и лепечетъ, повторяетъ за странникомъ слова его.

И кажется Пахому и Марѳѣ, какъ будто странникъ растетъ, поднимается.

— Умеръ также богачъ,—говоритъ странникъ.—И душа его была повержена въ адъ. Среди адскихъ мученій онъ поднялъ глаза къ небу и увидалъ тамъ вдали Авраама и Лазаря на лонѣ его. И закричалъ онъ Аврааму: «Умилосердись, Авраамъ, скажи Лазарю, чтобы онъ омочилъ кончикъ пальца въ водѣ и пришелъ бы сюда и ка́пнулъ бы хоть одну капельку на языкъ мой. Нѣтъ мнѣ силъ больше терпѣть и мучиться въ адскомъ пламени». Но Авраамъ сказалъ ему: «Другъ мой. Вспомни, что при жизни твоей ты получилъ все доброе, а Лазарь, несчастный, все злое. Теперь же онъ здѣсь утѣшенъ и блаженствуетъ, а ты страдаешь. И между вами и нами лежитъ цѣлая пропасть, такъ что нельзя перейти ни отъ насъ къ вамъ, ни отъ васъ къ намъ».

И слушаютъ Пахомъ и Марѳа, не шелохнутся.

А странникъ растетъ, поднимается, и глядятъ на него Пахомъ и Марѳа, не спуская глазъ. И видятъ они, что нѣтъ ужь въ избѣ потолка. И чистое небо сіяетъ надъ ними, а съ этого неба слышится голосъ странника:

— И тогда сказалъ богачъ: «такъ я молю тебя—пошли Лазаря въ домъ отца моего; тамъ у меня осталось пять братьевъ. Пусть онъ предупредитъ ихъ, чтобы и они не попали въ этотъ страшный огонь!» Авраамъ же отвѣчалъ ему: «У нихъ есть Моисей и пророки. Пускай ихъ послушаютъ».—«Нѣтъ! сказалъ богачъ. Они не послушаютъ ни Моисея, ни пророковъ. А вотъ если кто придетъ къ нимъ изъ мертвыхъ и разскажетъ имъ, то они покаятся».—Нѣтъ! сказалъ Авраамъ. Если они ни Моисея, ни пророковъ не

слушаютъ, то если бы кто изъ мертвыхъ воскресъ, и пришелъ къ нимъ, то и тому не повѣрятъ»!..

Глядятъ въ небо Пахомъ и Марѳа и видятъ, что тамъ, высоко, въ сіяющемъ небѣ расплывается, исчезаетъ ликъ странника. И тихо, чуть слышно долетаетъ до ихъ ушей и сердецъ кроткія и святыя слова:

— «Иго мое благо и бремя легко есть!»

И исчезъ святой ликъ, а Пахомъ и Марѳа все еще смотрятъ наверхъ хотя давно уже закрылось небо и чернѣетъ надъ ними потолокъ ихъ убогой избушки.

Наконецъ опомнились старички. Стоятъ они посреди избы на колѣняхъ и Настюша ихъ стоитъ, также на колѣняхъ, на лавочкѣ и лепечетъ: «Господи помилуй!»

И понялъ, уразумѣлъ Пахомъ, что Господь до всѣхъ милосливъ и только гордые и жестокосердые не вѣрятъ тому и не могутъ понять этой милости.

Смотритъ онъ на Марѳу, и у обоихъ слезы текутъ по щекамъ, а душа ликуетъ, радуется...

И вдругъ, динь, динь, динь!.. Звенятъ, скачутъ летятъ. Скачутъ на тройкахъ, въ широкихъ саняхъ: катитъ масляница мимо Пахомовой избенки... Звенятъ, гремятъ, поютъ, орутъ, бранятся, дерутся... «Спаси Господи»!..

ЛЮБКА.

I.

Давнымъ давно, лѣтъ сорокъ пять тому назадъ, а можетъ быть и болѣе, мы вчетверомъ, въ рождественскій вечеръ, сидѣли около камина и слушали разсказъ добрѣйшаго старичка Петра Нефедьича Трутькова.

Тогда ему было уже слишкомъ семьдесятъ лѣтъ, а можетъ быть даже подходило къ восьмидесяти. Однимъ словомъ, Петръ Нефедьичъ прожилъ свою молодость и зрѣлые годы еще въ прошломъ столѣтіи, а въ то время, когда мы сидѣли около камина, былъ еще бодрымъ и крѣпкимъ старичкомъ.

Былъ онъ вольноотпущенный богатаго уральскаго помѣщика, Марка Петровича Турчинова. Онъ служилъ и дослужился до чина, довольно крупнаго.

Разсказы его мы всѣ любили слушать—разсказы о стародавнемъ времени, котораго событія прошли передъ глазами Петра Нефедьича. Въ немъ только была одна странность: говорилъ онъ на *о*, какъ уроженецъ Сибири и гово-

рилъ стародавнимъ языкомъ, съ постоянными прибавленіями: «государь мой» или «государи мои». Впрочемъ и этотъ языкъ намъ нравился. Отъ него такъ и вѣяло Екатерининскимъ временемъ.

Разсказъ начался по поводу нашего разговора «о необычайныхъ явленіяхъ». Кто говорилъ, что они существуютъ; кто отрицалъ ихъ положительно и даже запальчиво.

— Позвольте мнѣ замѣтить, государи мои, — вмѣшался Петръ Нефедьичъ,—что это есть дѣло доброй вѣры и разумнаго взгляда. Иной все это почитаетъ за воображенье ума, а другой придаетъ сему глубочайшій смыслъ... Если позволите, то я разскажу вамъ, какъ бы въ примѣръ, о нѣкоемъ происшествіи, случившемся весьма давно съ однимъ знатнымъ помѣщикомъ, коему вся наша семья принадлежала, въ славное царствованіе Великія Императрицы Екатерины второй.

— Разскажите почтеннѣйшій Петръ Нефедьичъ... это очень интересно.

Петръ Нефедьичъ ближе подвинулся къ камину и его красноватое румяное лицо еще болѣе покраснѣло отъ свѣта краснаго пламени. Даже сѣдѣнькіе, коротко обстриженные волоса и коротенькая сѣдая бородка, приняли розоватый оттѣнокъ. И отъ этого отсвѣта все лицо его сдѣлалось какъ бы еще добрѣе.

— Въ которомъ это году случилось,—такъ началъ онъ,—доподлинно не могу вамъ теперь объяснить, въ 1769 или 71, однимъ словомъ, государи мои, было мнѣ тогда лѣтъ 14 или 16, не болѣе, и былъ я еще совсѣмъ глупый парнишка. Покойный мой родитель состоялъ во дворецкихъ у нашего помѣщика Марка Петровича Турчинова. И то, что теперь вамъ сообщаю, государи мои, то мнѣ разсказывала моя родительница, когда мнѣ пошелъ уже третій десятокъ годовъ—а она всѣ подробности слыхала отъ самой матушки Марка Петровича.

Помню въ тотъ годъ свѣтлѣйшій князь Григорій Александровичъ Потемкинъ изволилъ прибыть въ столицу на первой недѣлѣ великаго поста и задумалъ онъ, милостивые государи мои, дать балъ, а по какому собственно случаю—того доподлинно не вѣдаю. На этотъ балъ, государи мои, собирались всѣ знатнѣйшія особы и разнаго высокаго званія персоны; а впрочемъ, надо вамъ доложить, что многіе изъ простого званія попали тоже на балъ, безъ приглашенія и билетовъ, а просто по протекціи дворцовыхъ служителей.

На ономъ балу должна была быть сама Императрица и, по правдѣ сказать, весь балъ былъ для нея собственно и затѣянъ свѣтлѣйшимъ княземъ. Цѣлый великій постъ шли приготовленія къ оному пиршеству и того времени оказалось недостаточно. Тысячи рабочихъ трудились и передѣлывали дворецъ свѣтлѣйшаго князя и не токмо самый дворецъ, который въ оное время стоялъ далеко не достроеннымъ и не отдѣланнымъ, но и все, что окружало сей дворецъ, было вновь передѣлано. Работы было не мало и вы, государи мои, не подивитесь, что на всѣ сіи построенія ушло и времени не мало. Мнѣніе общества было таково, что праздникъ сей будетъ непремѣнно на Святой недѣлѣ, но вотъ Святая недѣля наступила и протекла, а празднество не было объявлено. Говорили за симъ, что оное произойдетъ во вторникъ на Фоминой, затѣмъ въ пятницу, но и это не оправдалось—такъ что многіе начали говорить, что все сіе устройство приготовляется къ зимѣ.—Между разными приглашенными на балъ, былъ также приглашенъ и нашъ Маркъ Петровичъ. Полагаю, изволите знать, что былъ онъ весьма извѣстенъ. Были у него богатѣйшіе заводы, рудники въ Сибири, да ко всему этому земли въ степяхъ оренбургскихъ—тысячъ пять десятинъ, да еще не малыя вотчины въ Перми великой. Сына его, Василія Маркыча, звали на Уралѣ

«княземъ сибирскимъ» — хотя Маркъ Петровичъ княземъ никогда не бывалъ—а только былъ онъ, государи мои, стариннаго дворянскаго роду.

II.

— Надо вамъ доложить, что тогдашнее время было тяжелое время. Оно, конечно, не мало было блеску и грому, но—по правдѣ сказать—все оное оказывалось больше фальшь-фейеромъ. Прогорѣлъ оный фальшь-фейеръ и остался одинъ угаръ и жупелъ. А для того, чтобы иллюзію поддержать неослабно, прибѣгали къ разнымъ пиршествамъ и великолѣпіямъ, кои люто били по карману господъ помѣщиковъ и раззоряли ихъ весьма изрядно. Тогда всѣ набросились на разныя зрѣлища и увеселенія. При дворѣ почитай каждый день шли маскарады, театры и куртаги. Первымъ дѣломъ играли въ карты и не одинъ князь или графъ свои дѣдовскія помѣстья изволилъ спустить въ подломберъ или три-три. Балы задавали такіе, что одинъ балъ былъ пышнѣе другого. Одинъ баринъ задастъ балъ и протрафитъ на него тысячъ 5 или 6, другой истратитъ и 10 тысячъ, а третій, пожалуй, и всѣ 15 хлопнетъ. Судите сами: за одну стерлядь, напримѣръ, платили по 100, по 260, по 300 рублей и выше! На небольшихъ балахъ у князя Таврическаго, или у графа Воронцова, или у графа Григорія Чернышева, за ужиномъ, столъ бывалъ на двѣсти, на сто восемьдесятъ и никогда не меньше какъ на сто кувертовъ. На оныхъ ужинахъ одна уха стоила свыше тысячи рублей, ибо ею наполняли преогромныя семи и восьми пудовыя серебряныя чаши и два человѣка, стоя на малыхъ скамьяхъ, раздавали оную уху всѣмъ персонамъ. Можете посудить, государи мои, какое изъ тѣхъ излишествъ было разореніе. Надо и то ска-

зать, что ѣли тогда безъ милосердія. Если гость садился за столъ и подъ конецъ ѣды, самъ собою, чрезъ наполненіе собственнаго чрева, не отпихивался отъ стола—то онъ почиталъ себя ненакушавшимся въ досталь.

И вотъ отъ всѣхъ оныхъ пиршествъ, празднествъ и умопомраченій явилась не проходимая скука и общее уныніе. Бросали деньги зря и никакого авантажу отъ того не получали.

Надо и то сказать, что свободомыслiе самаго развращеннаго качества было тогда въ большой модѣ. Дѣти отцовъ и матерей ни въ грошъ не ставили, и въ Бога не вѣрили, и въ церковь не ходили. Все считали суетой и только прихоти природы своей съ великой охотой и удовольствіемъ исполняли. Женитьба стала рѣдкостью, особливо между придворными и многіе чрезъ это самое браколишеніе—высокихъ степеней достигали.... Впрочемъ и то надо сказать, что самый бракъ ни во что почитался.

И Марко Петровичъ, государи мои, не былъ женатъ. Рослый, пригожій — кровь съ молокомъ. Признаться надо: былъ онъ не очень смысловатъ, но вѣдь если строго разобрать, то много ли тогда между высокими персонами было особенно умныхъ. Разъ, два, да и обчелся...

Къ балу онъ готовился за годъ. За 2 мѣсяца вышивали ему серебромъ новомодный кафтанъ изъ розоваго веницейскаго бархата, а пуговицы къ этому кафтану давно уже готовыми лежали,—солитеры крупные, брилліантами осыпанные. Если взять по нонѣшнимъ деньгамъ, то восемь пуговицъ стоили не много, не мало — два милліона съ половиной. Ну, а въ тѣ времена каждый милліонъ шелъ замѣсто 300 тысячъ серебряныхъ рублей. Щеголь былъ, покойникъ, Марко Петровичъ, да иначе и нельзя было, государи мои. Каждый въ тѣ времена старался перещеголять другого. Благо деньги были дешевыя, не трудовыя, а жалованныя.... за разныя услуги особыя....

III.

«Воспиталъ Марка Петровича французъ—петиметръ, а докончили оное воспитаніе разные метрески.—Тогда этого добра было довольно. Впрочемъ и русскими метрессками тогдашніе господа не брезгали; и у Марка Петровича была одна такая краля,—изъ Шутунской вотчины привезена. — Звали ее Любкой. Красавица была и тихая, безотвѣтная — словно рыбка нѣмая.

И вотъ, государи мои, надо Марко Петровичу на балъ снаряжаться, а у него горе на плечахъ лежитъ.—Его Любка голубка давно уже принемогала,— а тутъ какъ на грѣхъ и совсѣмъ слегла, лежитъ, еле дышетъ и говоритъ черезъ силу. Какъ она только заболѣла, Марко Петровичъ къ ней придворнаго доктора, нѣмца Фигіуса, приводилъ, но оный придворный докторъ никакого облегченія въ болѣзни Любашѣ не доставилъ. И вотъ, государи мои, былъ уже часъ шестой или седьмой. На балъ давно пора ѣхать, а Марко Петровичъ во всемъ парадѣ, разодѣтый въ бѣлыхъ кружевахъ, въ бархатномъ кафтанѣ съ брилліантовыми пуговицами—красивый и нарядный отъ постели своей кралечки не отходитъ. Былъ онъ, по правдѣ сказать, добрѣющей души— и крѣпко жаль было ему свою кралюшку кроткую.

— Поѣзжай милый другъ мой, тихонько уговариваетъ она его, — вспоминай обо мнѣ — привези мнѣ гостинца съ княжескаго стола, — а вотъ тебѣ на память говоритъ обо мнѣ—простое крестьянское колечко. Все тебѣ чай веселѣй на балу съ моимъ колечкомъ будетъ. И сняла она съ пальца и надѣла на правый мизинецъ ему тонкое томпаковое колечко.

Распростившись съ кралей уѣхалъ Марко Петровичъ —

въ золоченой каретѣ, съ гайдуками, вершниками и приспѣшниками.

Въ ту пору, государи мои, считалось большою невѣжливостью и манкированіемъ этикета — коли кто на балъ поздно являлся, а особливо кто позднѣе пріѣзжалъ Матушки Императрицы; — но Марко Петровичъ зналъ ходы и въ тихомолку незамѣченный, изъ саду пробрался; — а садъ у свѣтлѣйшаго былъ огромный. Вотъ теперь что называется Таврическимъ садомъ. Тотъ самый и есть и дворецъ тотъ же.

Можете ли вы имажинировать, государи мои, что весь широкій дворъ этого дворца какъ есть весь былъ заставленъ каретами. Да мало того, что тутъ дворъ, и передъ дворомъ-то вся площадь каретами была занята. Разсказывали, что съѣздъ господъ начался еще въ три часа и сперва кареты ѣхали, какъ обыкновенно, въ одинъ рядъ, а потомъ мало по малу до того умножились, что въ 4 и въ пять рядовъ передъ княжескимъ домомъ стѣснились. Даже Императорская фамилія принуждена была останавливаться по дорогѣ. Вотъ какая тѣснота была.

А на площади, передъ дворцомъ съ утра было приготовлено для народа угощеніе. Заранѣе была устроена и площадь довольно пространная для онаго. Свѣтлѣйшій приказалъ снести какіе-то дома, которые тамъ стояли. Вся площадь была флагами и елками изукрашена, и стѣны всѣ большаго забора, нарочито полукругомъ выстроеннаго, были увѣшаны сапогами, котами, онучами, лаптями, шляпами, кушаками и тому подобными мужицкими необходимостями. Притомъ были выставлены быки и бараны жареные съ рогами золочеными, хлѣбъ, ситный, медъ и сбитень холодный—въ кадушкахъ,—а вина не было, дабы народъ къ опьяненію и неистовствамъ не привлекать.

И вотъ государи мои, приключился тутъ казусъ. Вдругъ,

отколь ни возьмись, появилась собака на площади, промежъ народа шмыгала. Тутъ же сейчасъ на нее затопали, закричали, а дальніе не зная, что такое кричатъ, думали: ура! кричатъ—и всѣ со стремленіемъ кинулись хватать, что было представлено. Въ одну минутку почти всё расхватали. Однако дорого за сію ошибку заплатили. Караульные, наступившіе на нихъ всею силою, обратили въ бѣгство; солдаты прикладами, казаки нагайками, полицейскіе трубами заливными, въ такой страхъ чернь привели, что она опромѣтью бросилась назадъ, давя другъ друга — и многихъ, весьма многихъ, государи мои, даже до смерти тутъ задавили.

IV.

Вошелъ Марко Петровичъ во дворецъ и попалъ государи мои, въ самую сумятицу. Имажинируйте: музыка гудитъ, громогласные хоры гремятъ и подъ ладъ онаго проходятъ длинными вереницами двѣ кадрили, кавалеры всѣ одѣты гишпанцами, а дамы ихъ гречанками. И какое говорятъ великолѣпіе было въ оныхъ костюмахъ! Всѣ золотомъ расшиты, всѣ въ брилліантахъ. Одну кадриль велъ принцъ Виртембергскій съ фрейлиной Екатериной Петровной Протасовой,—а другую кадриль, уже запамятовалъ кто?..—Сама Императрица на возвышеніи стоитъ. — Было уже ей тогда около пятидесяти—и съ годами много прежней пріятности она утратила. Ожирѣла весьма,—и по лицу пошли красноватыя неровности, которыя она тщательно подъ разными парижскими притираніями, скрывала. На головѣ у ней горитъ брилліантовая діадема, на груди брилліантовая звѣзда. И вся она сама какъ звѣзда лучеобильная сіяетъ, — а подлѣ

нее самъ свѣтлѣйшій—выше всѣхъ чуть не цѣлой головой—стоитъ хмурый и всѣхъ недовольнымъ взоромъ озираетъ.

Кончился кадриль, начались контрадансы.—Марко Петровичъ въ толпѣ розыскалъ свою даму — Марью Петровну Курагину... Была она дочь камергера Петра Самсоныча — коего, за его великія услуженія Императрица жаловала, а собой Марья Петровна была красоты неописанной. Нѣсколько уже контрдансовъ Марко Петровичъ съ Марьей Петровной протанцовали и объ чемъ у нихъ пріятный разговоръ шелъ, того я, государи мои, не вѣдаю; но слышалъ, что подъ конецъ, уже часу въ 10-мъ, а можетъ и въ 11-мъ—Марко Петровичъ съ Марьей Петровной уединились. Тамъ посреди дворца была оранжерея,—въ которой весьма преизящно много искусственныхъ фруктовъ, внутри освѣщенныхъ, по деревьямъ было развѣшено. Удалилась парочка въ дальній темный уголокъ и хотѣлъ Марко Петровичъ даму сердца своего поцѣловать—и вдругъ весь задрожалъ и поблѣднѣлъ.

Прямо передъ нимъ, бѣлѣя въ темномъ углу, стояла его краля Любка.—въ бѣломъ платьѣ и въ голубинькомъ платочькѣ на шеѣ. Смотритъ на него Любка и тихо какъ бы съ нѣкоей укоризной помоваетъ главой. Не знаю,—разсказывалъ Марко Петровичъ—что со мной произошло. Вѣроятно помраченіе чувствъ и мыслей—но только я ощутилъ себя какъ бы въ сонномъ видѣніи, а Любка подошл ко мнѣ и чувствую я куда-то ведетъ меня за руку.—Вышли мы съ ней государи мои, въ садъ. По аллеямъ все разноцвѣтная иллюминація зажжена—свѣтло словно днемъ. И вотъ отъ сего-то яркаго освѣщенія повела Любка Марко Петровича на чистый, свѣжій воздухъ весенней ночи.

«Сперва стало какъ бы жутко мнѣ,—разсказывалъ Марко Петровичъ покойной своей матушкѣ, Аграфенѣ Алексѣевнѣ,

—но потомъ даже утѣшно. Такъ просторно, свободно, на ономъ чистомъ воздухѣ и даже высокія палаты княжескаго дворца показались тѣсны передъ сей громадной палатой, звѣздами украшенной. Мерцаютъ звѣзды Божіи на чистомъ вызвѣздившемся небѣ и какой-то ароматъ, совсѣмъ не тотъ, какой въ палатахъ свѣтлѣйшаго, а гораздо высшій, наипріятнѣйшій, и не то что ароматъ, а какъ бы, такъ сказать, нѣкое благоуханіе чувствуется».

И не знаетъ Марко Петровичъ, идетъ онъ или летитъ съ своей Любкой. Таково легко и хорошо ему, что земли онъ подъ собой не слышитъ.

V.

И видитъ Марко Петровичъ, что подходятъ они къ какой-то большой рѣкѣ, а за рѣкой зарево стоитъ. «Что это за рѣка такая, Люба моя?»—спрашиваетъ ее Марко Петровичъ. Но Люба его ничего не отвѣтствовала; молчитъ и смотритъ на него грустно и любовно, а Марко Петровичъ уже самъ догадался, что рѣка сія есть Волга-матушка широкая. Немного, казалось ему, прошли они, очутились уже въ степяхъ обширныхъ, зарево все близится, ярче занимается и обхватило оно, государи мои, чуть не полнеба... «Это—думаетъ Марко Петровичъ—мы опять къ иллюминаціи подходимъ». И такъ ему стало какъ-то нудно и горестно.

Но не къ иллюминаціи подходили они. Уже издали шелъ гулъ ужасный. Ближе подходитъ къ оному зрѣлищу Марко Петровичъ и видитъ страшное смятеніе. Чернь волнуется при заревѣ пожара, при свѣтѣ костровъ и смоляныхъ бочекъ. Шумъ, гамъ неистовый! И видитъ Марко Петровичъ: стоятъ все рядами, рядами высокія страшенныя висѣлицы.

И невольно онъ, словно какъ съ особой силой, къ симъ висѣлицамъ подвигается. Взглянулъ на одного висѣльника— это Павелъ Дмитричъ Небѣловъ, богатый помѣщикъ оренбургскій, на другого — это Акинфъ Иванычъ Чаликовъ — тоже помѣщикъ богатѣющій; на третьяго.. но туть у него всѣ жилки затряслись — видитъ онъ дядю родного... Степана Парменыча Сухана-Вольскаго... И словно дядя тоже на него, Марка Петровича, смотритъ выкатившимися глазищами... и изъ праваго глаза слеза у него катится.

— Уйдемъ!—говоритъ Марко Петровичъ Любѣ. Но въ это время, государи мои, нѣкій сильный крикъ и галдѣніе раздались въ сторонѣ. Обернулся Марко Петровичъ... И видитъ, что пьяная, буйная ватага несетъ вздернутую на пикѣ главу родного брата Марка Петровича, Ивана Петровича, что безвыѣздно жилъ въ его Кыштымской вотчинѣ. Не выдержалъ Марко Петровичъ. «Уйдемъ!—говоритъ онъ Любѣ:—ради Христа уйдемъ!»,—а самъ не движется, руки, ноги, ровно гирями желѣзными закованы... къ землѣ прирасли. И вдругъ цламя вспыхнуло гораздо; понеслись головни и полымя прямо къ небу... Трескъ и гамъ пошелъ необычайный и чудилось ему, что кого-то бросили въ самое пламя и поднялся трескъ и хохотъ неистовый: «Любо! Любо!»—кричатъ . . . . . .

Обомлѣлъ Марко Петровичъ и отъ великаго страха всѣ мысли у него помутились: «Люба! Люба!»—хочетъ произнести онъ и не можетъ. И видитъ онъ, что его Люба уже далеко въ сторонѣ стоитъ. Бросился къ ней Марко Петровичъ, началъ ее допрашивать, скажи, молъ, сердечная, скажи кто это?.. что это?.. Но Люба ничего не отвѣтствовала, а тихо понеслась дальше и рядомъ съ ней полетѣлъ Марко Петровичъ, стараясь укротить въ себѣ чувство страха и необычайное волненіе сердца.

VI.

И видитъ Марко Петровичъ, что они вошли въ какую-то вотчину и чудится ему, что это его вотчина, какъ будто Щутунево, та самая вотчина, изъ коей Любка была взята. И вотъ, государи мои, подошли они къ избѣ, а ночь ясная и наверху всѣ звѣзды такъ ярко горятъ. Подходитъ Марко Петровичъ, вмѣстѣ съ Любкой, къ избѣ... Свѣтъ мерцаетъ изъ оконцевъ... Вошли въ просторныя сѣни. Постучала Любка, а на этотъ стукъ изъ избы отвѣтъ дали. «Блаженны кротціи, съ миромъ приходящіе; войдите!» Растворились двери и вошли Марко Петровичъ и Любка. Горница большая и сидятъ всѣ за столомъ. На первомъ красномъ мѣстѣ дѣдъ Любки—здоровый, крѣпкій, румяный старецъ — весь какъ лунь сѣдой. Сидятъ отецъ и мать Любки, сидитъ и младшая сестренка ея, такая же пригожая, сидятъ и братья ея, и золовки. Всѣ веселы и радостны. Одна только мать Любки пригорюнилась, но, увидавъ дочку свою, и она, государи мои, улыбнулась радостно, и подвинулась, чтобы дать, значитъ, мѣсто для нея. Сѣла Любка и тоже пододвинулась, чтобы мѣсто было и для Марка Петровича; а онъ стоитъ въ недоумѣніи, садиться ему или нѣтъ. «Садись,—говоритъ ему старецъ,—вѣдь ты обрученный». И сѣлъ Марко Петровичъ между старцемъ и Любкой, сѣлъ какъ былъ, въ парадѣ, въ розовомъ кафтанѣ изъ венецейскаго бархата, въ кружевахъ и брилліантахъ; сѣлъ, государи мои, за столъ простой крестьянской семьи, своихъ крѣпостныхъ людишекъ.

И чувствуетъ онъ, что что-то давитъ, гнететъ правый мизинецъ его. Пощупалъ онъ мизинецъ, а на немъ надѣто томпаковое колечко его Любки. Взглянулъ онъ на это колечко и подивился. Сіяетъ оно такимъ блескомъ, передъ

коимъ померкли всѣ его брилліанты. А старецъ говоритъ въ это время: «Тяжелъ—говоритъ—союзъ, но все устроится, ибо такъ положено».

И снялъ съ себя старецъ опояску, тоненькій гашничекъ шелковый, изрядно уже поношенный, и препоясалъ онъ имъ Марка Петровича. «Вотъ такъ-то, говоритъ, братъ мой любезный, крѣпче будетъ... Все, говоритъ, соединится и всѣмъ отпустится».—«Аминь!»—сказали всѣ хоромъ.

И тотчасъ же, вслѣдъ за симъ Марко Петровичъ очнулся...

VII.

Очнулся онъ государи мои — опять въ темномъ углу оранжереи,—у свѣтлѣйшаго во дворцѣ, подлѣ дамы сердца его, Марьи Петровны Курагиной.—«Что, говоритъ Марья Петровна, съ вами содѣлалось? Въ какомъ разстройствѣ чувствъ вынаходитесь. Два раза повторяю одинъ вопросъ и вы мнѣ ничего не отвѣтствуете»?

Изумился Марко Петровичъ.—Все, значитъ, что съ нимъ произошло было, въ нѣкоторомъ родѣ сонное видѣніе, которое быстро, въ одно мгновеніе промелькнуло.

Извинился онъ предъ Марьей Петровной, — проводилъ ее опять въ залъ и въ крайнемъ смущеніи ее оставилъ. — Весьма удрученный своимъ видѣніемъ, немедля и безъ ужина отправился онъ домой. Въ силу могъ найдти свою карету и гайдуковъ.

Возвратился онъ, государи мои, къ себѣ и первый вопросъ: «что Любка?». Говорятъ,—преставилась, въ 11-мъ часу Богу душу отдала...

Вошелъ Марко Петровичъ въ ея горницу. Лежитъ на

столѣ голубка, въ бѣломъ платьицѣ и голубой платочекъ на шейкѣ повязанъ...

Въ этомъ мѣстѣ Петръ Нефедьичъ прервалъ свой разсказъ и замолкъ.

— Что же, заговорилъ одинъ изъ собѣсѣдниковъ.—Вы разсказываете намъ про случай галлюцинаціи или случай страннаго сна. Мало-ли какіе сны бываютъ!..

— Это совершенно справедливо, государь мой, прервалъ его Петръ Нефедьичъ. Назовите сіе явленіе сномъ или галлюцинаціей;—только вотъ что остается неизъясненнымъ и неизъяснимымъ...

— Что такое?..

— А то, что когда Марко Петровичъ въ ту ночь, ложился почивать—то на своей рубашкѣ усмотрѣлъ онъ, завязаннымъ тоненькій, изрядно поношенный, гашничекъ — точь въ точь такой, какой во снѣ завязалъ ему дѣдъ покойной Любки...

Мы невольно всѣ переглянулись.

— Si non e vero e ben trovato!—Сказалъ одинъ изъ собѣсѣдниковъ пожимая плечами.

— И вотъ еще что объясните мнѣ, государи мои, продолжалъ Петръ Нефедьевичъ:— все что видѣлъ Марко Петровичъ, все сіе дѣйствительно свершилось—десять лѣтъ послѣ сего. Помѣщики небѣловъ и Чаликовъ были повѣшены собственными своими крѣпостными людьми. Точно также и дядя Марко Петровича — Сухинъ-Вольскій. А братъ его родной Иванъ Петровичъ, былъ убитъ на Кыштымскомъ заводѣ... Все сіе свершилось—какъ было указано, а послѣднее также сокровенное и предвѣщательное видѣніе, указывающее намъ, что все соединится и всѣмъ отпустится!.. до сей поры не исполнилось...

На этомъ мѣстѣ разсказчикъ замолкъ.

ЯИЧКО.

(Педагогическій разсказъ).

I.

Въ великую пятницу собрались дѣтки въ кухню, около печки, въ которой шипитъ, кипитъ, бьетъ бѣлымъ ключемъ вода въ горшкѣ, а въ водѣ лежатъ, варятся, красятся, бережно завернутыя, тщательно закутанныя, пасхальныя яички.

— Я знаю, что мое будетъ лучше!.. Ты вотъ увидишь! говоритъ толстенькая, пухленькая, но страшно нервная Маша.

— Ну, мы еще будемъ посмотрѣть! говоритъ худенькій Ваня, братъ ея.

А Петя ничего не говоритъ. Онъ просто сидитъ тутъ же въ кухнѣ. Онъ думаетъ, что ему стыдно заниматься такими пустяками, какъ крашенье яицъ. Онъ вѣдь въ четвертомъ класѣ класической гимназіи! Однако, удержаться отъ того, чтобы посмотрѣть, какъ красятся яйца и онъ не могъ. Искушеніе это онъ, впрочемъ, оправдывалъ тѣмъ, что онъ

здѣсь въ качествѣ эксперта и рѣшителя чье яйцо будетъ лучше: Маши или Вани?

Ваня не долго задумывался надъ своимъ яйцомъ. Онъ выпросилъ у тети яркихъ шелковыхъ лоскутковъ, надергалъ изъ нихъ шелчинокъ и, обернувъ въ нихъ яйцо, завертѣлъ его въ тряпки, обмоталъ чернымъ шелкомъ и опустилъ въ горшокъ.

Другое дѣло было съ яйцомъ Маши. Она хотѣла похристосоваться этимъ яйцомъ съ дѣдомъ, съ милымъ «дѣдой», который очень ее любитъ, всегда въ каждый праздникъ даритъ ей такія прекрасныя игрушки.

И вотъ она все придумывала, какъ лучше выкрасить яйцо. И, наконецъ, порѣшила спросить у всѣхъ, и у горничной Даши, и у выѣздного Егора, и у прачки Алены, и у кухарки Степаниды, и у тети, какъ лучше выкрасить яйцо. Горничная Даша сказала ей, что хорошо красятъ лоскуточки и когда тетя дала ей лоскутковъ, то сама Даша нарѣзала ихъ мелко на мелко.

Егоръ-выѣздной посовѣтовалъ красить шафраномъ.

— Ровно золотыя будутъ яица-то, сказалъ онъ.

Прачка Алена посовѣтовала красить лукомъ.

— Лучными перьями... сказала она. И духъ такой хорошій отъ воды будетъ, сказала она.

Кухарка Степанида научила взять сандалу: синяго, краснаго, всякаго...

— Сварить, знашь его, и опустить туда яички... А то можно просто обсыпать сверху яичко, обвязать тряпочками и такъ спустить въ горшокъ... Страсть хорошо выходитъ!

Наконецъ, тетя посовѣтовала просто выкрасить березовыми листьями, причемъ сказала, что получаются хорошенькія зеленыя яйца.

Маша все это приняла къ свѣдѣнію и, обложивъ яйцо лоскуточками, обсыпала сандаломъ, шафраномъ, обложила

лучными перьями и березовыми листьями, обвязала тряпочками и спустила яйцо въ горшокъ.

Ваня сильно потѣшался надъ такимъ методомъ...

— А ты бы, говорилъ онъ, солью ихъ еще посыпала— авось они лучше выкрасятся... или щепочекъ бы набрала.

А Петя даже сдѣлалъ пренебрежительную гримасу, которую онъ всегда дѣлалъ, если видѣлъ что-нибудь безтолковое и несообразное.

Когда варились яйца, то всѣ принимали въ нихъ участіе и даже Егоръ выѣздной заглянулъ, какъ они варятся и освѣдомился: положили ли шафрану? Но когда вода уже съ полчаса варилась, то всѣ отошли и дѣтки остались одни... И чѣмъ сильнѣе варились яйца, чѣмъ бурливѣе кипѣла вода, тѣмъ серьезнѣе и сильнѣе задумывалась Маша. Она даже немножко поблѣднѣла.

— Что-то Богъ дастъ! думала она. Будетъ ли хорошо яичко моему «дѣдѣ!».

И вотъ пришла кухарка Степанида... Заглянула въ горшокъ глазами «свѣдущаго человѣка», спросила, сколько они варятся, и порѣшила, что пора ихъ вынимать... Горшокъ вынули, поставили на столъ... и собрались всѣ—даже тетя пришла посмотрѣть какъ выкрасились яйца и чье яйцо будетъ лучше.

Кухарка Степанида предварительно положила оба яйца въ холодную воду—на самую короткую минутку, — потому что всѣ горѣли нетерпѣніемъ посмотрѣть скорѣе, какъ выкрасились яйца.

И кухарка Степанида, наконецъ, начала развертывать ихъ. Яйцо Вани развернули первымъ: оно было отмѣчено красной шерстинкой.

Что же было это за яйцо! Просто прелесть!.. Блѣдносѣрое, сиреневое и по немъ шли узоры въ тонъ, жилки синеватыя и темно-малиновыя. Однимъ словомъ, это было

самое изящное, мраморное яичко... У Маши сердце почти не билось. Руки дрожали, въ ожиданіи появленія ея яичка. Наконецъ развернули и его. Оно вышло все темно-малиновое, съ неправильными угловатыми крапинками, точно порфировое. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, гдѣ были приложены чистые березовые листочки, такъ они и отпечатались; но вотъ какая вышла игра случая, а вы, вѣроятно, знаете, что нѣтъ въ цѣломъ свѣтѣ такого прихотника, который могъ бы поспорить въ этомъ дѣлѣ съ прихотливымъ случаемъ. Какъ разъ на самой серединѣ яичка вышелъ крестъ. Небольшой, неправильный крестикъ, но тѣмъ не менѣе и Степанида, и Даша, и Алена, и даже тетя ахнули, когда его увидали, а Алена даже перекрестилась.

А вышелъ крестикъ очень просто. Въ числѣ березовыхъ листиковъ, Маша, заторопившись, чтобы скорѣе завернуть яичко, положила цѣлую вѣточку, съ четырьмя листиками. Три листика прилегли такъ, что одинъ смотрѣлъ прямо, вверхъ, а два листика отвернулись отъ него, въ двѣ стороны: направо и налѣво; четвертый же листикъ отогнулся, и почти прямехонько смотрѣлъ внизъ. Все это было достаточно криво и неуклюже, но все остальное дополнялось воображеніемъ и крѣпкой вѣрой... какъ говорила Алена, въ то, что «Господь умудряетъ младенцевъ и руками ихъ кладетъ славу свою». И всѣ съ какимъ-то благоговѣніемъ смотрѣли на яичко, а горничная Даша, вручая его Машѣ, даже сказала.

— Смотрите, барышня, не разбейте! Это святое яичко...

Неудивительно послѣ этого, что и сама Маша смотрѣла на это яичко съ благоговѣйною радостью. Даже Ваня примолкъ передъ этимъ яичкомъ и конфузливо показывалъ всѣмъ свое простое сѣрое, мраморное яичко...

II.

Всю Великую субботу Маша провела въ волненіи. Во-первыхъ, она не могла придумать, куда бы положить свое дорогое яичко. Въ комодъ? Пожалуй, кто толкнетъ его и яичко разобьется, или Даша въ немъ рыться станетъ, да выронитъ, съ бѣльемъ, и яичько.

Положила его къ себѣ за пазуху; но, продержавъ съ полчаса, она вдругъ чувствуетъ, что яичко сильно нагрѣлось. Ну, а вдругъ, думаетъ она съ ужасомъ, отъ теплоты крестикъ испортится и вся краска сойдетъ съ яичка? Она вынула его, бережно поцѣловала и ходила все время взадъ и впередъ по комнатѣ, держа его въ рукахъ и не спуская съ него глазъ. Она даже хорошенько не позавтракала и не пообѣдала отъ волненія...

Вечеромъ, когда начало уже смеркаться, въ кухню пришелъ старый дѣдушка Михей.—Всѣ дѣти знали его и тотчасъ же закричали на весь домъ: «Лысый Михей пришелъ, Дѣдушка Михей — стой у дверей»!

Кличку ему дали потому, что онъ обыкновенно стоялъ у дверей, какъ его ни усаживали, и увѣрялъ, что онъ такъ и прозывается: «Дѣдушка Михей — стой у дверей!»

Михей былъ очень старъ; ходилъ онъ чистенько, но весь въ заплатахъ, такъ что, кажется, не было мѣста на его худенькомъ кафтанишкѣ, на которомъ бы не сидѣла какая-нибудь заплатка—и даже трудно было сказать: какой цвѣтъ былъ у этого кафтанишка: не то сѣрый, не то синій, не то бурый...

Дѣдушкѣ Михею обыкновенно всѣ давали что-нибудь, когда онъ приходилъ въ домъ.

На этотъ разъ онъ привелъ съ собой маленькаго внучка,

мальчика лѣтъ 8-ми или 9-ти; но на взглядъ ему никакъ нельзя было дать болѣе 4-хъ или 5-ти лѣтъ: такъ онъ былъ миніатюренъ. Крохотное его личико смотрѣло такъ покорно и тоскливо, большими голубыми глазами, а бѣлые волосы, коротко обстриженные, такъ гладко, шелковисто прилегли къ маленькой головкѣ. На немъ была вмѣсто шубки, старая кацавейка, въ которой заячій мѣхъ былъ весь вытертъ—да и сама она также выглядѣла «мраморнымъ яичкомъ» подъ пару дѣдушкиному кафтану.

Дѣтки потому любили «дѣдушку Михея», что былъ онъ балагуръ, сказочникъ. Когда онъ приходилъ, то не только дѣти, всѣ люди, но даже Егоръ выѣздной приходилъ слушать «дѣдушку Михея».

Былъ онъ крѣпостной еще прадѣдушки, дѣда Маши, и хотя его и всю семью его отпустили на волю, но, по старой привычкѣ, онъ всегда входилъ со страхомъ и трепетомъ въ палаты его прежнихъ господъ.

— Ну, что «Михей—стой у дверей?» освѣдомился Егоръ выѣздной. — Зачѣмъ пожаловалъ?.. Къ празднику подачка понадобилась?

— Какая подачка, Егоръ Михайлычъ? нужда заставляетъ. Отъ мѣста-то мнѣ, отказали...

— Отъ какого мѣста?..

— А вѣдь я всегда на масляной и Святой въ балаганѣ Малахаева «дѣдку» изображалъ...

— Ну!

— А теперь вотъ отказали. Говорятъ — голосъ у тебя слабъ сталъ. Публика жалуется, не слыхать ничего... Что же, думаю... милостыню просить?!..

— Да вѣдь ты сапоги прежде ковырялъ?..

Дѣдушка Михей улыбнулся и махнулъ рукой.

— Всѣ во тьмѣ ходимъ, а я пуще. Ничего не наковырялъ! Каки сапоги?.. Глаза не видятъ... Вотъ теперь не знаю,

какъ праздникъ Христовъ встрѣчать будемъ... Дочурка Машурка хвораетъ... Вездѣ къ празднику готовятся, а у насъ на великъ день и ѣсть нечего... Вари густо — не будетъ пусто! Нѣтъ ничего... Голодна кума, что денежна сума, придетъ сама, сведетъ съ ума. Надѣнь котомку, ступай въ догонку!... Значитъ за счастьемъ...

Всѣ обступили дѣдушку Михея, всѣ слушали, а впереди всѣхъ Маша съ своимъ «святымъ яичкомъ».

— Вонъ, говоритъ дѣдушка Михей, барышня-красавица ужъ яичко нарядное приготовила къ праздничку, а у насъ— внученку-Васёнку нѣтъ яичка!.. Гдѣ укупишь?! Нынѣ не то что головка, а оборышъ, съ духомъ — и тотъ по грошу яйцо... А крашено, такъ по пятаку дашь...

А внученокъ-Васёнокъ стоялъ и пристально смотрѣлъ, ухвативъ обѣими рученками свою шапочку, смотрѣлъ на Машу — и она казалась ему «ангельчикомъ».

И Маша смотрѣла въ его большіе голубые глаза, и сердце у ней сжималось, на глаза навертывались слезы и какой-то голосъ шепталъ:

— Отдай ему яичко, отдай! Дѣда можетъ купить яичекъ, а ему купить не на что... Онъ бѣдный мальчикъ — у него нѣтъ ни грошика, ни копѣечки, для свѣтлаго Христова Воскресенья

Наконецъ что-то точно потянуло ее изъ всей силы къ внученку-Васёнку. Она быстро подошла къ нему и, протянувъ ему яичко, сказала отрывисто, не глядя на него:

— На тебѣ!..

И тотчасъ же отвернулась, вся покраснѣла и, заплакавъ, выбѣжала изъ комнаты.

Всѣ ахнули, а прачка Алена даже всплеснула руками и вскричала:

— Ахъ, матушки! Это Христово-то яичко!.. Отдай мальчугану!.. сейчасъ отдай!.. Я тебѣ лучше красное... золотое дамъ...

Но мальчугану, очевидно, захотѣлось имѣть именно это яичко съ крестикомъ, которое красила Маша. Онъ бережно засунулъ его за пазуху, а другой рукой ухватился за пестрый кафтанъ дѣдушки Михея и спрятался въ его складкахъ.

— Это святое-то яичко отдала! изумлялась Даша. — Вѣдь это значитъ счастье изъ дому унести... И она такъ свирѣпо посмотрѣла и на Васёнку, и на его дѣда, а сама подумала про себя: «вотъ шляется, попрошайничаетъ, балагуръ поганый»!

А между тѣмъ Маша прибѣжала въ дѣтскую, уткнула носъ въ подушку и плакала, плакала...

III.

И сама она не понимала, отчего ея слезы льются такъ неудержимо. Было ли ей жаль этого хорошенькаго мальчика, или жаль ей было ея добраго, милаго «дѣдуню», которому теперь нечего будетъ ей подарить? А когда ушелъ «дѣдъ Михей—стой у дверей», то прибѣжали Ваня и Петя и начали ее корить, называть глупышкой, которая промѣняла дѣдушку на какого-то мальчишку.

Наглумившись вдоволь, братцы предоставили ее собственному горю... Маша до того плакала, что разнемоглась; принуждены были позвать дѣдушку, и разсказали ему все, что случилось. Дѣдушка послалъ за домашнимъ докторомъ, а своему камердинеру велѣлъ отыскать дѣда Михея и во что бы то ни стало выкупить яичко его внучки. При этомъ онъ разрѣшилъ подарить дѣду Михею на праздникъ десять рублей.

Но выкупить яичко оказалось не такъ-то легко. Маль-

чикъ не хотѣлъ ни за что его отдать. Наконецъ, кое-какъ обманули ребенка и увезли яичко.

Дѣдъ уже спалъ, да и внучка также заснула. Ей стало легче. Дѣду отдали яйцо только по-утру, въ Свѣтло-Христово Воскресенье. А онъ тихохонько, на цыпочкахъ подкрался къ спящей еще Машѣ и положилъ ей яйцо на столикъ, а черезъ часъ, когда она проснулась, дѣдъ вошелъ къ ней и, подавая ей огромное яйцо, въ которомъ былъ запрятанъ цѣлый кукольный гардеробъ, сказалъ: «Христосъ-воскресе!»

Маша начала его цѣловать и, всхлипывая, едва могла выговорить, что яичко свое она подарила внученку-Васёнку!

— А это что же? спросилъ дѣдъ и указалъ на яичко.

Маша взглянула и остолбенѣла...

Вечеромъ у Пети съ его старшимъ братомъ, Николаемъ, его товарищемъ, гимназистомъ и дѣдомъ завязался длинный споръ.

Дѣдъ увѣрялъ, что это лучшее, что есть въ человѣкѣ: всегда слѣдовать первому сердечному порыву.

— Она, говорилъ онъ про Машу, отдала мальчику все, что ей было въ ту минуту дорого... Это высокая черта!..

— Такимъ образомъ, возражалъ товарищъ Николая, вы противорѣчите первому этическому закону Спенсера...

— Какому, какому закону!? Допрашивалъ дѣдъ

— А закону, по которому совершается развитіе всѣхъ этическихъ т. е. нравственныхъ явленій...

— Какой такой законъ! Какой законъ! Никогда не слыхалъ!.. признавался дѣдъ:

— По этому закону... объяснялъ докторально гимназистъ...

всякое элементарное, этическое явленіе уступаетъ мѣсто слѣдующему, болѣе разумному...

— Не слыхалъ, не знавалъ и знать не хочу ни вашихъ этическихъ законовъ, ни вашего Спенсера, прерывалъ дѣдъ... Сердце мнѣ говоритъ, что хорошо и что дурно и для меня довольно!.. И я всегда слѣдовалъ и буду слѣдовать этому указателю...

Но Николай снова сворачивалъ споръ на законъ Спенсера и доказывалъ такъ основательно, дѣльно, длинно и скучно, что, наконецъ, дѣдъ преспокойно заснулъ въ своемъ громадномъ, покойномъ креслѣ.

ЧУРИЛКА.

Разсказъ.

Въ нашемъ дальнемъ градѣ жилъ, поживалъ Чурилка,—Михей Трофимычъ. Какая была его заправская фамилія—доподлинно не знаю, а звали всѣ его просто Чурилкой.

Каждый день въ два часа — аккуратъ, являлся къ намъ Чурилка и всѣ гостинодворскіе бывало говорятъ:

— Вишь, два часа ужъ! Чурилка идетъ...

Идетъ онъ, сударь ты мой, съ развалкой,—маленькій, худенькій, въ замасленномъ халатикѣ. Рукава у халатика обшиты крашениной, а на сидѣньѣ однѣ ниточки и ватка болтается. Оченно уже значитъ обхмыстано.

Бывало молодцы говорятъ:

— Ты бы, говорятъ, Михѣй Трофимычъ, на сиденьѣ-то тоже бы крашенинки подшилъ, а то какъ будто ужъ безобразно!

Ничего не отвѣтитъ Чурилка, только ухмыльнется и подставитъ берестову тавлиночку—и при этомъ таку прибаутку отпуститъ—таково тихохонько, шопоткомъ:

Понюхаемъ табачку
Изъ рожка табатерочки,
Берестовой тавлиночки,
Картонной коробочки,
Пейнаго,
Репейнаго,
Нюхальнаго, кофейнаго,
Морского горюну,
Загубнаго Эрофеичу
Или просто—
Сударь ты мой, безъ запросу
Табаку-щелконосу.
Онъ съ бадьянцемъ,
Померанцемъ,
Съ лимонной корочкой,
Съ гвоздичной головочкой,
По копѣйки фунтъ,
По грошу пудъ...
Кто его тяпнетъ,
Тотъ на полъ ляпнетъ,
Вскочитъ,
А все его захочетъ!..

Ну и всѣ молодцы заржутъ, загрохочатъ.

— Повтори-ка, повтори! Какъ?.. Пристаютъ. Но въ другой разъ Чурилка ни за что ужъ не повторитъ.

Прежде, говорятъ, продавалъ онъ табакъ, а затѣмъ все его занятіе было—въ шашки играть.

У насъ вѣдь много охотниковъ до этой игры. Вся перинна линія, да и суконна тожъ—первѣйшіе игроки были. Но до Чурилки... Куды-ы! Такъ игралъ, анаѳема, что просто никто его не осилитъ.

И хоть ни одинъ игрокъ не могъ съ нимъ сладить, а всѣ играли съ нимъ не на животъ, а на смерть. Даже изъ сапожнаго ряда приходили поглядѣть, какъ онъ занятно играетъ.

Разъ Эльпидифоръ Трофимычъ (хорошій былъ торго-

вецъ, больше ситцами и миткалемъ торговалъ), такъ тотъ даже плюнулъ, не вытерпѣлъ.

— Тьфу, ты, говоритъ, антихристъ! Ровно бѣсъ какой!.. Припрешь его, какъ добраго человѣка. Думаешь, тутъ ему не дохнуть... Анъ нѣтъ! Вывернется, вьюнъ поганый!..

И съ каждаго это бралъ онъ пятакъ за проигранную игру. Такое ужъ было у него положеніе. Разъ ему Иванъ Ѳедорычъ выложилъ рубль.

— На, молъ, Чурилка! За эту игру не жаль, молъ, пяти рублевъ отдать—и то мало!..

Такъ что-жъ вы думаете?.. Не взялъ!.. И даже въ обиду ударился.

— Я, говоритъ, игралъ на пятакъ, а не на рубль и больше пятака не приму. Отсчиталъ это девятнадцать пятаковъ и отдаетъ сдачи Иванъ Ѳедорычу.

Ну, тотъ сейчасъ эти пятаки раскидалъ, и накинулся. Ужъ онъ честилъ, честилъ Чурилку—извѣстно дѣло—обидѣлся!..

И вотъ такимъ манеромъ, ходилъ, ходилъ Чурилка и лѣто и зиму, и десять, и пятнадцать лѣтъ, все ходитъ. Иные молодцы приказчиками стали и въ купцы вышли, а онъ все ходитъ, все ходитъ пятачки собираетъ... Только разъ вышла такая оказія, что порѣшился нашъ Чурилка совсѣмъ.

II.

Надо вамъ сказать, былъ у насъ въ городѣ первостатейный купецъ... чай слыхали про него, про Толоконникова, Панкратъ Ильича. Старикъ ужъ былъ...—Высокій, сѣдой, степенный. Велъ онъ дѣла крупныя. Кяхтинскими чаями чуть ли не на два милліона обороту дѣлалъ. Оптову продажу, значитъ, чаями велъ. Четыре сына у него. Тоже въ купцы

вышли. Всѣмъ капиталы отдѣлилъ. По полтораста тысячъ, сказывали... Ну, однимъ словомъ, богатый купецъ, сановитый. Имѣлъ золотую медаль, на анненской лентѣ. Въ пріютѣ почетнымъ попечителемъ былъ. Ну, однимъ словомъ, сановникъ...

И вотъ страсть любилъ этотъ именитый купецъ, Панкратъ Ильичъ, въ шашки играть. И такой былъ игрецъ, что, говорятъ, во всѣхъ россійскихъ городахъ равнаго ему не найдешь.

Разъ—это было передъ Петровымъ днемъ—приходятъ въ сосѣднюю лавку молодцы изъ перинной—и...

— Страсть, говорятъ, что дѣлатъ — разсказываютъ это про Чурилку — у Прибылкина — каку игру выигралъ. Приперъ его тотъ въ пять крѣпкихъ, а онъ изъ всѣхъ вышелъ. На, поди!..

Заинтересовался Панкратъ Ильичъ.

— А приведите, говоритъ, ко мнѣ вашего Чурилку. Я его поучу, какъ играть.

Ну и сейчасъ побѣгли молодцы. Черезъ полчаса времени ведутъ.

— Силомъ, говорятъ—еле дотащили. Ему дурню говорятъ Панкратъ Ильичъ, молъ, зоветъ. А онъ твердитъ: надо игру доиграть, нехорошо бросать. Прямой фофанъ!

Только подошелъ нашъ фофанъ прямо къ Панкрату Ильичу, шапенку сташилъ, поклонился и прямо ему это, дурень, свою грязну ручищу суетъ.

Ну, само собой разумѣется, руки Панкратъ Ильичъ не подалъ Чурилкѣ, а подперся обѣими руками въ бока, посвистѣлъ, головой повертѣлъ.

— Ахъ ты, говоритъ, чухонскій швецъ, обтёрханный... Ну, говоритъ, тащите шашки. Я его поучу какъ играть.

И пошелъ самъ наверхъ, въ хозяйску... Это у насъ въ гостиномъ дворѣ, наверху таки горенки понадѣланы, надъ лавками—хозяйски прозываются.

Притащили это туда шашки! Притащили Чурилку. Усѣлись. Хорошо!

Перву игру выигралъ Чурилка. Подъ конецъ долго думалъ Панкратъ Ильичъ — какъ бы ему въ дамки пройдти... Что-жъ вы полагаете?! Изловилъ собачій сынъ, Чурилка, эту самую дамку. Какъ пить далъ—изловилъ.

— Хорошо играетъ человѣкъ! — говоритъ Панкратъ Ильичъ, а самъ насупился и шрамъ у него на лбу побѣлѣлъ... Былъ, знаете, на лбу у него махонькій этакій шрамикъ... А лобъ такой высокій, большущій, съ взлызами.

Стали играть втору игру. Играли, играли, даже умаялся Панкратъ Ильичъ. Ужъ онъ и этакъ шашку поставитъ, и такъ поставитъ, и головой покрутитъ — ужъ онъ думалъ, думалъ... Не одолѣлъ! Шабашъ! Выигралъ опять собачій сынъ Чурилка.

Весь покраснѣлъ Панкратъ Ильичъ. Руки, знаете, трясутся, пыхтитъ... ровно самоваръ. Самъ началъ шашки ставить. Роняетъ это шашки. Молодцы поднимаютъ.

Какъ вскинется вдругъ на нихъ, зарычитъ.

— Чего вы тутъ, молъ, всѣ толчетесь!.. Пошли вонъ, по мѣстамъ!

Разбѣглись всѣ. Одинъ главный прикащикъ остался, Африканъ Семенычъ.

— Ну!—говоритъ Панкратъ Ильичъ,—третью еще и баста! Ну-ка! Господи благослови! Ходи чучело собачье!..

А чучело собачье какъ ни въ чемъ не бывало. Спитъ не спитъ, но и не дремлетъ. Выдвинулъ потихоньку шашечку.

Пошла игра. Африканъ Семенычъ ни живъ, ни мертвъ стоитъ. Видитъ онъ (ужъ онъ даже видитъ), что не ладно играетъ Панкратъ Ильичъ. Тутъ зѣвка дастъ, тамъ зѣвка. Тутъ позабудетъ фукнуть! .—Извѣстно дѣло—растерялся человѣкъ. Не въ своемъ умѣ. Съ мыслями-то не можетъ со-

владать... И приперъ же его, курицынъ сынъ, Чурилка и разъ, и два, и три, въ четыре угла засадилъ: на-ко, молъ, чѣмъ пахнетъ? Понюхай!..

Всталъ Панкратъ Ильичъ. Зѣвнулъ, потянулся. А ручки и ножки дрожатъ, прыгаютъ.

И дерни нашего фофана, прости Господи, спросить:

— А что, молъ, хозяинъ? Пятаки-то мои? Съ тебя, молъ, три пятака слѣдуетъ... за проигрышъ... слышите!..

Поблѣднѣлъ Панкратъ Ильичъ. Право слово! думали такъ: саданетъ онъ его разъ — и выйдетъ только мокро. Сами понимаете: мужчина здоровенный, 12 вершковъ безъ малаго... Передъ Чурилкой-то... что отъ полу не видать!..

Нѣтъ, ничего. Не саданулъ, а пошелъ таково скоро прямо къ конторкѣ. Въ углу, знаете, этакой сундучище, желѣзный—въ родѣ шкапа стоялъ—несгараемый...

Отперъ его Панкратъ Ильичъ—да какъ запустилъ руку и вытащилъ охапку, цѣлую охапку... во-о каку!.. Просто страсть. Тутъ и сотенны, и пятидесяти рублевы, — просто страсть!..

— На, говоритъ, подлецъ, твои пятаки! Считай только. Коли сочтешь вѣрно — все твое будетъ!.. А не сочтешь— съ тебя три пятака и будемъ въ разсчетѣ... Значитъ я тебя обыгралъ.

Что же вы думаете! Ожидовѣлъ человѣкъ, какъ есть ожидовѣлъ. Схватилъ онъ эту пачку обѣими руками. Глазища вытаращилъ. Ищетъ мѣста: куда бы присѣсть съ ней.

А Панкратъ Ильичъ его на хозяйско мѣсто... Большой этакій столъ письменный. Садись, молъ, оголтѣлый — вотъ тебѣ кака честь!

И засѣлъ Чурилка. Началъ считать. Руки у него трясутся. Глазища прыгаютъ. Сперва на перво не могъ даже сообразить, разобрать бумажки какъ слѣдуетъ. Вотъ какъ растерялся!..

Обернулся Панкратъ Ильичъ къ приказчику.

— Приставить, говоритъ, къ нему двухъ молодцовъ и если до ночи не кончитъ считать—запереть его въ лавкѣ.— И пошелъ вонъ.

III.

Считалъ, считалъ, считалъ нашъ оголтѣлый. Всѣ молодцы и съ чайнаго, и съ галантерейнаго ряда приходили глядѣть—до того занятно.

Сидитъ, считатъ и шабашъ! Ужъ мы его всяко донимали... И бумажку на лысинку клали. И квасу за галстукъ наливали. И ухали подъ ухомъ — ничего не беретъ. Знай свое бормочетъ: пятьдесятъ первой, пятьдесятъ другой, пятьдесятъ третій, пятьдесятъ четвертой, пятьдесятъ пятой.

Ну ужъ какъ сильно-то надоѣдимъ—и запутатся! Передыхнетъ, знаете ли, таково глубоко и опять за свое съизнова, сначала: пятьдесятъ первой, пятьдесятъ другой, пятьдесятъ третій. И такъ дойдетъ до семидесяти трехъ, али четырехъ, а мы опять ухнемъ. Потѣха была... пра! Просто всѣ животики надорвали!

До ночи Чурилка не кончилъ. Сочтетъ, сочтетъ—запутатся и опять съизнова, сначала!

Заперли мы его въ лавкѣ. Пришли на другой день, къ ранней заблаговѣстили. Глядимъ, сидитъ нашъ Чурилка и считатъ! Красный, весь какъ кумачъ. Глазища прыгаютъ. Жилы на лбу напружились. И все считатъ, все считатъ, бормочетъ. Знать сочтетъ, сочтетъ: да вдругъ подуматъ, а ну какъ невѣрно!.. И этакой прорвы деньжищъ долженъ я буду рѣшиться.—Ну! И опять съизнова, сначала.

Погуторили мы тутъ, похохотали. Разошлись. Прихо-

дитъ отъ ранней обѣдни Панкратъ Ильичъ (былъ онъ человѣкъ богобоязный, набожный).

Посмотрѣлъ онъ на него и, не говоря дурного слова, подошелъ, забралъ это всѣ пачки и опять въ сундукъ заперъ. Только и осталась одна пачка, что въ рукахъ Чурилка держалъ.

А онъ, дурашный, ни на что и не глядитъ. Знатъ считатъ все свое: пятьдесятъ первой, пятьдесятъ другой.

— Выгоните, говоритъ Панкратъ Ильичъ, его! И пусть ему эта пачка на поминки идетъ, что, молъ, игралъ со мной.

Ну! Мы подскочили, и какъ ни упирался Чурилка, стащили внизъ и вытолкнули изъ лавки.

Тутъ къ нему всѣ молодцы и приказчики подступили, теребятъ рвутъ деньги-то у него изъ рукъ, а одинъ—Звѣрунковъ (дошлый былъ парень) такъ тотъ нарвалъ изъ оберточной бумаги—и красной и синей—большу пачку и всунулъ Чурилкѣ въ руки, а деньги вырвалъ.

Что-жъ бы вы думали?! Сѣлъ съ этой пачкой Чурилка на порогъ и опять принялся считать: пять десятъ первой, пять десятъ другой.—Это простоты-то оберточны бумажки-то... понимаете!—Сначала это мы, точно, похохотали надъ нимъ. Ну! а потомъ, думаемъ, дѣло дрянь. Капутъ человѣкъ. Въ умѣ, значитъ, порѣшился.

Доложили это Панкратъ Ильичу. Пришелъ, посмотрѣлъ, подивился.

— Вотъ, говорятъ, какъ Господъ караетъ людей корыстныхъ, да гордыхъ! И умъ отнимаетъ, и даже жизни лишаетъ.

Послали дать знать полиціи. Пришелъ квартальный, бутфели и стащили голубчика въ общественное призрѣніе. Сдали въ желту камеру на казенно иждивеніе...

И сначала, говорятъ, ничего было. Только дай ему пачку бумажекъ—сядетъ нашъ Чурилка и ну считать. И день и

ночь сидитъ. Не ѣстъ и не пьетъ—все считаетъ. А если отнять пачку, то сейчасъ обозлится и ровно бѣшенный сдѣлатся.

Ну! Одначе, къ концу мѣсяца совсѣмъ взбѣсился, а черезъ нѣсколько денъ и Богу душу отдалъ. Такъ самъ собой и порѣшился чѣловѣкъ. Царство ему небесное! Не тѣмъ будь помянутъ покойникъ...

IV.

Что-жъ бы вы думали? Померъ Чурилка а съ Панкратъ Ильичемъ стало не ладно дѣлаться. Сумленіе нашло и путаться началъ. Прежде того какой счетчикъ былъ. Не такъ прикащики, бывало, сосчитаютъ, какъ онъ конторски книги провѣрялъ. Чуть гдѣ ошибочка—сейчасъ это замѣтитъ. А тутъ вдругъ: на поди! Тамъ тысячу просчитатъ, тутъ двухъ не досчитатъ.

И сталъ онъ частенько и по долгу сидѣть за пачками. Особливо по вечерамъ. Чуть какъ крупна получка отъ городскихъ или иногородныхъ (вѣдь онъ и съ Москвой дѣла велъ), такъ для него и мука! Сидитъ долго за ночь и все считаетъ.

Только разъ сидитъ онъ этакъ, считатъ, считатъ и вдругъ глядь: прямо противъ него тоже сидитъ Чурилка и тоже считатъ: пятьдесятъ первой, пятьдесятъ другой...

Протеръ глаза Панкратъ Ильичъ. Смотритъ—сидитъ. Сидитъ и считатъ.

Перекрестился! Чуръ, говоритъ, чуръ меня!—Сгинь, пропади! Нѣтъ, не пропадатъ. Сидитъ и считатъ!

И вотъ съ этого самаго вечера начала съ нимъ твориться нехороша статья. Съ первоначалу Чурилка представлялся ему только по вечерамъ или поздно ночью, когда онъ за-

сидится долго. А тутъ вдругъ началъ и днемъ мерещится. И чѣмъ дальше, тѣмъ хуже.

Если ходитъ—ничего, а какъ только присѣлъ гдѣ нибудь глядь и сидитъ подлѣ Чурилка. Сидитъ и считатъ.

Уже чего, чего ни дѣлали. Ко всякимъ дохтурамъ ѣздили и къ себѣ выписывали. Деньжищъ прорву просадили. Къ какимъ только богомольямъ ни странствовали. Были въ Оптинской, у Серафима въ Сарской, на Святогорскомъ, на Афонъ даже ѣздили и въ Соловки, говорятъ, по морю путешествовали—ничего не беретъ! Сначала быдто маненько отпуститъ а тамъ еще пуще привалитъ.

И такъ (повѣрите-ли?) въ два, три года совсѣмъ извелся человѣкъ. Осѣлъ, постарѣлъ, трясется весь и ужъ какъ ночь подходитъ, зажжетъ это вездѣ свѣчи всѣхъ домашнихъ заставитъ молиться. Поповъ созоветъ. Служатъ, отчитываютъ. И все втунѣ.

И такъ (вотъ подите вы) сгибнулъ человѣкъ и покончился. На 22 октября, въ саму Казанску, и представился.

Ахъ! И какой же человѣкъ-то былъ, вы подумайте только: милліонами ворочалъ! Умница!! Сановникъ!!!.. Сколько благодѣяніевъ творилъ. Каждый годъ мало-мало тысячъ 10 въ богоугодный комитетъ жертвовалъ, а тутъ, вотъ, на поди!..

А все отчего. Оттого, что ужъ оченно много вниманія обратилъ Панкратъ Ильичъ на каку нибудь тлю паршиву—Чурилку. Иной бы на его мѣстѣ таку тлю и на порогъ-то къ себѣ не пустилъ. А онъ притащилъ къ себѣ. Засадилъ въ хозяйску съ собой въ шашки играть. А потомъ еще засадилъ за свой письменный столъ и таку уйму деньжищъ отпустилъ.

Конечно, человѣкъ хотѣлъ, такъ сказать, потѣшиться. Обидно ужъ оченно ему было, что така ничтожность, какой нибудь Чурилка, а лучше его игратъ въ шашки.

И опять. Не болванъ-ли этотъ, прости Господи, Чурилка!?

Скажите, пожалуйте! Другой бы на его мѣстѣ сейчасъ бы все сообразилъ, понялъ. Видитъ, играетъ съ нимъ сановникъ. Ну, и укротилъ бы себя. Сдѣлалъ ему уваженіе, поддался. А онъ н-нѣтъ! Вотъ что значитъ необразованность-то!..

«ХРИСТОВА ДѢТКА».

(Рождественская картинка).

Вечеромъ, въ самое Рождество Христово, у Петра Петровича или, какъ его просто звали, у дѣда Путько, было обычное собраніе—балъ не балъ, а такъ себѣ—семейная Христова вечеринка.

Въ карты играть считалось грѣхомъ, да и не для чего было: и безъ картъ было весело и занятно; хохотали и плясали до упаду.

Самъ Петръ Петровичъ былъ душа веселью. Шелъ ужъ ему чуть не восьмой десятокъ, но былъ онъ бодръ и крѣпокъ, какъ оббитый кремень. Пилъ и плясалъ онъ такъ, что молодые не могли за нимъ угнаться—и только завидовали ему.

— Ну, говорили: тебѣ дѣдъ Путько, никакія бури не страшны. Ты заговоренный и старѣться больше не будешь,

И точно, каждый, кто взглянулъ бы на дѣда Путько, сказалъ бы тоже самое, или, по крайней мѣрѣ, подумалъ бы то же. Низенькій, коренастый, кривоногій; лицо красное, какъ кумачъ; глаза прищуренные, голубые; брови густыя,

сѣдыя; волосы тоже густые и тоже сѣдые; наконецъ усы... но вотъ усы Петра Петровича и были верхъ изумленія. Мимика ихъ по истинѣ была удивительна. Что бы ни говорилъ, что бы ни разсказывалъ дѣтъ Путько, усы его непремѣнно принимали въ этомъ непосредственное участіе. То они распыжатся ежомъ, то развернутся вѣеромъ то вздернутся къ верху маленькими колечками. И всѣ эти штуки они продѣлывали за-одно съ бровями. Иной разъ брови уйдутъ къ волосамъ, а волосы пойдутъ къ нимъ на встрѣчу, такъ что весь коротенькій лобикъ дѣда Путька превратится въ нѣсколько складочекъ, а усы такъ ходуномъ и заходятъ.

Дѣдъ Путько былъ морякъ. Дрался съ турками, былъ подъ Синопомъ, странствовалъ вокругъ свѣта, а теперь жилъ на покоѣ одинокимъ вдовцомъ. Впрочемъ, вокругъ него постоянно были дѣтки: племянницы и племянники, внучки, внуки и даже правнуки. И теперь въ залѣ было не столько взрослыхъ гостей, сколько меленькаго народу. И весь этотъ народъ шумѣлъ и прыгалъ вокругъ сіяющей ёлки.

Старшая, замужняя дочь Путько, Елизавета Петровна,— уѣхала, и всѣ знали, куда и зачѣмъ она уѣхала. Она отправилась снаряжать и одаривать бѣдныхъ, или какъ говорили, «справлять ясли». А впереди ёлки стояли настоящія простыя ясли; въ нихъ лежало душистое, зеленое сѣно, и на немъ была постлана чистая, бѣлоснѣжная пеленочка. Всѣ дѣти съ недоумѣніемъ и любопытствомъ посматривали на эти ясли и думали: кто-то въ нихъ будетъ лежать? Прилетитъ ангелъ Господень и положитъ сюда божью куколку, младенца невиннаго.

Но старшіе дѣтки думали совсѣмъ другое. Они знали, что мама ихъ поѣхала не только «справлять ясли», но и привезетъ откуда-то настоящую, большую куклу Ленѣ и Манѣ—куклу, которая двигаетъ ручками и ножками, откры-

ваетъ и закрываетъ глаза и очень ясно кричитъ пискливымъ голосомъ: пап-па! ма-м-ма!

— Ну, сказалъ дѣдко Путько, и поставилъ себѣ стулъ подлѣ ёлки.—Поди ты теперь, великій полководецъ, сюда!

И «великій полководецъ»—пятилѣтній внукъ Олегъ, подошелъ къ дѣдкѣ.

— Ну пузырь взлѣзай сюда! А я тебѣ помогу, и дѣдко хлопнулъ себѣ по колѣну, а пузырь очень храбро полѣзъ на приступъ, вскарабкался на колѣна и усѣлся.

— Ну, слушай теперь!.. и говори: что мы празднуемъ?

— Христа! сказалъ пузырь.

— Христа! передразнилъ дѣдъ. Рождество Христово, а не Христа... А какъ же родился Христосъ?.. Не знаешь?.. Ну, слушай! Только не дремли!..

— А—яй! Закричала Люба, дѣдко хочетъ сказку разсказывать!.. И она всплеснула ручонками.

Поднялся шумъ и гвалтъ. Всѣ хватали стулья и въ перебой присаживались къ дѣдкѣ. Всѣмъ были, пуще меда и сахара, сладки розсказни дѣдки. Онъ много ѣздилъ, много видѣлъ и много зналъ такихъ славныхъ или смѣшныхъ исторій и сказокъ, что иной разъ дѣтки готовы были цѣлую ночь напролетъ слушать его. И всѣ теперь окружили дѣдку.

— Это было давненько—такъ началъ дѣдко. Ровно столько лѣтъ, сколько теперь идетъ съ Рождества Христова.

— 1864 года, подсказала Соня.

— Ну! Вотъ почти 1864 года тому назадъ, тамъ, далеко гдѣ солнце всходитъ, взошелъ и свѣтъ любви христіанской. Тамъ родился Сынъ Божій. А родился Онъ въ маленькомъ городкѣ, въ крохотномъ хлѣвушкѣ. Тамъ, гдѣ ночью спятъ коровушки, овечки, ослики...

— Это мы учили въ Священной Исторіи. Тамъ и картинка такая есть, перебила Соня.

Дѣдъ посмотрѣлъ на нее строго. Брови его поднялись, усы растопырились.

— Тебѣ дана кличка—Соня. Она не по тебѣ... Ты не Соня, а балаболка!

— Ха! ха! ха! захохотали всѣ дѣти.

— Смирно! закричалъ дѣтко... Слушай команды! Не прерывать, языку воли не давать, а слушать въ сласть, коли сладко... Ну! такъ такимъ-то менеромъ Христовой ночью родился на свѣтъ Сынъ Божій, любовь великая и радость всѣмъ христіанамъ. И было послано два вѣстника въ двѣ стороны. Одинъ—на Западъ, на поле, которое было тутъ же, подлѣ того городка, въ которомъ родился Христосъ. Посланъ былъ ангелъ къ пастухамъ или пастырямъ возвѣстить имъ, что родился Великій Пастырь всего человѣческаго стада. Посланъ былъ вѣстникъ къ простымъ, «не мудрымъ», чтобы они пришли и поклонились Великому Свѣту любви человѣческой. И пастухи пошли въ маленькій хлѣвушекъ и увидѣли, что лежитъ въ ясляхъ Младенецъ Христосъ и отъ Него идетъ свѣтъ великій. Поклонились они Свѣту и заплакали въ умиленіи сердецъ... Тутъ дѣдко остановился, поднялъ палецъ кверху и сказалъ:—О! о! о! И всѣ видѣли что у него на глазахъ выступили слезы.—Ну, теперь слушайте, дѣтки, о другомъ посланномъ: а этотъ посланный былъ не ангелъ, а звѣзда, необыковенная, невиданная, звѣзда Господня. Послана она была на Востокъ, къ тѣмъ «мудрымъ» земли, которые считали всѣ звѣзды небесныя и знали, подъ какой звѣздой каждый человѣкъ рождается. Народъ звалъ этихъ мудрецовъ звѣздочетами, магами или волхвами. И вотъ удивились мудрецы звѣздѣ и и сказали другъ другу: «Великое дѣло совершилось! Родился Богъ на землѣ, а звѣзда Господня яркимъ пламенемъ горитъ на небѣ и зоветъ насъ идти поклонится Ему—Господу нашему». И собрались мудрецы и ночью выступили

въ путь. Они идутъ, а звѣзда впереди нихъ идетъ, путь имъ кажетъ. Они остановятся, и звѣзда остановится—ждетъ ихъ. Долго ли, коротко ли шли они вслѣдъ за звѣздой, и звѣзда привела ихъ, наконецъ, въ тотъ маленькій городокъ, гдѣ родился Христосъ. Она остановилась прямо надъ тѣмъ хлѣвушкомъ, въ которомъ лежалъ въ ясляхъ Святой Младенецъ. А всѣхъ мудрецовъ было трое. Одинъ былъ сѣдой, умудренный годами старикъ, и звали его Мельхіоръ. Онъ уже былъ близокъ къ праху земному, даръ земли принесъ на поклонъ Христу, какъ Человѣку, какъ Сыну земли, смирну, такую смолу дорогую, благовонную, которая получается съ высокаго дерева. Другой мудрецъ былъ въ полномъ цвѣтѣ силъ, лицемъ смуглъ и съ черными волосами. Звали его Каспаромъ. Онъ принесъ въ даръ Христу слитокъ золота—самаго цѣннаго металла на землѣ, которымъ подобаетъ владѣть Царю Іудейскому и Царю всѣхъ церей земныхъ. А третій мудрецъ былъ свѣтлорусый юноша—свѣжій, румяный, и звали его Вальтассаромъ. Онъ поклонился Младенцу-Господу и принесъ ему въ даръ ладанъ—благовонное куреніе, отъ котораго дымъ всегда летитъ къ небу вмѣстѣ съ молитвами людей, молящихся Богу. Вальтассаръ принесъ Христу этотъ даръ, какъ Богу. И вотъ, всѣ они трое вошли въ маленькій хлѣвушекъ и увидѣли Свѣтъ Великій, Который лежалъ въ ясляхъ, и поклонились этому Свѣту до земли. Это кланялась мудрость земная Великому Свѣту любви человѣческой. И вмѣстѣ съ ними поклонилась на небѣ звѣзда, посланная за ними. И ангелы Божьи запѣли славу Предвѣчному...

— Это поклонился умъ человѣческому чувству, которое выше ума. Сказала одна изъ внучекъ—14 лѣтняя Вѣра—угрюмая и задумчивая.

— О о! Вотъ оно! Такъ такъ дѣтко мое разумное—вскри-

чалъ дѣдъ Путько и погладилъ покраснѣвшую внучку по головкѣ.

— Ну,—сказалъ дѣдко:—теперь скажите мнѣ, какъ завѣщалъ людямъ Христосъ любить?

— Христосъ училъ,—подхватила скороговоркой быстроглазая Соня,—училъ любить Бога всей душой, всѣмъ сердцемъ, всею мыслью и всею крѣпостью воли нашей, а ближняго нашего, какъ самого себя...

— Постой, постой!—закричалъ дѣдко:—что ты бормочешь, таранта!.. Надо все толкомъ, съ разстановкой... А кто нашъ ближній? скажи-ка ты мнѣ.

— Каждый бѣдный, больной и несчастный,—отчеканила Соня.

— О! о! о!—закричалъ дѣдко и поднялъ палецъ высоко къ верху, а вмѣстѣ съ нимъ поднялись и брови, и усы, и всѣ волосы стали ежомъ.—О! о!—сказалъ онъ:—вотъ кого мы должны любить!

Но тутъ поднялся вдругъ такой страшный трезвонъ въ передней, точно хотѣли оборвать звонокъ, и всѣ дѣтки завизжали, вскочили и бросились въ переднюю. Всѣ они закричали:

— Эта мама!

— Это—баба!

— Это—тетя!

Но всѣхъ ихъ тотчасъ же осадили и двери передней плотно прихлопнули, потому что нельзя же было пустить ихъ на встрѣчу пріѣхавшей мамѣ. Она была холодная, прямо съ морозу, съ улицы.

И вдругъ въ передней раздался громкій ребячій голосокъ.

— Уа! уа! уа!

— Ахъ! это куклу привезли!—вскричала Соня.

— Нѣтъ! нѣтъ! это маленькій, маленькій ребеночекъ!—увѣряла Люба.

— Это мама привезла намъ новаго братца или новую сестрицу,—догадалась Зина и прибавивъ:—какъ я рада! какъ я рада!—вспрыгнула чуть не до потолка, такъ какъ комнаты въ домѣ Петра Петровича были очень низенькія.

И всѣ дѣтки рвались въ переднюю. Но мамка и нянька и самъ Путько храбро отстаивали входъ въ этотъ карантинъ.

Наконецъ двери его распахнулись, и на порогѣ ихъ показалась дѣвочка подросточекъ, лѣтъ восьми, десяти, покрытая большимъ платкомъ. Она несла на рукахъ маленькаго ребеночка, бережно кутая его въ дырявый зипунишко, котораго мохры и лохмотья волочились по полу. А за ней шла другая дѣвочка-крошка лѣтъ четырехъ-пяти, въ худенькой, истасканной душегрѣйкѣ, А за ними шла мама, а за ней уже горничная несла большой свертокъ.

Дѣдко отскочилъ отъ двери и развелъ руками.

— Господи Іисусе! Что это?!—вскричалъ онъ въ изумленіи.

А мама, поцѣловавъ руку у дѣдки и его самаго, сказала:

— Это я «Христову дѣтку» привезла.—И подведя дѣвочку съ ребенкомъ къ яслямъ, сказала ей:

— Клади, клади скорѣй сюда его!.. Здѣсь тепло... не замерзнетъ.

И маленькая дѣвочка положила въ ясли на чистую пеленочку крохотнаго, краснаго младенчика, который тотчасъ же началъ громко кричать: «Уа! Уа! Уа»!

— Вотъ вамъ,—сказала радостно мама,—«Христова дѣтка». И слезы побѣжали у ней изъ глазъ. Но она тотчасъ же наклонилась надъ яслями, взяла опять крохотнаго ребеночка и, цѣлуя его, понесла въ столовую, а за ней пошли дѣвочки, и побѣжала вся дѣтвора съ крикомъ и оханьемъ.

Вотъ! видишъ, видишъ, торжествовала Зина я сказала что намъ принесутъ братца или сестрицу. Вотъ и принесли!

— Спеленай и накорми его—сказала мама.—Надо рожокъ найти, даз автра ему козу подыскать.

— Гдѣ завтра найдешъ?—говоритъ мамка:—завтра—второй день, никакъ не найти... Христовъ херувимчикъ!!. И она ему сунула палецъ въ ротъ, а онъ засосалъ и зачмокалъ...—Гляко-сь! гляко-сь! голодный какой! Матушки! Голубчикъ ты мой!

А дѣти всѣ толпились около нея и вставали на цыпочки чтобъ видѣть крохотнаго голубчика.

— Ну!—сказала мама:—Теперь васъ кормить!—И, раскутавъ обѣихъ привезенныхъ дѣвочекъ, усадила ихъ за столъ приказала дать имъ чаю и обратилась къ отцу:

— Ахъ, папа!—вскричала она, всплеснувъ руками:—знаешь ли ты, вѣдь я ихъ отъ смерти спасла!—Слава Тебѣ, Господи!—И она перекрестилась на образъ и заплакала.

— Ну! ну! ну!—разскажи, разскажи:—какъ они тово?.. Любопытно!!.

— Вѣдь маленькая, вотъ эта Дуня... смотри, какіе у нея славные глазенки, большіе, да добрые... Она совсѣмъ замерзала... Уснула ужъ на морозѣ...

— А ты посмотри: руки-то у нихъ тово... Не снѣгомъ ли оттереть?.. И щеки тово...—И дѣтко бойко вскочилъ и осмотрѣлъ рученки и щечки дѣвочекъ.

— Знаешь ли, сидятъ все трое,—говорила между тѣмъ Елизавета Петровна—у столбика.... Знаешъ ты, черезъ Павлинскій оврагъ въ полѣ мостикъ?

— Да вѣдь это на краю города!—удивился дѣдко.

— Совсѣмъ на краю.... Тутъ, знаешъ, дорожка въ полѣ идетъ.... А они у мостика-то оперлись на столбикъ и сидятъ всѣ трое. Я подъѣзжаю,—что, думаю, такое? Нищенка, что ли, сидитъ. А Семенъ какъ подъѣхалъ, такъ и остановилъ лошадей. Что говоритъ, вы тутъ дѣлаете?.... Эта спала (и она указала на Дуню), а эта еле-еле говоритъ: мы, го-

воритъ, младенчика спасамъ.... Я вышла. Едва разбудила маленькую и всѣхъ ихъ съ младенчикомъ усадила въ сани подъ полость, и привезла.

— Кто же это съ вами младенчика отпустилъ!?—закричалъ дѣдко:—О! о! о! кто такой—извергъ послалъ васъ въ Христову ночь въ морозъ съ младенцемъ?.

— А мы его въ полѣ нашли,—отвѣтила старшая дѣвочка Стеша.—Его середь поля бросили. Заморозить, знашъ, хотѣли,

— Какъ такъ!—вскочилъ дѣдко.

И у всѣхъ вырвался словно вздохъ, тихій крикъ ужаса, а Стеша продолжала разсказывать.

— Мы ходили, знашь, на Гривку; така деревушка тутъ есть.

— А сколько верстъ до деревушки-то?—спросилъ дѣдко.

— А я, дяденька, не знаю... Не дивно много, може три или по болѣ верстъ будетъ. Чай, версты четыре.—Мамка, знашь, насъ послала къ теткѣ Аксиньѣ...: Пусть, дескать, отдастъ тридцать копѣекъ мѣдью, а то, батъ, для праздника Христова будемъ тощи сидѣть. Ну вотъ, я пошла, а Дунька привязалась реветъ, да реветъ, вмѣстѣ пойдемъ. Ну, ладно! Собрались, побѣжали. Туда-то мы духомъ добѣжали, да тетки то дома не случилось, Ну, вотъ мы и ждемъ ее до самыхъ вечерень.... Дунька ужъ ревѣть начала, но тутъ пришла тетка Аксинья, а мы и говоримъ ей: мамка, молъ, за деньгами прислала; отдай, говоримъ, а то для праздника Христова мы тощи будемъ сидѣть.... Ну, тутъ, знашь, она шибко озлилась; «гдѣ говоритъ, я вамъ теперь тридцать копѣекъ насбираю?!.. На-те вотъ десять копѣекъ, больше нѣтъ у меня—и ступайте! не дожидайтесь!»... А мы знашь дюже озябли. «Намъ, говоримъ, тетенька, хоть погрѣться то дай!»... Все у ней въ сѣнцахъ то сидѣли, въ уголышкѣ, за кадушкой... Избу ты она значитъ заперла, ушемши, а мы въ холодныхъ сѣнцахъ все и сидѣли... И такъ-таки намъ ни чуточки не дала посидѣть. Такъ-таки протурила вонъ изъ избы-то....

Ну, говорю, бѣжимъ, Дунька, духомъ!.... А ужъ совсѣмъ смерклось, и погода така задуватъ; снѣжокъ припархиватъ. По деревнѣ-то мы шли съ ней—ничего а послѣ-то какъ будто боязно стало.... Взяла я Дуньку за ручку: бѣжимъ, говорю, шибчѣе! И вотъ мы бѣгли, бѣгли съ ней, а деньги-то у меня въ кармашкѣ брякъ-брякъ. А карманъ-то съ дырой и думаю: какъ бы не обронить.... Она, знашь, тетка то, дала мнѣ два трешника, да четыре копѣечки.... Стой! говорю Дунѣ.... взяла и крѣпко на крѣпко завязала ихъ въ платокъ и опять побѣгли.... Дуня приставать начала. Я её тащу а она упирается, да хнычетъ: постой! да постой!.... Вотъ говорю, добѣжимъ до караулки-то, тамъ и присядемъ,—передохнемъ. А въ полѣ-то, знашъ караулка така махонька, ровно шалашикъ къ пряслицамъ приставлена.... Добѣжали мы до караулки да и присѣли за ней,—сидимъ.... Вѣтромъ-то насъ не фататъ, ну, и тепло. Сидимъ мы да глядимъ, а по дорогѣ-то изъ Гривки идутъ двое. Батюшки! думаю вотъ злые люди идутъ, насъ грабить начнутъ. Молчи! говорю Дунькѣ, нишкни! Подходятъ знашь, къ караулкѣ-то, а мы ни живы, ни мёртвы сидимъ. Я знашъ зажала деньги то въ кулакъ зажала и Дуньку къ себѣ прижала. Сижу и твержу; Господи помилуй! Подошли они и говорятъ: «куда, молъ еще идти?.... Кидай тутъ?... Клади на снѣгъ подлѣ дороги-то... Вишь кругомъ никого нѣтъ».—А говоритъ-то, ровно баба, тоненькимъ такимъ голоскомъ. Я не стерпѣла и глянула. Гляжу—точно баба. А другой—какъ будто мужичекъ. Такой сѣденькій, или такъ только снѣжокъ его опушилъ.—Пойдемъ, говоритъ мужичекъ, еще ближе къ городу-то, здѣсь, говорятъ, мѣсто глухое. Никто не пройдетъ, не проѣдетъ, и никто не замѣтитъ его—голубчика. Такъ только грѣхъ примемъ, душу христіанску даромъ загубимъ. Жалко вѣдь, внучка-то... А баба то такая сердитая! Ну! вотъ еще—лается—старый хрычь. Будемъ, батъ, жалѣть. Тебѣ, значитъ до-

черняя-то честь не дорога..... Коли про дочь-то да дурная слава побѣжитъ... Кидай! батъ, тутъ... И вижу я, что старичекъ-то на рукахъ-то ровно что держитъ.... Наклонился онъ, а младеньчикъ-то у него на рукахъ и заплакалъ...» Кидай, скорѣй! Да бѣжимъ!»... Таково сердито говоритъ баба. Уу! Говоритъ, грѣховодникъ!... Старикъ-то нагнулся и положилъ ребеночка, да снялъ съ себя кафтанишко то и покрылъ его. А старуха сдернула кафтанъ-то... «Что ты!! батъ спятилъ совсѣмъ, батъ, не жаль кафтана-то?!»... И стали они другъ у друга тащить кафтанъ. Старичекъ тащить, а баба-то не даетъ.... Въ тѣ поры Дунька-то и ворохнись, а сучья подъ ней захрустѣли. Они оба,—мужикъ и баба,—какъ бросятся отъ караулки-то бѣг-о-о-о-омъ. И баба и старикъ бѣгутъ и кафтанишка держутъ. Остановились, оглянулись... Старуха выдернула кафтанъ-то и побѣгла. А старикъ глядитъ на караулку-то, а ребеночекъ-то лежитъ и увякаетъ. И Дунька тутъ захныкала.... Я ей говорю.... Молчи! говорю... Воротятся убьютъ насъ... Наконецъ и старичекъ перекрестился, знашъ и побѣжалъ... Такъ шибко, шибко, шибко... Я высунула голову-то, вижу,—никого нѣтъ.... А Дунька-то ползкомъ, да ползкомъ подползла къ ребеночку то да и плачетъ надъ нимъ.... И я, знать къ ему этакъ кинулась. Глядимъ, лежитъ онъ голенькій и на грудкѣ то и на брюшкѣ снѣжокъ у него лежитъ... и таково мнѣ вдругъ жалко его стало, что ажно я заплакала. Взяла я, знашъ, закутала его въ зипунишко и побѣгли шибко, шибко.... Вотъ, вотъ! думаю хватятся.... Али какой ни на есть солдатъ.... али городовой, али урядникъ... Да схватятъ насъ.... и такъ то мы все бѣжали, бѣжали.... Уже у самаго то города остановились. Всю меня ровно качатъ, словно угорѣла... Добѣгли мы, знашь, до мостика да тутъ у столбика-то и присѣли на время отдохнуть, знашь. А барынька-то твоя къ намъ подъѣхала и взяла насъ....

— Какъ же! — вскричалъ дѣдко. — Куда же вы его несли?

— А къ мамѣ. Вѣдь, у насъ мама есть.

— О! о! о!—закричалъ дѣдко:—чудиха ты Христова! Чѣмъ же бы мама твоя стала бы кормить его,—а? Коли у нея нѣтъ даже тридцати копѣекъ къ празднику, а?

Стеша задумалась.

— А мы бы сами кормили бы его,—вскричала она радостно.—У тетки Акулины есть корова.... Тетка Акулина стала бы намъ давать по кружечкѣ кажиный день ... Много-ль ему нужно! Махонькому такому!

— О! о! о! о! вотъ такъ догадалась! Такъ вотъ тебѣ сейчасъ и будетъ тетка Акулина молока давать.... Да ему и мало твоей кружечки-то.... Ему надо, по крайней мѣрѣ, бутылку, а потомъ и двухъ бутылокъ мало будетъ, а бутылка-то стоитъ 5—6 копѣекъ..... И вотъ пройдутъ 5—6 дней и ты давай-выкладывай 25 или 30 копѣекъ.... Гдѣ онѣ у тебя? О! о! о!—И дѣдко посмотрѣлъ на всѣхъ и высоко приподнялъ брови....

— Если бы люди любили другъ друга,—сказала тихо Вѣра, —какъ училъ Христосъ, то они не бросили бы маленькаго младенчика на снѣгъ: всѣмъ было бы мѣсто.

Но тутъ вдругъ внучка Галя, худенькая, блѣдненькая припала къ столу и горько-горько зарыдала. А дѣдко вскочилъ, какъ встрепанный и всѣ на нее уставились.

— Что ты? Что ты?... Господи помилуй!... Съ чего, почему—кричалъ дѣдко.

— Зачѣмъ!... Зачѣмъ!... Онъ не умеръ!?.... — Плакала Галя.—Умеръ бы онъ и его.... его.... его тотчасъ же взяли бы, ангелы на небеса къ Господу.... А здѣсь, Здѣсь!.... Скверно!

— Что ты!? Что ты!? Неразумная дѣтка.... Ахъ неразумная! Вскричалъ дѣдко... Все Богъ устроилъ и всякій дол-

женъ хвалить Его. Коли онъ послалъ душу на землю такъ мы не должны... Слышить не должны желать, чтобы Онъ взялъ ее.

Но въ это время мама подошла къ Галѣ и, взявъ ее обѣими руками за головку, крѣпко поцѣловала ее.

— Полно! полно, моя дорогая! Мы его не отдадимъ, онъ у насъ останется, говорила она. И Галя крѣпко обхватила шею мамы и зарыдала на груди ея.

— Она сегодня цѣлый день невеселая; ей, вѣрно, не здоровится, сказала мама и унесла Галю въ дѣтскую.

На мигъ всѣ притихли, и среди этой тишины рѣзко раздался голосъ гимназиста Коли. Онъ былъ уже въ шестомъ классѣ—худой, желтый, весь, въ веснушкахъ, съ большой головой на которой былъ цѣлый овинъ кудлатыхъ, рыжеватыхъ волосъ. Онъ весь вечеръ молчалъ, на все смотрѣлъ изъ подлобья своими сѣрыми большими глазами и насмѣшливо улыбался.

И теперь онъ сидѣлъ, облокотившись на столъ, въ своей гимназической, разтегнутой курткѣ и нервно игралъ чайной ложечкой

Дѣдко долго ерошилъ свои сѣдые волосы; наконецъ обратился къ гимназисту:

— Ну! Ты—суэмудрый Мефистофель—что скажешь?

— Я ничего, говоритъ Мефистофель. Это ты вѣдь учишь Христовымъ заповѣдямъ.... А я что?... Я молчу... Я только незнаю какъ мнѣ любить ближняго, какъ самого себя, если я самъ себя ни сколешенько не люблю; даже терпѣть не могу. И каждый день ругательски ругаю.... готовъ поколотить даже.... да жалко!

— О о! Закричалъ дѣдко. Врешъ! Врешъ!.... Любишь! Любишь! Любишь!.... И онъ погрозилъ Колѣ толстымъ пальцемъ, на которомъ блестѣлъ большой перстень съ печатью.

— А ты вотъ скажи мнѣ; продолжалъ Коля,—не слушая дѣдку...—Вѣдь всѣ люди—братья, и у всѣхъ—одинъ Отецъ, на небесахъ и одинъ Христосъ—учитель!.... Такъ ли?

— Такъ! Такъ! Вѣрно!—Вѣрно! Закивалъ дѣдко сѣдой головой.

— Зачѣмъ же братья-то грызутъ другъ друга, по волчьи и каждый въ лѣсъ глядитъ.... Скажи ка ты мнѣ!... Зачѣмъ-братъ только что родился, а его на снѣгъ выбрасываютъ.... Это отъ излишней братской любви... Что ли?

Но тутъ дѣдко вскочилъ со стула и началъ грозить уже кулакомъ.

— Не мудрствуй лукаво! — Кричалъ онъ. — Не мудрствуй! Люби! Мефистофель богопротивный! Не разсуждай а люби!

— Да какъ же я буду любить!?.. Незная съ какого конца.. Меня отъ брата воротитъ... Какъ отъ дохлятины... А я его люби!

— Люби! Люби! Люби!—Топалъ и неистоствовалъ дѣдко... Вотъ! Вотъ! Смотри (и онъ указывалъ на двухъ дѣвочекъ, на Стешу и на Дуню, которые грызли сухари, почесывались и обѣ дремали), вотъ! Вотъ видишъ!...

— Чего видѣть то?.. Ребята дремлютъ...

— Вотъ учись у этихъ ребятъ, у этихъ, у брошенныхъ. Вотъ она—любовь-то! Братъ бросилъ младенца на снѣгъ, а сестра—маленькая сестра, ребенокъ—со слезами подняла его и, забывая о себѣ, забывъ обо всемъ, схватила и бѣжитъ съ младенцемъ, бѣжитъ? о! о! о!... Вотъ она любовь святая, не думающая!.. И ты такъ же люби! Такъ же. Люби! Люби! Люби!

Гимназистъ махнулъ рукой.

— Съ тобой не сговоришъ,—проворчалъ онъ.—У тебя мудрость—поклоняется чувству, слѣпому инстикту, а у неразумныхъ дѣтей посылаешь учиться.

Но тутъ дѣдко совсѣмъ вышелъ изъ себя и ногами затопалъ и кулаками застучалъ....

Только и этимъ противника своего не устрашилъ—и продолжалъ этотъ противникъ свой споръ очень храбро.

— А ты говорилъ онъ—вмѣсто того чтобы проповѣдывать дѣтямъ пошелъ бы да проповѣдывалъ тамъ... Тамъ.....

— Гдѣ тамъ, гдѣ тамъ?... Рыжій мудрецъ!—Кричалъ дѣдко.....

— А тамъ гдѣ нужда давитъ.... Гдѣ младенцевъ на снѣгъ бросаютъ... Нѣтъ ты туда не пойдешь... Тамъ фактами отвѣтятъ на твои пустые слова.... Тамъ тебѣ мать или бабка отвѣтитъ что она—любитъ свою дочьку.... Такъ любитъ что даже внука своего не пожалѣла... Чтобы только честь ея спасти отъ дурной славы....

— Врешъ ты! Врешъ все... софистъ курносый! Мудрецъ пархатый!...

— Вальтасоръ!—Кричитъ софистъ....—А сколько у тебя дѣдко любвеобильный, въ ломбардѣ то денегъ лежитъ? Это ты мнѣ скажи... Проповѣдникъ Христовъ!...

— Но тутъ дѣдко... Даже захрипѣлъ съ сердцевъ и гнѣва и стремглавъ бросился на внука. Но и внукъ бросился отъ дѣда и принялись оба бѣгать вокругъ стола.— Стулья чашки, все полетѣло на полъ. — Вошла мама и всплеснула руками.

— Опять война!..—Вскричала она...—Опять дѣдко съ внукомъ воюютъ.... И она бросилась на дѣдко. Папа милый дорогой! Упрашивала она, цѣлуя руки дѣдки. Брось! Христа ради брось!

— Нѣтъ я вздую его антихриста!—хрипѣлъ дѣдъ.

— Вздуешъ, а не убѣдишь!..:—Отзывался антихристъ прикрывшись стуломъ.

И неизвѣстно чѣмъ бы разрѣшилась эта баталія, если бы не прервалъ ее звонокъ въ передней... И, сбрасывая на ходу,

теплый платокъ и ротонду, въ комнату влетѣла румяная тетя Паша, а съ ней вмѣстѣ влетѣло самое глупое, не думающее, но шумное веселье.

Всѣ дѣти опять закричали, завизжали, бросились къ ней и тотчасъ же потащили ее къ піанино играть забирательный галопъ. Но руки у ней совсѣмъ окоченѣли и она принялась отогрѣваться чаемъ, а всѣ пустились въ запуски разсказывать ей, какъ имъ Богъ далъ маленькую «Христову дѣтку». А подъ этотъ шумъ и Стёша и Дуня мирно спали, уткнувъ свои носы другъ другу въ колѣна. Ихъ, разумѣется, разбудили, растолкали и начали снаряжать, чтобы отвести домой, на маленькихъ саночкахъ. Но прежде чѣмъ отправить, имъ собрали цѣлыхъ три рубля.

— Ну, сказала мама, отдавая ихъ Стёшѣ: завяжи ихъ въ платокъ и отнеси къ мамѣ, вмѣсто тридцати копѣекъ... Она чѣмъ же у тебя занимается, мама-то твоя? Что работаетъ?

— А бѣлье стиратъ.... На казарму бѣлье стиратъ

— А отецъ то у васъ гдѣ?

— Отецъ-то померъ еще третьегодесь.

— Ну, прощайте! поѣзжайте съ Богомъ!..—говоритъ мама.

— А гдѣ же ребеночекъ-то? Спрашиваетъ Стёша.

— Ребеночекъ у насъ останется. Это будетъ наша «Христова дѣтка», Мы его воспитаемъ. На снѣгъ въ полѣ не выбросимъ.... А вы смотрите, никому не болтайте, не разсказывайте, а не то старому дѣдкѣ и старой бабкѣ, что бросили его на снѣгъ плохо, очень плохо будетъ.

Стёша посмотрѣла на всѣхъ нерѣшительно. А Дуня ухватилась за ея платье и горько заплакала.

— Вотъ она! Вотъ любовь-то!—закричалъ дѣдко, указывая на плачущую дѣвочку. А мама бросилась къ Дунѣ и заговорила:

— Не плачь! не плачь! Я тебѣ сейчасъ игрушку подарю: куклу большую, нарядную.—И мама бросилась въ дѣтскую

и вынесла, дѣйствительно, большую, хорошую куклу и подала ее дѣвочкѣ.

Дуня посмотрѣла, на нее какъ-то жалобно, кисло, но утѣшилась.

— Вотъ она! Вотъ она любовь то! Захохоталъ Мефистофель—ха! ха! ха! Подарили куклу и любовъ прошла!...

— Ахъ, ты оглашенный!!—вскричалъ дѣдко и бросился на него. Но гимназистъ съ хохотомъ удралъ, а всѣ дѣтки и внучки и правнучки и сама мама подхватили дѣдку и потащили его въ залу.

Тамъ уже сидѣла тетя Паша за піаниномъ. Она ударила по клавишамъ и галопъ убійственный, задирательный загремѣлъ, загудѣлъ, полился. И всѣ маленьнія комнатки и весь крохотный домикъ дѣда Путько наполнился весельемъ. Всѣ споры и вздоры были забыты. И старъ и младъ бѣсились, плясали, хохотали — нимного, нимало, вплоть до самой полуночи.

СВѢТЪ И МРАКЪ.

(Разсказъ).

I.

Я хочу разсказать одинъ странный случай, который встрѣтился въ моей жизни, когда я была еще очень молода. Теперь много толкуютъ о гипнотизмѣ, мантевизмѣ и мысленномъ внушеніи. Можетъ бытъ тотъ случай, о которомъ я разскажу, послужитъ матеріаломъ для объясненій нѣкоторыхъ изъ этихъ темныхъ явленій нашей психической жизни.

Въ 1845 году мы жили скромно и пріютно въ нашемъ родовомъ К*** имѣніи, въ селѣ Роматищахъ. — Насъ было трое: я, моя добрая тетя и миссъ Бэрдъ! — Въ полуверстѣ отъ насъ, въ маленькой деревушкѣ, Голубовкѣ, жилъ онъ — мой добрый Поль — другъ моего тихаго дѣтства и моей восторженной молодости.

Въ нашемъ домѣ многое до сихъ поръ осталось нетронутымъ. Это старинный, каменный домъ, весьма удобный и прочный, построенный еще моимъ прадѣдомъ. Отецъ мой, большой англоманъ, сдѣлалъ въ немъ и около него только

небольшія, несущественныя измѣненія. Онъ обратилъ рощу около дома въ большой англійскій паркъ и ввелъ въ домѣ англійскіе порядки. Послѣ его смерти эти порядки свято поддерживала моя тетя, которая довольно долго прожила съ нимъ въ Англіи. У насъ былъ заведенъ утренній lunch съ гренками и жаренной рыбой,—breakfast съ неизмѣнной ветчиной, сыромъ и настоящій англійскій обѣдъ въ семь часовъ, съ противнымъ перечнымъ супомъ, бараниной и ростбифомъ.

Дома, въ семьѣ, мы постояннно говорили по-англійски и научили говорить и моего добраго Поля. Онъ былъ старше меня болѣе чѣмъ на двѣнадцать лѣтъ; съ тѣхъ поръ, какъ я запомню себя—я, кажется, всегда находила его тамъ такимъ же, какимъ я знала его еще очень-очень маленькой дѣвочкой... Я его звала «тихимъ» Полемъ и, дѣйствително, онъ былъ всегда тихъ и кротокъ. Когда я досаждала ему какой-нибудь дѣтской шалостью, онъ спокойно поднимался съ мѣста и уходилъ, не сказавъ мнѣ ни слова. Но я очень хорошо понимала, что я его глубоко огорчила. Я начинала злиться, капризничать—и все это разражалось слезами. Я плакала цѣлый вечеръ, даже часть ночи, а на другой день —робко смотрѣла на него, боясь подойти къ нему, и когда онъ, какъ ни въ чемъ не бывало, съ свѣтлой, радостной улыбкой на полныхъ, румяныхъ губахъ и съ тихимъ, свѣтлымъ взглядомъ его прекрасныхъ темноголубыхъ глазъ, протягивалъ мнѣ руку, то я такъ не смѣло смотрѣла въ его глаза.

— Вы не сердитесь? спрашивала я его почти шепотомъ.

— Я никогда не сержусь ни на кого, а въ особенности на васъ.

— Скажите мнѣ, Поль.. Какъ это вы дѣлаете?

— Что такое?

— Какъ это вы никогда ни на кого не сердитесь?

— Очень просто! Я никогда ни на кого несержусь и поэтому не могу сердиться на кого-то бы ни было.

— Да какъ же это сдѣлать?!... Ну, если васъ сердятъ, дразнятъ. Если вамъ досадно, что не дѣлается что-нибудь.. не устраивается, не ладится такъ, какъ бы вы хотѣли...

Я помню—онъ тихо притянулъ меня къ себѣ за руку и почти передъ самымъ моимъ ухомъ прошепталъ:

— Смотрите вверхъ! Прямо на небо?

— Ну что-же?.. Я смотрю...

— Смотрите долго, серьезно... и вы не будете сердиться... Если будете думать, что то, на что вы смотрите — выше всего... а все остальное ниже... все пустяки, на которые не только не стоитъ сердиться... но даже не стоитъ думать о немъ...

И странное дѣло! Въ то время, мнѣ—ребенку десятилѣтней дѣвочкѣ—казался этотъ пріемъ удивительно практичнымъ. Если что-нибудь меня волновало, то мнѣ стоило выскочить въ садъ, или подойти къ окошку и посмотрѣть высоко на небо, въ самую глубину его. Я смотрѣла долго, пока сердце не утихало и волненіе проходило.— И я думала: что же—это все пройдетъ—и снова придутъ радости, удача и счастье!.. Надо только быть терпѣливой.

Затѣмъ эта необходимость смотрѣнія на небо—все больше и больше сокращалась. Рѣдко налетали минуты глубокаго волненія и быстрѣе наступало это время «просвѣтлѣнія», какъ я называла его. Я глубоко вздыхала всей грудью и, перекрестившись, входила въ комнаты, спокойная и довольная.

Черезъ нѣсколко времени мнѣ начало доставлять какое-то неопредѣленное наслажденіе это долгое смотрѣніе на свѣтлое ясное небо. Меня начало тянуть къ этому удовольствію, и одинъ разъ я до того засмотрѣлась, что со мной сдѣлался обморокъ. По крайней мѣрѣ всѣ тогда объяснили

обморокомъ это странное состояніе полной неподвижности, какого-то окаменѣнія, которое продолжалось нѣсколько часовъ... Мнѣ запретили смотрѣть на небо—но я все-таки, украдкой—ве на долго—взглядывала на него и тотчасъ же отворачивалась, когда голова начинала кружиться и сердце замирало.

Все мое дѣдство прошло подъ ближайшимъ и неутомимымъ надзоромъ моей доброй няни Матвѣвны. Она любила меня искренно и глубоко, и благодарное воспоминаніе о ней ярко и живо до сихъ поръ. Я, какъ теперь, смотрю на ея высокую, угрюмую фигуру, съ головой, покрытой большимъ чернымъ платкомъ, на ея доброе блѣдное лицо съ строгими чертами. Она научила меня молиться со слезами—«чистой молитвой», какъ она выражалась, и жила въ домѣ только ради меня. Когда я вышла замужъ—она ушла въ одинъ изъ дальнихъ монастырей.

Въ пятнадцать лѣтъ я считала себя уже совершенно взрослой—тѣмъ болѣе, что въ этотъ день, когда мнѣ минули эти пятнадцать лѣтъ, на меня надѣли длинное платье—и я стала, какъ мнѣ казалось, совершенно барышней. Но въ сущности я была тѣмъ же наивнымъ, добрымъ ребенкомъ, а барышней ужъ меня никакъ нельзя было назвать. Я бѣгала въ запуски, въ горѣлки съ крестьянскими дѣвушками и даже мальчиками, бралась съ ними.—Мы вмѣстѣ розыскивали птичьи гнѣзда, или собирали грибы и малину. И только лѣтними вечерами, когда солнце тихо опускалось за дальную рощу, я присаживалась къ Полю на нашемъ любимомъ холмикѣ, который мы называли «зеленой горкой».—Я брала его за руку и у насъ начинались длинныя бесѣды обо всемъ, чуть не до полночи. Онъ удивительно много читалъ, а главное помнилъ все и умѣлъ передать все прочтенное. Подъ его разсказами въ моемъ представленіи являлись цѣлыя, яркія, живыя картины.

Онъ разсказывалъ мнѣ о далекихъ странахъ; о томъ,

кто были Карловинги и Меровинги, о томъ какъ жили египтяне, ассирійцы и вавилоняне, и какъ живутъ краснокожіе индійцы и желтые китайцы.

Онъ разсказывалъ объ Коралловыхъ островахъ, о жизни подъ тропиками и въ полярныхъ странахъ... и такъ много, много онъ мнѣ передавалъ въ дружескихъ бесѣдахъ, въ тихіе лѣтніе ясные вечера.

Онъ былъ, также какъ я, одинокій сирота.—Отца его убили на Кавказѣ, а старушку-мать онъ схоронилъ, когда мнѣ не было еще восьми лѣтъ и вотъ съ этихъ самыхъ похоронъ началась наша тѣсная дружба.

Въ эту ночь я не могла уснуть. Его положеніе представлялось мнѣ такимъ тяжелымъ, отчаяннымъ, что я постоянно плакала. Онъ такъ крѣпко, такъ нѣжно любилъ мать, маленькую добрую, но по правдѣ сказать, довольно вздорную старушку.

Въ цервомъ часу ночи я вся въ слезахъ, вся проникнутая его горемъ, тихонько поднялась съ постели, беззвучно одѣлась, чтобы не разбудить рядомъ спавшую миссъ Бэрдъ и пробралась въ садъ. Въ рѣшетчатомъ заборѣ было много лазеекъ, я мигомъ очутилась въ полѣ и бѣгомъ полетѣла въ его усадьбу. Я знала, что въ заборчикѣ, который окружалъ его крохотный садикъ, была маленькая калитка. Черезъ эту калитку онъ постоянно ходилъ къ намъ, и черезъ нее я теперь пробралась къ нему. Въ его кабинетѣ горѣла свѣча... Я неслышно вошла черезъ заднее крыльцо и, мимо огромнаго птичьяго садка, прямо влетѣла въ его кабинетъ. Я бросилась къ нему на шею вся въ слезахъ. Я обняла его и, рыдая, едва могла говорить:

— Добрый, тихій Поль... Мнѣ васъ ужасно жаль!.. Я буду у васъ хозяйничать, вмѣсто Анны Алексѣевны.—Буду дѣлать вамъ кофе... каждое утро... и буду цѣлый день... цѣлый день съ вами.

Онъ крѣпко обнялъ меня и поцѣловалъ въ голову... Потомъ всталъ, взялъ большой платокъ и бережно завернувъ меня въ него, тихо отнесъ домой, на своихъ сильныхъ рукахъ.

— Это теперь рано... дитя мое, говорилъ онъ,—послѣ... мы увидимъ...

И я думала: когда же будетъ это послѣ? И мнѣ было ужасно тяжело, что онъ не принялъ ни моего участія, ни моихъ услугъ.

II.

Тогда онъ уже кончилъ курсъ въ Московскомъ университетѣ и возвратился кандидатомъ съ золотой медалью.

— Я уже теперь навсегда поселюсь въ Голубовкѣ, сказалъ онъ,—а не буду уѣзжать въ Москву на зиму.

Я была ужасно рада и тотчасъ же сообщила эту вѣсть моей тетѣ, и моей старой нянѣ, и миссъ Бэрдъ. Я не знала, что онѣ всѣ давно уже знали объ этомъ, и притомъ болѣе обстоятельно чѣмъ я.

Когда мнѣ минуло восемнадцать лѣтъ, то тетя сказала мнѣ:

— Теперь ты уже совсѣмъ большая и эту зиму поѣдемъ въ Москву: познакомимся съ добрыми людьми, старыми моими пріятелями и пріятельницами и... повеселимся.

— Какъ же мы будемъ веселиться? спросила я,—смотря на ея доброе блѣдное лицо и на ея еще болѣе добрые и кроткіе большіе черные глаза.

— Мы будемъ ѣздить въ театръ и на балы...

Это меня удивило и заинтересовало, и въ тотъ же вечеръ, когда пришелъ Поль, я ему передала эту вѣсть.

Москву я уже знала: я прожила въ ней около двухъ

лѣтъ. Меня отдали туда въ пансіонъ, но черезъ два года тетя меня опять взяла въ деревню. Въ пансіонѣ я ужасно тосковала и постоянно была больна.—Мое образованіе опять стало домашнимъ. Тетя учила меня по-французски и всѣмъ такъ-называемымъ «элементарнымъ» наукамъ. Ей я обязана моимъ образованіемъ, да миссъ Бэрдъ и моему «тихому» Полю, который развертывалъ передо мной въ яркихъ образахъ и картинахъ все то, что я находила такимъ сухимъ и скучнымъ въ моихъ учебныхъ книгахъ. Наконецъ, тетя выучила меня игратъ на роялѣ. Она играла, какъ виртуозка, и какъ теперь я вижу ея маленькую фигурку, всю въ черномъ, за роялемъ и передо мной мелькаютъ ее ручки, съ брильянтовымъ колечкомъ на лѣвомъ мизинцѣ. Я полюбила музыку и вскорѣ цѣлые часы стала проводить за роялемъ. Поль также любилъ музыку, хотя не игралъ—любилъ слушать меня, сидя въ нашей большой залѣ, у окна.

Въ Москвѣ мы пробыли не долго. На четвертомъ большомъ балѣ, который былъ въ дворянскомъ собраніи—мнѣ сдѣлалось невыносимо скучно. Я вспоминала грустное задумчивое лицо Поля, когда онъ прощался съ нами.

— Смотрите же, говорилъ онъ, пожимая мою руку:— веселитесь хорошенько и когда возвратитесь — все мнѣ разскажите...

— Отчего же вы не ѣдете съ нами? спрашивала я.

— Мнѣ нельзя. У меня работа.

— Какая?

— Послѣ скажу...

— Все послѣ... Когда же это послѣ?..

И мы уѣхали.

На другой день бала въ дворянскомъ собраніи, я рѣшительно объявила тетѣ, что больше на балы не поѣду.

— Отчего же? спросила тетя. — Ты такъ веселилась. Кругомъ тебя постоянно было столько кавалеровъ.

— Такъ!.. Не знаю отчего, но мнѣ хочется домой, мнѣ скучно безъ Поля.

И я заплакала.

Тетя пристально посмотрѣла на меня и ничего не сказала.

Мнѣ было весело только на первомъ вечерѣ—онъ меня тѣшилъ какъ новинка. Помню, собираясь на него, я долго смотрѣлась въ зеркало и любовалась на себя, на открытыя плечи и голыя руки.

Я точно тетя, думала я... Только молоденькая—притомъ носъ у меня не такой длинный, какъ у тети, а такихъ волосъ у ней нѣтъ и никогда не было,—и я любовалась на мои длинныя и толстыя черныя косы...

Черезъ два дня мы отправились въ Роматищи. Стояли довольно сильные морозы, намъ было тепло въ нашемъ зимнемъ, обитомъ войлокомъ возкѣ. На каждой станціи я торопила чтобы намъ запрягали скорѣй лошадей и цѣлыхъ полторы сутокъ почти ничего не ѣла.

Когда мы подъѣзжали къ Роматищамъ, я услыхала звонки и бубенчики. Прямо на насъ летѣла бойкая тройка. Въ саняхъ сидѣлъ Поль въ его теплой дахѣ.

Помню, я такъ обрадовалась при этомъ свиданіи: мнѣ хотѣлось броситься къ нему на шею, но онъ подошелъ и отворилъ дверцу возка со стороны тети и порывъ мой улетѣлъ; только слезы радости стояли на моихъ глазахъ.

Черезъ нѣсколько дней онъ мнѣ признался, что это по его совѣту меня возили въ Москву для веселья. И когда я удивилась и недоумѣвала, для чего это было сдѣлано,—то онъ мнѣ прямо заявилъ:

— Для того, моя дорогая, чтобы испытать васъ... Здѣсь, въ деревнѣ вы живете монотонной, однообразной жизнью...

— Но вѣдь эта жизнь, вмѣстѣ съ вами, Поль! перебила я его... Ахъ! еслибы вы знали, какъ мнѣ скучны показались эти вечера... въ особенности послѣдній... Театръ!.. Да! Я

дѣйствительно наслаждалась... Ахъ! Какой талантъ этотъ Щепкинъ, или эта Никулина-Косицкая... Но и театръ мнѣ опротивѣлъ... Потому мнѣ кажется, что подлѣ меня не было васъ—моего друга, руководителя, съ которымъ я могла бы подѣлиться... кого могла бы спросить о томъ, чего не понимала.

Онъ ничего не сказалъ и только крѣпко пожалъ мою руку.

И моя жизнь потекла такъ же однообразно, какъ прежде. Я переиграла ему всѣ пьесы. Мы снова перечитали наши любимыя вещи. И оба мы были такъ счастливы и довольны нашей жизнью. Я только чувствовала, что онъ сталъ какъ-то ближе ко мнѣ, роднѣе. Очень часто—по цѣлымъ длиннымъ зимнимъ вечерамъ мы сидѣли гдѣ-нибудь въ уголку, чаще въ диванной. Это было наше любимое мѣсто. Тетя бесѣдовала съ миссъ Бэрдъ. или съ нашимъ сосѣдомъ Иванъ Иванычемъ Лючевскимъ. А мы сидѣли молча и мнѣ какъ-то сладко и жутко было сознавать его близость. Я брала его руку и не выпускала изъ своей руки. Я смотрѣла на его лицо и это лицо мнѣ казалось до того милымъ и близкимъ, что мнѣ ужасно хотѣлось—обнять его и высказать—какъ сильно, безгранично я его люблю. Но онъ обыкновенно тихо выдергивалъ большую сильную руку изъ моихъ рукъ и также тихо отодвигался отъ меня.

Помню одинъ разъ, это было на масляницѣ, на меня напала тоска.

— Это просто тяжесть блиновъ,—объяснялъ онъ.—Вы сколько сегодня изволили скушать?

— Нѣтъ! Поль не шутите!.. Мнѣ просто хочется плакать... Я всѣмъ не довольна... Мнѣ все, весь свѣтъ противенъ...

— И я такъ же противенъ?..

— Ахъ!.. Нѣтъ... Поль! сказала я садясь подлѣ него и взявъ его за руку.—Скажите мнѣ, почему мы не говоримъ другъ-другу «ты»... Мнѣ кажется, что вы мнѣ такой же

родной, какъ и моя тетя... даже... болѣе, чѣмъ тетя, прибавила я шепотомъ. Онъ опять хотѣлъ повернуть это въ шутку.

— Вѣроятно потому не говоримъ «ты», что мы съ вами не пили брудершафтъ... Вотъ сегодня выпьемте и будемте другъ другу «ты» говорить.

— Нѣтъ!.. Нѣтъ!.. Поль... не шутите этимъ... И я вдругъ неожиданно и сама не зная какъ, припала къ его плечу и разрыдалась.

Онъ молча сидѣлъ нѣсколько секундъ, потомъ немного отодвинулся отъ меня и взялъ меня за руку...

— Послушайте, милый мой, дорогой другъ,—сказалъ онъ: —вы знаете, какъ я высоко цѣню вашу дружбу... и я хочу, всей душой и сердцемъ желаю, чтобы жизнь ваша устроилась прочно и правильно... Хотите, я вамъ скажу, почему вамъ скучно?...

— О! Да! Хочу! Скажите!... Скажите, Поль!

— Потому что у васъ нѣтъ цѣли въ жизни, нѣтъ глубокаго занятія, которое поглотило-бы всѣ ваши чувства и мысли... Помните, я указалъ вамъ, какъ дѣлать, чтобы не сердиться? Хотите, я укажу вамъ теперь средство противъ скуки?..

— Хочу! Скажите!

Онъ наклонился ко мнѣ и прошепталъ:

— То-же самое... Если вы будете смотрѣть туда, «dahin» и думать, что тамъ ваше дѣло, настоящее дѣло... то скучать вы не будете! Потому что вы будете любить то, что достойно истинной, глубокой любви...

Я широко раскрыла глаза и пристально посмотрѣла на него, а онъ наклонился къ самому уху и еще тише прошепталъ:

— «Всей душой, всѣмъ сердцемъ, всею мыслію!» Понимаете?

Я задумалась.

— Но какъ-же, Поль, скажите, я могу любить то, чего не знаю?...

— Полноте, дитя мое, это софизмъ и очень безстыдный софизмъ! Спросите у вашего сердца, знаетъ-ли оно, что такое добро и что такое зло? Оно навѣрно вамъ скажетъ: да! И этого мало—въ каждомъ конкретномъ случаѣ оно укажетъ вамъ, куда и какъ идти въ добрую сторону... Вы вѣдь любите музыку, стихи... все прекрасное... доброе... великое. Посмотрите на небо! Неужели васъ не тянетъ въ этотъ безграничный просторъ?.. На эту полную свободу... которая теперь связана нашей узкой здѣшней жизнью?... Куда-же васъ влечетъ? Къ тому, что вы должны любить всѣмъ сердцемъ... .

— Знаете-ли, Поль! Мнѣ кажется, нельзя любить по заказу. Нельзя приказать сердцу, что оно должно это любить, а это не любить... Это неестественно...

— Опять софизмъ, дитя мое... Повѣрте, что ваше сердце свободно... совершенно свободно... любите, что хотите.... Выбирайте сами и знайте, что эта широкая свобода и есть высшій даръ, который данъ нашей душѣ — это свобода духа... Вамъ только указано куда идти... а идти вы можете, куда влечетъ ваше злое или доброе сердце...

Я опять задумалась.

III.

Наступила Пасха. Мы по обыкновенію, вмѣстѣ, въ общемъ шарабанѣ, вчетверомъ, ѣздили къ Христовой заутрени. Въ этотъ годъ я какъ-то особенно усердно и восторженно молилась. Какая-то тихая радость чувствовалась

въ сердцѣ, и на глазахъ невольно, сами собой, выступали слезы.

Мы похристосовались въ церкви. Онъ подарилъ мнѣ маленькое серебряное яичко съ голубкомъ, несущимъ масличную вѣтвь.

— Пусть этотъ голубь,—сказалъ онъ,—будетъ вѣстникомъ мира ..

— Для кого?—спросила я.

— Для вашей души, для вашего сердца.

Онъ почти цѣлый день провелъ у насъ. Пасха была поздняя и деревья начинали уже распускаться, а по всѣмъ лужайкамъ зеленѣла первая травка. Мы ходили съ нимъ по саду; на верхней террасѣ, такъ какъ въ нижнемъ саду нельзя еще было ходить, тамъ было сыро.

— Послушайте,—сказала я—Мнѣ сегодня удивительно хорошо, радостно, и я чувствую, что я люблю все доброе... но вѣдь этого мало... чтобы истинно любить, надо и дѣлать доброе... Любовь точно также какъ и вѣра безъ добрыхъ дѣлъ «мертва есть».

— Что-же? развѣ вы не дѣлаете добрыхъ дѣлъ?... Вы помогаете вашимъ бѣднымъ крестьянамъ... вы лечите ихъ, заботитесь о нихъ. .

Я покачала головой.

— Этого мало!—Сказала я.—Слишкомъ мало... знаете-ли, меня часто тяготитъ мысль—что это наши крестьяне... Какъ-будто они не могутъ быть вольными?.. дѣлать что хотятъ.. быть вполнѣ свободными?

Я никогда не забуду, какъ при этихъ словахъ сильно заблестѣли его глаза. Онъ взялъ мою руку и крѣпко пожалъ ее.

— Это вѣрно! Совершенно вѣрно, мой другъ,—сказалъ онъ шопотомъ.—Но объ этомъ еще не говорятъ...

— Почему-же?—спросила я живо.

Онъ пожалъ плечами.

— Потому что такова сила вещей... Послушайте!—сказалъ онъ и нѣсколько секундъ молча смотрѣлъ на меня.— Я такъ-же хлопочу, чтобы они были свободны. Но это я вамъ только говорю, и вы никому, никому не выдадите этой тайны, потому что это тайна не моя... а многихъ очень хорошихъ людей... Вы даете мнѣ слово въ томъ, что сохраните это въ секретѣ... Не правда-ли?

— Да!—сказала я, и тутъ только вспомнила и удивилась, зачѣмъ онъ такъ часто и внезапно уѣзжалъ, и почему къ нему пріѣзжалъ, по ночамъ, таинственный какой-то господинъ, котораго онъ называлъ своимъ товарищемъ.

— Ахъ!—сказала я. — Какъ-бы я желала работать надъ этимъ дѣломъ вмѣстѣ съ вами... Да! Это дѣйствительно доброе дѣло.

— Это послѣ... послѣ... другъ мой!

— Опять послѣ... да когда-же!.. Боже мой!..

Пришелъ май—ясный и теплый. Весь садъ и вся роща зазеленѣли. Мы постоянно ходили съ нимъ, или по цѣлымъ вечерамъ сидѣли на «зеленой горкѣ», въ тѣни развѣсистыхъ липъ, на маленькой скамейкѣ, и любовались на ясный закатъ, или на свѣтлый мѣсяцъ, который отражался внизу, въ гладкомъ зеркалѣ пруда, обросшаго ветлами и осокорями.

Одинъ разъ,—это было 14-го мая,—онъ пришелъ къ намъ довольно поздно и тотчасъ-же предложилъ мнѣ идти въ садъ. Онъ былъ какъ-то особенно озабоченъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ радостно и торжественно улыбался.

Мы сѣли на нашей любимой скамеечкѣ. Онъ не выпускалъ моей руки изъ своихъ рукъ. Вечеръ былъ необыкновенно тихъ и тепелъ. Все въ природѣ точно спало въ какой-то дремлющей нѣгѣ.

— Поль!—спросила я, — отчего вы сегодня какъ-будто разстроены?

Онъ не вдругъ отвѣтилъ, а какъ-то сосредоточенно посмотрѣлъ на меня и опять улыбнулся.

— Оттого, мой милый другъ... что я сегодня еще разъ убѣдился въ правдѣ того, что всѣмъ давно уже извѣстно— убѣдился въ томъ, что проповѣдывать гораздо легче, чѣмъ исполнять. Васъ я училъ быть спокойной въ неудачахъ... А самъ видите, какой...

— Что-же съ вами случилось, Поль? Какое несчастіе?... Ради Бога скажите! Довѣрьтесь мнѣ...

— Все наше дѣло,—прошепталъ онъ,—пожалуй, окажется несбыточной мечтой...

— Какъ!... вскричала я.

— Такъ! И я теперь стараюсь успокоиться на томъ, что рано или поздно мы все-таки восторжествуемъ... Да еще у меня есть одно, что меня поддерживаетъ въ моихъ трудахъ и въ моемъ горѣ...

И онъ пристально съ любовью и съ той-же загадочной улыбкой посмотрѣлъ на меня. И мнѣ вдругъ показалось, что онъ говоритъ это обо мнѣ. Сердце усиленно и радостно забилось.

— Что же васъ поддерживаетъ Поль? прошептала я.

Онъ не вдругъ и не прямо отвѣтилъ мнѣ.

— Помните, Marie... какъ вы дѣвочкой, назадъ тому десять лѣтъ, прибѣжали ко мнѣ ночью... Когда у меня было тяжелое горе...

— Еще бы не помнить... Очень хорошо помню...

— И съ этого вечера, я далъ себѣ слово быть неизмѣннымъ другомъ и хранителемъ этой дѣвочки... Это было ровно десять лѣтъ тому назадъ 14 мая. Я сказалъ себѣ: можетъ быть сердце этого друга не будетъ принадлежать мнѣ... Оно выберетъ другого... но мое сердце будетъ принадлежать тому дѣтскому порыву, съ которымъ ея маленькое сердце отнеслось къ моему горю.

— Какой же вы скрытный Поль!—вскричала я, краснѣя отъ радости и не вѣря своимъ ушамъ.

— Я слѣдилъ за вами, я руководилъ вами... Мнѣ страшно было потерять васъ... Я теперь могу въ этомъ признаться, но я шелъ по моей дорогѣ неуклонно... Я уговорилъ вашу тетю... увезти васъ на зиму въ Москву... Я не скажу, чтобы это мнѣ было легко... Но я сказалъ себѣ: не надо иллюзій! Если она увлечется... значитъ она можетъ легко подпадать и на нее нельзя положиться...

— Поль! перебила я его.—Вѣдь я поборола это увлеченіе!.. Я съ дѣтства твоя!.. И никто, никто кромѣ тебя не будетъ мнѣ милъ. Я это знаю, чувствую... И даю тебѣ слово, клянусь тебѣ, что никому, кромѣ тебя, я не буду принадлежать!

Онъ обнялъ и крѣпко поцѣловалъ меня. У меня закружилась голова.

— Пойдемъ же теперь къ тетѣ, сказалъ онъ дрожавшимъ голосомъ—и попросимъ, чтобы она насъ благословила... Она уже давно дала мнѣ согласіе на то, чтобы я считалъ тебя своей невѣстой... Будь же офиціально и торжественно моей невѣстой.

— Какъ!.. вскричала я.—И она мнѣ ничего не сказала до сихъ поръ?

— Она не сказала потому, что я этого не желалъ...

— Но вѣдь теперь... Ты во мнѣ нисколько милый не сомнѣваешься? Ни чуточки?!.. Поль! Милый мой!

Онъ пристально, ласково смотрѣлъ на меня и съ улыбкой кивнулъ головой.

И мы пошли къ тетѣ. Она такъ горячо, со слезами обнимала и цѣловала насъ и такъ усердно благословляла.

Цѣлую ночь я не могла спокойно уснуть. Я постоянно просыпалась, вздрагивала и сердце билось съ такой сильной радостью. «Онъ мой! Онъ мой!» шептала я. И заливалась

сладкими слезами, благодарила Бога и почти не вѣрила ни своей радости, ни своему счастію. Мнѣ казалось, что съ этихъ поръ все перемѣнилось... Все смотрѣло радостно и все было полно какого-то особеннаго значенія. Я вдругъ поднялась до Поля, а до этихъ поръ я смотрѣла на него снизу вверхъ, какъ на своего учителя, ментора. Теперь я могу смотрѣть ему въ глаза какъ, равноправный другъ...

Свадьба наша должна была совершиться въ августѣ. Такъ желалъ Поль, ссылаясь на то, что до этого времени не успѣютъ передѣлать его домикъ, или какъ онъ называлъ «наше гнѣздо», которое онъ хотѣлъ отдѣлать все заново съ англійскимъ комфортомъ.

Лѣто неслось и уносилось незамѣтно, какъ ясный день, на крыльяхъ нашей полной, глубокой любви; подходилъ уже конецъ іюля. Но тутъ неожиданно случилось то, чего никто изъ насъ не предвидѣлъ и что надолго отодвинуло желанный день нашего соединенія.

Во время моего дѣтства, со мной бывали легкіе припадки лунатизма. Я обыкновенно не могла заснуть въ лунныя ночи, а если засыпала, то иногда выходила во снѣ въ нашъ садъ или рощу, тихо, какъ тѣнь, и никто изъ домашнихъ не могъ за мной услѣдить. Совершенно непонятнымъ образомъ, я отпирала запертыя двери. Эти припадки продолжались до тринадцати лѣтъ. Затѣмъ появлялись рѣже и рѣже, и всѣ думали, что они меня совсѣмъ оставили, какъ вдругъ, во время послѣдняго лѣта, раза два я опять выходила и одинъ разъ меня нашли уже утромъ спящую у рѣшетки сада Поля—на травѣ. Разумѣется, всѣхъ это сильно перепугало и больше всего моего добраго Поля.—Я опять должна была, по совѣту врачей, обратиться къ холоднымъ душамъ, которые, кажется, мнѣ нисколько не помогали.

Въ это самое время къ намъ въ сосѣдство пріѣхалъ одинъ помѣщикъ, князь Наянзи, который болѣе десяти лѣтъ

не былъ въ своемъ помѣстьѣ. Это помѣстье, большое село Карташи, было отъ насъ въ 12 верстахъ. Что привело его неожиданно въ это село—не знаю, но объ этомъ селѣ и его владѣльцахъ, у насъ въ околодкѣ, ходило много очень странныхъ слуховъ.—Владѣльцы эти были изъ грузинъ—и если не ошибаюсь—владѣли этимъ помѣстьемъ еще со временъ Іоанна Грознаго, который пожаловалъ Карташи ихъ предкамъ, принявшимъ подданство Россіи. Въ то время остался въ живыхъ только одинъ прямой наслѣдникъ этого рода, князь Алимъ Таріелычъ Наянзи, и онъ-то пріѣхалъ теперь въ свое помѣстье. Откуда и зачѣмъ онъ пріѣхалъ, никто не зналъ, но розсказней было много, въ особенности отъ одной помѣщицы, которая кажется затѣмъ и существовала, чтобы разъѣзжать по всѣмъ сосѣдямъ, ближнимъ и дальнимъ, и развозить всякія новости, были и небылицы. Она говорила, что князъ совсѣмъ молодой, красивый, и возвратился откуда-то съ востока, изъ Бухары или Индіи, что у него камердинеромъ какой-то индіецъ—высокій, съ громадной сѣдой бородой, ниже пояса, а казачекъ его совершенно черный негритенокъ: что домъ у него громадный дворецъ, въ которомъ бьютъ фонтаны и играетъ невидимая музыка. Однимъ словомъ, она наговорила столько сказочныхъ чудесъ, что невольно задѣла даже вниманіе нашей семьи, которая вообще мало интересовалась чужой жизнью.

Впрочемъ, во всѣхъ этихъ розсказняхъ была извѣстная доля правды. Князь дѣйствительно возвратился съ востока, кажется изъ Персіи, а громадный домъ его я сама видѣла, когда мнѣ было только десять дѣтъ.—Помню, туда насъ возилъ одинъ помѣщикъ, теперь уже покойный, который былъ хорошо знакомъ съ управляющимъ имѣньемъ князя. Дѣйствительно, домъ былъ похожъ на дворецъ, но онъ поражалъ своимъ безобразіемъ и безалаберностью. Соб-

ственно говоря, это было три низенькихъ дома, одноэтажныхъ, построенныхъ «покоемъ». И изъ этой низенькой, приземистой постройки выдавались нѣкоторыя комнаты, а также высокая, круглая башня и два совершенно отдѣльно стоящихъ минарета. Кругомъ дома былъ громадный садъ, или паркъ, который былъ постоянно въ забросѣ.

Помню — въ домѣ вездѣ было сыро. Комнаты, съ небольшими окнами, смотрѣли тускло и какой-то ароматный, крѣпкій запахъ слышался вездѣ. Помню множество диванов, устланныхъ богатыми коврами. Еще помню кунсткамеру, или музей, какъ называлъ его управляющій. Онъ помѣщался на верху, въ двухъ низенькихъ залахъ.

Меня въ особенности поразила въ этомъ музеѣ—мертвая, отрубленная голова, высохшая и почернѣлая, которая хранилась подъ стекляннымъ колпакомъ и затѣмъ множество безобразныхъ истуканчиковъ. Въ особенности одинъ изъ нихъ врѣзался у меня въ памяти, уродливый, съ огромнымъ животомъ и большимъ, широко открытымъ ртомъ, изъ котораго выдавались громадные клыки. Глаза идола, изъ какого-то восточнаго камня, блестѣли тусклымъ зеленоватымъ блескомъ. Весь этотъ истуканчикъ, стоявшій на возвышеніи, былъ убранъ засушенными ящерицами и змѣями, которыя весьма искусно, и даже изящно, были сплетены въ какую-то чудовищную монограмму.

Прошло нѣсколько дней и пріѣздъ князя началъ уже входить въ колею обыденныхъ, привычныхъ вещей, какъ вдругъ, въ одно утро, онъ подкатилъ, въ блестящемъ англійскомъ кабріолетѣ, къ подъѣзду нашего дома: маленькій черный грумъ ловко соскочилъ съ его сидѣнія, и подалъ человѣку визитную карточку князя. Помню, тетя быстро посовѣтовалась съ миссъ Бэрдъ и рѣшила принять князя, такъ какъ онъ былъ друженъ съ моимъ отцомъ.

По этимъ словамъ, я ожидала встрѣтить уже пожилого

джентльмена, и съ чувствомъ легкаго смущенія стала ожидать его появленія въ нашемъ салонѣ.

Нашъ старый Кузьма приподнялъ портьеру и тихо доложилъ:

— Князь Наянзи.

И онъ явился на порогѣ и низко склонилъ голову. Онъ казался еще совсѣмъ молодымъ человѣкомъ, — невысокій, но стройный, съ необыкновенно блѣднымъ, матовымъ лицомъ, которое дѣлало рѣзкій контрастъ съ его черными вьющимися волосами и большими усами.

Помню, мое первое чувство было—сильное любопытство. Но когда я взглянула на это красивое лицо, то какой-то невольный и безотчетный страхъ на мгновеньѣ сжалъ мое сердце.

Прижимая шапо-клякъ къ груди, князь быстро подошелъ къ тетѣ и сказалъ очень правильно и красиво по-французски:

— Madame, я рѣшился представиться вамъ, какъ родственницѣ моего добраго покойнаго друга, вашего брата.

Тетя представила его мнѣ и миссъ Бэрдъ. При этомъ я въ первый разъ взглянула прямо ему въ глаза, большіе, черные, обведенные длинными рѣсницами и смотрѣвшіе строго изъ-подъ густыхъ, сдвинутыхъ бровей. Мнѣ показалось при этомъ, что въ его взглядѣ, тамъ гдѣ-то, въ глубинѣ, блеститъ такой же тусклый огонекъ, какъ въ глазахъ того маленькаго безобразнаго идола, котораго я видѣла въ его домѣ.

Онъ усѣлся и началъ вспоминать, и хвалить моего отца.

— Какъ же, князь, когда умеръ мой братъ, вамъ вѣдь было не болѣе 12-ти лѣтъ?—сказала тетя.

— О нѣтъ, Madame, мнѣ было гораздо, гораздо болѣе. Я гораздо старше вашего брата.

Тетя удивилась и пристально посмотрѣла на него. Я

тоже мелькомъ взглянула на него, на его профиль. Онъ былъ удивительно красивъ, правиленъ и изященъ.

Онъ разсказывалъ о своихъ далекихъ путешествіяхъ. Онъ кажется объѣздилъ весь свѣтъ.

— Я полагаю,—сказала тетя,—что онѣ надоѣдаютъ, эти далекія путешествія.—Если имѣешь свой тихій уголъ, семейный очагъ, то невольно человѣка тянетъ къ нему. Покой кажется для него милѣй и дороже всего на свѣтѣ.

— О, нѣтъ!—вскричалъ князь.—Я совершенно противоположнаго мнѣнія. Моя натура не любитъ покоя... Да и каждый нормальный человѣкъ живетъ смѣной впечатлѣній. Одно и тоже надоѣдаетъ до утомленія. Будь хоть хуже, да что-нибудь новое.—Если бы въ человѣчествѣ не было этого инстинкта новизны и смѣны, то повѣрьте, что не было бы ничего: ни литературы, ни газетъ,—и всѣ люди давно умерли бы со скуки, какъ мухи.

— О!—сказала миссъ Бэрдъ, по-англійски,—есть много очень старыхъ вещей, которыя вѣчно молоды и никогда не надоѣдаютъ человѣку. Онѣ вѣчны и неизмѣнны какъ истина.

Онъ обратился къ ней и сказалъ на правильномъ англійскомъ языкѣ.

— J beg pardon, miss!—Извините меня, но я не могу согласиться съ этимъ. Истина такъ же мѣняется, съ вѣками, съ развитіемъ народа и съ взглядомъ каждаго человѣка. Если бы этого не было, то у всѣхъ было бы одно убѣжденіе и одна религія.

При этихъ словахъ я не выдержала и вмѣшалась въ разговоръ.

— Какъ!—вскричала я, вы полагаете, что есть другая истинная религія, кромѣ христіанской?..

— Есть много людей, Miss,—сказалъ онъ обращаясь ко мнѣ, которые считаютъ эту религію—заблужденіемъ, а самое

ученіе непрактичной утопіей. И сказавъ это онъ, прямо и пристально посмотрѣлъ на меня. И я снова увидала въ глубинѣ его глазъ какую-то тусклую, зеленоватую искру.— И вдругъ съ ужасомъ почувствовала, что я не могу отвести отъ него моихъ глазъ и что голова моя кружится и сердце замираетъ точно такъ же, какъ оно замирало, когда я долго смотрѣла на небо.

Портьера въ это время приподнялась и тихо вошелъ мой Поль. Тетя познакомила его съ княземъ и представила, какъ моего жениха. Онъ молча поклонился и пожалъ ему руку.

Туманъ слетѣлъ съ меня, какъ только я увидала Поля. Я быстро подошла къ нему, взяла его за руку и увела въ садъ.

— Поль!— сказала я—. Мнѣ страшно! У этого человѣка такіе глаза, какихъ я еще не видала въ моей жизни... Когда онъ сталъ говорить и посмотрѣлъ на меня, то мнѣ сдѣлалось ужасно тяжело и голова закружилась.

— Что же удивительнаго, мой милый другъ,—человѣкъ незнакомый, пріѣхалъ неожиданно, ты слышала о немъ много страннаго, взволновалась, какъ всегда, и сейчасъ вообразила, что у него дурной глазъ...

— Нѣтъ! Нѣтъ! Поль... Я не ошибаюсь, я чувствую, что въ этомъ человѣкѣ есть что-то особенное .. непріятное... Все время пока сидѣлъ у насъ князь, я чувствовала, что мое сердце какъ будто связано и что тутъ подлѣ... есть что то тяжелое, что его связываетъ.

И только тогда я вздохнула свободно, когда князь распрощался и уѣхалъ.

Когда онъ крѣпко жалъ мою руку, я дѣлала необычайное усиліе, чтобы не взглянуть въ его глаза: я ихъ боялась какъ огня.

V.

— Поль! скажи мнѣ, спросила я его, когда князь съ негритенкомъ исчезъ на поворотѣ липовой аллеи. —Скажи мнѣ, правда ли, что есть люди, которые считаютъ Христа не Богомъ, а просто непрактичнымъ утопистомъ?

— Есть разные взгляды, сказалъ онъ задумчиво — и тихо поцѣловалъ мою руку... — а я вотъ что посовѣтую тебѣ, какъ другу моему: вѣрь въ то, что любовь все соединяетъ, и вѣрь въ Христа, какъ въ идеалъ этого единенія, какъ въ Бога, соединяющаго любовью все воедино. Это истина, и все то истина, что заключаетъ въ себѣ какой нибудь общій нравственный, истинно человѣческій принципъ... Спроси свое сердце и оно тебѣ скажетъ, что это истина... А главное—всегда слушайся твоего сердца. Оно чисто какъ зеркало, и пусть ядъ невѣрія никогда не затуманитъ его.

Мало-по-малу я успокоилась, а на другой день все вчерашнее волненіе исчезло. Вечеромъ полная луна встала прямо противъ моего окна. Комната моя, довольно большая, была наверху, и широкое венеціанское окно выходило прямо въ садъ. Я только-что разсталась съ Полемъ, и въ ушахъ моихъ еще звучалъ его голосъ. Я долго и горячо, со слезами, молилась Богу, чтобы Онъ далъ намъ тихое, невозмутимое счастье. Я надѣла легкій пеньюаръ и сѣла у раскрытаго окна. Ночь была душная. Луна, свѣтлая, блестящая, стояла высоко въ небѣ. Я смотрѣла на ея пятна, на эту свѣтлую ландкарту и вспомнила, что когда-то въ дѣтствѣ я слыхала, что если задумать о комъ-нибудь и посмотрѣть прямо на луну, то и этотъ человѣкъ вспомнитъ о васъ и такъ же взглянетъ на луну. Я хотѣла подумать о Полѣ, но вдругъ, совершенно невольно, вспомнила князя. Точно кто-

ымъ чувствомъ, когда
о уставила...
вались ... кладыва...
...го черны... вол...тыя
...кій ... что ...
...ли на меня ...
...взгляда отъ этихъ ...
...натѣ все заволоклось
...о вдругъ въ сосѣдней
...ь. Я вся вздрогнула

...итву, хотѣла закрыть
...внизъ на алейку, ко-
...на, я вдругъ съ ужа-
...-то черную фигуру.
... и какой-то внутрен-
... мнѣ: не смотри!
...подумала, что я только
... и потомъ отвернусь
... кто это тамъ стоитъ

...то свѣтились въ тем-
...вѣтомъ и мгновенно
...очнуться и не могла—
...о, что на одно мгно-
...окоивающая надежда.
... онъ не можетъ под-
...о я это успѣла поду-
...лавно отдѣлился отъ
...очутилась въ саду, на
...лось, заволоклось ту-
...а только его.
...ему, а онъ взялъ меня

...мжка гимназия ... въ гр. София

за руку. Какая-то электрическая дрожъ пробѣжала по рукѣ, по всему тѣлу, дошла до сердца и вдругъ, къ ужасу моему, я почувствовала къ нему могучую, неодолимую симпатію. Я почувствовала, какъ что-то сильное, страстное тянетъ, влечетъ какъ магнитъ меня къ нему, и что я люблю его больше Поля, больше тети, сильнѣе чѣмъ Бога и больше всего на свѣтѣ.

Только одного я боялась: чтобы онъ не отвернулся отъ меня, одного желала, чтобы глаза его были вѣчно прикованы къ моимъ глазамъ, къ моему сердцу. Какая-то музыка, дрожъ нѣги, лилась изъ этихъ глазъ прямо въ мое сердце...

Онъ обнялъ меня, нагнулся ко мнѣ, и впился своими горячими губами въ мои похолодѣвшія губы. Я опять почувствовала, какъ все содрогнулось во мнѣ и невыразимая нѣга, истома, что-то сладостное и жгучее полилось по всѣмъ моимъ нервамъ, по всей моей крови... Я смутно чувствовала, какъ сознанье оставляетъ меня... какъ все покрывается густымъ туманомъ... Мнѣ казалось, что я умираю и вдругъ что-то холодное, какъ ледяныя иглы, закололо мнѣ сердце... Я неистово, дико вскрикнула и... очнулась...

Я лежала въ моей комнатѣ на полу; передъ раствореннымъ окномъ. Тонкій разсвѣтъ разливался по небу и розовая заря покрывала его. Поблѣднѣвшій мѣсяцъ тускло смотрѣлъ мнѣ прямо въ глаза и тихій, утренній вѣтерокъ слегка шевелилъ сторой.

Я поднялась, съ страшной головной болью, шатаясь подошла къ постели и упала въ нее, не раздѣваясь. Въ ушахъ былъ шумъ. Меня качало, точно на лодкѣ; стѣны кружились, полъ волновался подъ моими ногами. Не помню, какъ я уснула,—и какъ долго спала; но солнце было уже высоко, когда я проснулась, съ какой-то тупой, ноющей болью въ сердце и съ тяжестью въ головѣ.

Все, что занимало меня такъ сильно, теперь вдругъ какъ

будто отодвинулось и заволоклось туманомъ. Праздничный, радостный день исчезъ и настали будни и ненастье. Почти цѣлый день я лежала. Напрасно тетя и Поль приставали ко мнѣ и предлагали чѣмъ-нибудь развлечься, куда нибудь прокатиться. Я не сказала имъ,—ни Полю, ни тетѣ—о моемъ странномъ снѣ. Нѣсколько разъ мнѣ хотѣлось имъ все разсказать, но чувство неловкости, стыда и чего-то связывающаго, постоянно останавливало меня. Притомъ, при воспоминаніи объ этомъ снѣ, моему сердцу становилось такъ легко. Оно какъ-то сладостно сжималось и меня тянуло снова увидѣть во снѣ князя и улетѣть вмѣстѣ съ нимъ.

Въ сумерки невольный страхъ напалъ на меня. Поль куда-то ушелъ. Тетя засѣла съ миссъ Бэрдъ въ гостиной. Я бродила по всѣмъ комнатамъ, нѣсколько разъ поднималась къ себѣ наверхъ, но полный мѣсяцъ уже всходилъ и сердце мое замирало отъ страха. И вмѣстѣ съ этимъ страхомъ какое-то сладкое, страстное чувство заставило его биться сильно и порывисто.

Дверь тихо скрипнула. Я вздрогнула и обернулась Вошла няня, подошла ко мнѣ и сѣла подлѣ меня.

— Что ты, моя бѣдняжечка, все бродишь сегодня такая невеселая? сказала она и обняла меня.— Видишь: какой красный всходитъ мѣсяцъ. Сегодня полнолунье.—Она нѣсколько минутъ помолчала и прибавила шепотомъ:—хочешь я подлѣ тебя лягу? Тебѣ не такъ страшно будетъ спать.

Но при этомъ предложеніи сердце во мнѣ какъ-то точно упало, какъ будто вдругъ явилось препятствіе на запретномъ пути къ сладкому плоду.

— Нѣтъ! Нѣтъ!—сказала я.—Я ничего не боюсь; сейчасъ же раздѣнусь и лягу спать.

И я простилась съ ней, зѣвнула и стала раздѣваться. Сонъ началъ клонить меня. Я накинула мой пеньюаръ., свалилась на постель и почти мгновенно заснула.

Не знаю, долго ли я спала, но вдругъ точно кто-нибудь меня тихо толкнулъ въ сердце. Я быстро обернулась и приподнялась. Вся комната была ярко освѣщена мѣсяцемъ. И вся она была, казалось, проникнута свѣтящимся фосфорическимъ туманомъ.

Передо мной стоялъ онъ—князь, закутанный какимъ-то темнымъ плащемъ, или туманомъ—не знаю. И сердце во мнѣ забилось, забилось такъ сильно.

Я потянулась къ нему... Но онъ незамѣтно отодвинулся отъ меня—поднялся, всталъ на окно и тихо поманилъ меня. На одинъ мигъ что-то зашевелилось въ сердцѣ... Поль, тетя, миссъ Бэрдъ... моя добрая няня... все какъ молнія промелькнуло въ моемъ представленіи. На одно мгновенье онъ показался мнѣ какимъ-то страшнымъ темнымъ великаномъ... и въ сердцѣ такъ ясно раздался кроткій, любящій голосъ Поля... «Остановись!..» Но нѣга, истома были такъ сладки, такъ неодолимы... Я быстро, съ распростертыми руками поднялась съ постели, и не знаю какъ очутилась подлѣ него.

Мы вмѣстѣ съ нимъ тихо вылетѣли въ садъ.

Онъ взялъ меня за руку и опять то же содроганье, то же мучительно-сладкое чувство пробѣжало по всѣмъ моимъ нервамъ.

— Радостный!—сказала я шепотомъ.—Ты любишь меня?.. Скажи мнѣ, что ты любишь меня!

Онъ отрицательно повертѣлъ головой и сказалъ какимъ-то глухимъ неслышнымъ шепотомъ, но его голосъ такъ громко раздался въ моемъ сердцѣ:

— Любви нѣтъ! — говорилъ онъ. — Есть одно наслажденье!

И мы быстро понеслись, полетѣли. Воздухъ теплый, ароматный такъ ласково встрѣчалъ насъ. Онъ игралъ моими распущенными волосами.

Подъ нами, тамъ гдѣ-то, въ недосягаемой глубинѣ,

освѣщенной яркимъ мѣсячнымъ сіяньемъ — проносились облака... блестѣло море, чернѣли лѣса, рощи, города, деревни...

Онъ охватилъ меня рукой, и мнѣ такъ хорошо было нестись, летѣть подлѣ него...

VI.

Мы летѣли долго и, наконецъ, начали опускаться. Одинъ городъ, большой городъ, началъ развертываться передъ нами широкой панорамой. Въ немъ было много башенъ, колоколенъ, дворцовъ, монументовъ и небольшая рѣчка текла по срединѣ его—рѣчка, черезъ которую были перекинуты каменные мосты. На одномъ мосту стояла большая конная статуя. Надъ всѣмъ городомъ сіялъ какой-то чудный красноватый свѣтъ. Мы спускались все ниже и ниже... Я уже увидѣла большой садъ... и въ этомъ саду было много людей. Музыка бѣшено играла и всѣ они такъ весело танцовали.

Меня вдругъ неодолимо потянуло туда, къ этому безумному веселью. И мы тотчасъ же очутились посреди этого бала, въ саду.

Множество газовыхъ рожковъ горѣло въ стеклянныхъ тюльпанахъ. На возвышеніи, въ небольшой бесѣдкѣ, былъ оркестръ и веселая, живая музыка лилась непрерывнымъ каскадомъ.

Она, казалось, зажигала неудержимое веселье. Хотѣлось бѣситься, прыгать и хохотать, потѣшаться надъ всѣмъ, что прежде казалось такимъ серьезнымъ, такимъ дорогимъ, милымъ и святымъ.

Множество красивыхъ и нарядныхъ женщинъ плясало вмѣстѣ съ ловкими кавалерами. Они дѣлали уморительные

па, онѣ вскидывали высоко красивыя ноги, такъ что всѣ ихъ платья разлетались. Онѣ прыгали на одномъ мѣстѣ... присѣдали... или уморительно, порывисто, бочкомъ налетали на кавалеровъ. И мнѣ неудержимо захотѣлось также плясать и бѣситься... И не знаю какъ, когда всѣ закричали: «rond! grand rond!»—я уже была тутъ, среди нихъ и, схвативши руку князя и другого кавалера, вертѣлась въ неистовомъ вихрѣ.

Помню, мнѣ было весело и только одного хотѣлось—чтобы все это вертѣлось, прыгало... бѣсилось, хохотало... сильнѣе, скорѣе, быстрѣе.

Вдругъ въ одномъ павильонѣ раздался неистовый шумъ и крикъ... и всѣ бросились туда, и я прежде всѣхъ... Я толкала всѣхъ и пробиралась впередъ... Случилась какая-то пьяная драка.—Одному бутылкой разбили голову и его вели подъ руки, всего въ крови, двое жандармовъ... И помню—видъ потоковъ этой блестящей алой крови произвелъ на меня странное впечатлѣніе. Мнѣ хотѣлось услыхать ея запахъ... Мнѣ хотѣлось больше, какъ можно больше крови, огня, дыму... Мнѣ хотѣлось бить, убивать... зажигать... захотѣлось грома, выстрѣловъ, разрушенія... Но все покрылось въ моихъ глазахъ точно чернымъ покрываломъ и не знаю какъ, мы уже летѣли высоко, высоко надъ всей этой толпой... я летѣла рядомъ съ моимъ темнымъ спутникомъ...

Вмѣстѣ съ нами и кругомъ насъ летѣли черныя тучи... вспыхивали яркія молніи и удары грома раздавались какъ оглушительные выстрѣлы; но я ихъ не боялась. Помню, мнѣ нравилась игра молній. Онѣ съ легкимъ трескомъ какъ змѣйки обвивались прихотливыми зигзагами одна около другой, и чудный, яркій фіолетовый свѣтъ окружалъ ихъ...

Мы летѣли долго, кругомъ насъ ревѣла постоянно буря, казалось, страшный порывистый вѣтеръ несъ насъ. И куда?.. а не знала, я только чувствовала, что тамъ меня встрѣтитъ

дѣйствительное, радостное высокое наслажданіе... тамъ былъ праздникъ.

Наконецъ, вдали показался какой-то тусклый, красноватый свѣтъ, который становился шире и ярче при нашемъ приближеніи... Я начала уже различать землю сквозь черную дымку тучъ, въ просвѣтахъ которыхъ открывался яркій лунный свѣтъ. Мнѣ казалось, что тогда былъ день, но только не бѣлый. Свѣтъ его былъ какой-то особенный... красноватый, пріятный, раздражающій и радостный свѣтъ... Ближе, ближе!.. и я уже издали услыхала веселые крики и шумъ и какое-то бѣшеное, громкое шаривари и пѣніе, отъ котораго задрожали такъ весело всѣ мои нервы.. и мы влетѣли въ тучи дыма... Громадная площадь развернулась передъ нами, и на ней горѣли все огни, огни—безъ конца... И на самомъ горизонтѣ эти огни тонули въ туманѣ. Это были маленькіе костры и въ дыму ихъ быстро мелькали, кружились пары... Это были удивительно красивыя женщины и какіе-то бронзоваго цвѣта мужчины... Костюмъ этихъ женщинъ былъ легокъ и прозраченъ, но отъ этого онѣ казались еще красивѣе... Мы оба бѣшено ринулись въ безумную пляску и начали кружиться быстрѣе вихря, подъ пѣніе какой-то странной пѣсни съ акомпаниментомъ бѣшеныхъ криковъ, которые раздавались какъ разъ въ тѣ мгновенія, когда общее веселье, казалось, начинало колебаться и падать...

Мнѣ было страшно весело и пріятно... Какая-то нѣга разливалась по всему тѣлу и щекотала мнѣ сердце... Передо мною прыгали, скакали и кувыркались лягушки, уморительные мопсы... бараньи и козлиныя головы качались во всѣ стороны на длинныхъ шестахъ... Свиньи хрюкали такъ мелодично, летучія мыши, совы носились повсюду. Я никогда не видала ничего причудливѣе и страннѣе этого удивительнаго маскарада...

Когда веселье достигло, казалось, высшей точки, вдругъ раздался страшный ударъ грома и всѣ засуетились. Я услыхала со всѣхъ сторонъ неистовые крики и всѣ протягивали ко мнѣ руки и кричали:

— Ведиде! Ведите!.. Пора!.. Пора!.. Пора!.. И меня повели цѣлой гурьбой съ крикомъ и шумомъ, гамомъ. Повели куда-то на гору... Казалось мнѣ въ тьму, но эта тьма разступалась... освѣщалась золотымъ блескомъ... Я увидала, что мы идемъ по цѣлымъ грудамъ червонцевъ. И отъ нихъ идетъ яркій золотой свѣтъ, который звенитъ такой чудной музыкой. Мы поднялись на самую вершину, на которой лежали грозныя тучи и изъ нихъ сверкали ослѣпительныя молніи... Тучи разъсѣялись и я увидала того самаго идола, котораго я видѣла еще маленькой въ музеѣ князя. Но только этотъ идолъ былъ громадный—великанъ: и также вокругъ него заплетались змѣи и ящеры... Онъ страшно ворочалъ громадными глазами, отъ которыхъ во всѣ стороны летѣли цѣлые потоки яркаго зеленаго свѣта... Но это былъ особенбенный раздражающій свѣтъ... Передъ идоломъ былъ жертвенникъ изъ мертвыхъ, свѣже-отрубленныхъ окровавленныхъ головъ, изъ которыхъ текла кровь струйками по землѣ и эту кровь съ жадностью лизали всѣ мопсы и летучія мыши, свиньи и козлы и даже тѣ ящерицы и змѣи, которыя окружали идола. Онъ сидѣлъ гордо, выставивъ впередъ свой огромный животъ и растопыривъ длинные пальцы, съ кривыми когтями. На жертвенникѣ передъ нимъ горѣло тусклое, небольшое синеватое пламя. Меня подвели къ этому самому жертвеннику.

Я оглянулась. Съ лѣвой руки у меня стоялъ князь и странно!.. его лицо теперь показалось мнѣ такъ сходно съ лицомъ идола... Но все-таки это лицо не казалось мнѣ отталкивающимъ. Напротивъ, я видѣла въ немъ какія-то милыя, удивительно, симпатичныя черты. И вдругъ опять въ моемъ

сердце ясно отчетливо раздались его слова, гордыя и повелительныя.

— Поклонись силѣ наслажденія—говорилъ мнѣ его голосъ,—и принеси жертву князю міра сего, повелителю людей!

И онъ указалъ мнѣ на мою грудь.—На этой груди висѣлъ крестикъ, который былъ надѣтъ мнѣ при крещеніи. Онъ ничего больше не прибавилъ—Но я ясно почувствовала, что мнѣ надо снять этотъ крестикъ и бросить въ синеватое пламя.

Сердце во мнѣ похолодѣло и... содрогнулось. Я невольно отвернулась. Ужасъ сдавилъ мнѣ дыханіе. Мнѣ хотѣлось бѣжать, но всѣ окружавшія меня чудовища вдругъ захохотали и уставили на меня костлявые, длинные пальцы. Онѣ смѣялись съ такимъ пренебреженіемъ, съ такой ненавистью и злобой ко мнѣ... И князь, казалоеь мнѣ, смотритъ на меня съ такимъ презрѣніемъ. И его голосъ снова раздался въ моемъ сердцѣ:

— Принеси добровольно жертву, говорилъ онъ.

Я пристально смотрѣла на него. Изъ его глазъ лился прямо въ сердце мнѣ такой повелительный, зовущій свѣтъ, что сердце мое, душа моя, все существо мое въ страстной неодолимой нѣгѣ потянулось къ нему. На мигъ, смутно, въ моемъ воспоминаніи промелькнули опять Поль, моя тетя, Мисъ Бэрдъ, моя няня, всѣ мои домашніе. Они сверкнули какъ бѣлый свѣтъ, какъ свѣтлая молнія въ моемъ сердцѣ. Какой-то внутренній голосъ, голосъ Поля, сказалъ мнѣ явственно:

— Остановись, не бросай! Слушайся своего сердца!

Но рука какъ-то невольно протянулаеь къ кресту, я сорвала его съ шеи и кинула въ огонь.

Крикъ, шумъ, оглушительныя рукоплесканья загремѣли кругомъ, пламя на жертвенникѣ взвилось высоко и пахнуло

прямо въ широко-раскрытый ротъ чудовища... Я вскрикнула и очнулась...

VII.

Заря алѣла на востокѣ... Ясное солнце всходило. Я лежала надъ широкой рѣкой на голой, песчаной горѣ. Передо мной, внизу, на холмахъ былъ разбросанъ красивый большой городъ, весь утонувшій въ зелени. Въ немъ было много церквей и солнце блестѣло яркими звѣздочками на ихъ крестахъ. Съ ихъ колоколенъ раздавался призывный про тяжный звонъ и каждый ударъ колокола отдавался въ сердцѣ моемъ мучительной болью.

Я металась и стонала.

Какой-то свѣтлый бѣлый туманъ, или облако тихо спустилось ко мнѣ. Я съ ужасомъ почувствовала, какъ это свѣтлое облако обхватываетъ меня, я различала въ немъ какую-то фигуру въ бѣломъ, серебристомъ одѣяніи. Святая митра блестѣла на ея главѣ, свѣтлый ореолъ окружалъ эту голову.

Но въ то-же самое мгновеніе порывъ вихря окуталъ всю меня черной тучей и въ моемъ сердцѣ только промелькнули какія-то непонятныя, страшныя слова... И я поднялась на воздухъ. Что-то темное помчало меня съ невѣроятной быстротой. Голова закружилась и я на мгновеніе потеряла сознаніе...

Когда я очнулась, я увидала себя въ моей комнатѣ. Я стояла на воздухѣ, а передо мной внизу на кровати лежала другая *я*... Въ такомъ-же точно бѣломъ кружевномъ пеньюарѣ... У нея глаза были, закрыты и наклонясь надъ ней, плакала и рыдала моя тетя. Плакала тутъ-же на стулѣ миссъ Бэрдъ и Поль стоялъ у печки, съ такимъ блѣднымъ,

исхудалымъ лицомъ. И были еще какіе-то люди... Но я не могла узнать, различить кто это. Меня вдругъ неудержимо потянуло къ этой другой—*бѣлой* и блѣдной, которая лежала передо мной, я бросилась и слилась съ нею. Глаза мои мгновенно открылись и я дико посмотрѣла на всѣхъ; тетя радостно вскрикнула.

— Очнулась!—проговорила она сквозь слезы. И миссъ Бэрдъ, и Поль всѣ бросились ко мнѣ... Тетя цѣловала мои руки, глаза...

— Погодите,—говорилъ Карлъ Ивановичъ, нашъ домашній докторъ,—не тревожьте ее теперь! Покой ей, безусловный покой весьма необходимъ

И всѣ отошли, и я осталась одна. Я усиленно старалась сообразить, примомнить, что со мной было. Но я помнила только одно: красивый городъ надъ рѣкой и желтую песчаную гору.

— Это вѣрно было во снѣ,—сообразила я и спросила тетю, что было со мной.

— Ты со вчерашней ночи лежишь безъ движенія и безъ дыханія... Мы всѣ измучились...—И она опять заплакала, а я изъ всѣхъ силъ моей души старалась припомнить, что со мной было и... не могла. Временами, какъ будто, что-то всплывало, прояснялось въ моей памяти, но тотчасъ-же все заволакивалось туманомъ и я закрывала глаза въ полномъ безсиліи. Мнѣ кажется, нѣтъ ничего тяжелѣе, непріятнѣе, какъ сознавать полную невозможность вспомнить то, что за минуту, за двѣ такъ сильно волновало всю душу...

Все, что я теперь разсказала, все это я припомнила потомъ, въ одну минуту ужаснаго просвѣтлѣнія. Это случилось скоро, черезъ нѣсколько недѣль. А теперь я только чувствовала, что стала какъ-бы совсѣмъ другая. Подошелъ ко мнѣ Поль. Я посмотрѣла на него и отвернулась. Его лицо показалось мнѣ непріятнымъ, отталкивающимъ.

— Мэри!—сказалъ онъ,—дорогая моя! Что съ тобой!— Я ничего не отвѣтила.

— Уйдемте всѣ!..—сказала шопотомъ тетя. — Можетъ быть, она уснетъ и ей лучше будетъ.

— Нѣтъ!—вскричала я и быстро встала съ постели.— Нѣтъ, я не буду спать... Тетя, пошлите мнѣ Дуню. Я одѣнусь...

И всѣ вышли. Я надѣла яркое платье, сольферино, съ короткими рукавами и открытымъ лифомъ. Надѣла брильянтовыя серги и collier. Въ зеркалѣ я видѣла свое исхудалое лицо, потрескавшіяся губы. Внутри у меня былъ жаръ, два яркихъ пятна выступили на щекахъ и глаза мои горѣли. Я распустила свои черныя косы.

Тетя вошла ко мнѣ и ахнула.

— Зачѣмъ-же это ты такъ наряжаешься? Точно на балъ.— удивилась она.

— Онъ пріѣдетъ, тетя... какъ-же мнѣ не наряжаться?

— Кто пріѣдетъ?

— Да онъ...—и я притопнула ногой.—Развѣ вы не знаете, кого я люблю... князь Наянзи...

Она ничего не отвѣтила. Она широко раскрыла глаза и тихо вышла вонъ. За дверьми я услыхала восклицанія, громкій шопотъ и тихія всхлипыванія. Я быстро двинулась къ двери и распахнула ее.

— Подите вы всѣ вонъ!—вскричала я.—Вы мнѣ ужасно надоѣли! Вонъ! Вонъ!.. — И я сильно затопала ногами.

Всѣ бросились внизъ, торопясь сойти по лѣстницѣ. Черезъ часъ и я сошла внизъ. На лѣстницѣ я встрѣтила Поля и Карла Ивановича. Они отстранились отъ меня.

— Вы видите!—прошепталъ Поль Карлу Ивановичу.

Я вошла прямо въ гостиную и подошла къ окну. Сквозь это окно была видна аллея, по которой долженъ былъ, казалось мнѣ, пріѣхать князь. И дѣйствительно, въ часъ по-

казался его экипажъ. Онъ ѣхалъ въ томъ-же кабріолетѣ и тотъ же негритенокъ сопровождалъ его, въ видѣ грума. Кабріолетъ подъѣхалъ къ подъѣзду, и я услыхала какой-то шумъ и громкій говоръ въ передней. Мнѣ представилось, что его не пускаютъ ко мнѣ, что ему отказываютъ.

Я быстро, бѣгомъ бросилась въ залу, въ переднюю и распахнула дверь.

Князь стоялъ въ пальто. Поль говорилъ ему что-то съ жаромъ.

— Идите! Идите, князь!...—закричала я.—Я дома, я здорова и очень рада васъ видѣть...

Онъ сбросилъ пальто, подошелъ ко мнѣ. Я быстро и крѣпко схватила его за руку. Я ввела его въ залу и въ гостиную, гдѣ сидѣли тетя и миссъ Бэрдъ. Онѣ обѣ поднялись съ своихъ мѣстъ и съ недоумѣніемъ смотрѣли на насъ.

Я прямо глядѣла ему въ глаза. Въ нихъ не было того блеска, тѣхъ зеленоватыхъ искръ, которыя такъ пугали меня прежде. И всѣ черты лица его были удивительно милы и симпатичны.

— Вотъ князь опять пріѣхалъ къ намъ,—сказала я.—Не правда-ли, тетя, это мило съ его стороны?..

Въ это время вошли Поль и Карлъ Ивановичъ.

— Я пріѣхалъ узнать о вашемъ здоровьѣ... До меня долетѣлъ слухъ, что вы вдругъ опасно занемогли.

Я захохотала какимъ-то дикимъ смѣхомъ, такъ что миссъ Бэрдъ невольно вздрогнула.

— Это неправда; тетя, скажи, что это неправда... Я, напротивъ, чувствую себя удивительно здоровой и такъ рада видѣть васъ.

И мы усѣлись вдвоемъ на маленькомъ диванчикѣ и начали тихій разговоръ. Я смотрѣла на него такъ пристально. Я любовалась имъ и не замѣчала, какъ постепенно тихо,

незамѣтно я теряю сознаніе и погружаюсь въ глубокій сонъ. Сперва исчезла комната, въ которой мы сидѣли, затѣмъ стали исчезать тетя, Поль, миссъ Бэрдъ. Но его я еще видѣла и въ особенности его глаза. Наконецъ, и они исчезли...

Когда я очнулась, былъ уже вечеръ. Я лежала переодѣтая въ моей постелѣ. Вошла тетя на цыпочкахъ, подошла ко мнѣ. А я смотрѣла на нее во всѣ глаза.

— Ты опять заснула?.. сказала она. Но сонъ твой такой былъ тихій... спокойный. Спи!

Вошелъ Поль. Я протянула ему руку и тотчасъ-же отдернула, какъ только онъ мнѣ пожалъ ее. Мнѣ показалась рука его удивительно холодной и жесткой.

И съ этихъ поръ долгое время я жила какъ во снѣ. Напрасно и тетя, и мой добрый Поль старались ласками возвратить меня къ себѣ. Я не отвѣчала на ихъ ласки и мнѣ удивительно тяжело было отвѣчать на всѣ ихъ вопросы. Я повиновалась всему, что они мнѣ совѣтовали и указывали, повиновалась какъ автоматъ, безсознательно, и весь мой умъ былъ направленъ на одинъ мучительный вопросъ. Я припоминала и не могла вспомнить, что со мной было, что я видѣла въ тѣ двѣ страшныхъ ночи, послѣ которыхъ во всемъ существѣ моемъ вдругъ произошла такая рѣзкая перемѣна.

Я забивалась куда-нибудь въ темный уголъ, и по цѣлымъ часамъ сидѣла неподвижно, какъ истуканъ, чувствуя, что вся я, какъ будто, связана чѣмъ-то невидимымъ, незамѣтнымъ, но чего нельзя ни развязать, ни распутать, ни разорвать... И все время усиленно наморщивъ брови, я старалась припомнить, что со мной случилось. Поль, тетя и миссъ Бэрдъ постоянно отрывали меня отъ тяжелой мучительной думы, постоянно ухаживали за мной и только раздражали.

Черезъ недѣлю, или двѣ, не помню, черный грумъ при-

несъ отъ князя записку. И прежде чѣмъ онъ подалъ эту записку, я сбѣжала опремѣтью внизъ, въ гостиную и вскричала:

— Ѣдемте, тетя! Непремѣнно ѣдемте! Вѣроятно онъ зоветъ всѣхъ насъ... Нехорошо, глупо отказать ему.

Въ запискѣ князь дѣйствительно приглашалъ всѣхъ насъ къ себѣ на завтракъ, которымъ онъ хотѣлъ отпраздновать свое возвращеніе въ родовое помѣстье.

«Я надѣюсь, писалъ онъ, что это благотворно подѣйствуетъ на вашу больную, которой потрудитесь передать мой глубокій поклонъ, равно какъ и почтеннѣйшему жениху ея».

Къ Полю онъ послалъ отдѣльное приглашеніе, которое грумъ передалъ тутъ же, такъ какъ Поль сидѣлъ у насъ. Онъ было возмутился этой безцеремонностью, но я вдругъ разсердилась и начала очень колко выговаривать ему.

— Вы просто ревнуете! кричала я, — къ этому образованному, просвѣщенному и такъ много испытавшему человѣку... При томъ, это былъ другъ моего покойнаго отца...

Я видѣла, что тетя, подлѣ которой сидѣлъ Поль, тихонько толкнула его и прошептала чуть слышно:

— Не раздражайте ее! — Я ясно слышала этотъ совѣтъ, такъ какъ со времени моей болѣзни слухъ мой сталъ поразительно чутокъ.

И всѣ рѣшили, что необходимо ѣхать и отвѣтили князю благодарностью и обѣщаніемъ, что мы непремѣнно будемъ къ назначенному имъ часу.

VIII.

Помню, что день былъ ясный, сіяющій и жаркій. Мы вчетверомъ отправились въ коляскѣ. Полю, какъ я догадывалась, было непріятно ѣхать, но онъ очевидно ѣхалъ по-

тому, что боялся оставить меня на попеченіи тети и миссъ Бэрдъ. Съ самаго начала моей болѣзни и до конца онъ былъ моей вѣрной, нѣжной, любящей нянькой.

Всю дорогу мое сердце усиленно билось и постоянно меня тянуло туда. Мнѣ казалось, что мы ужасно тихо ѣдемъ и я просила погонять лошадей, хотя онѣ давно уже были всѣ въ мылѣ.

Наконецъ, мы въѣхали въ распахнутыя ворота чугунной рѣшетки и я невольно ахнула. По обѣимъ сторонамъ аллеи тянулись рабатки, полныя самыхъ разнообразныхъ георгинъ и всевозможныхъ розъ. Цѣлая шеренга слугъ, въ какихъ-то оригинальныхъ восточныхъ костюмахъ стояла у дома.

Князь встрѣтилъ насъ у входа подъ широкимъ навѣсомъ. Онъ отворилъ дверцы съ моей стороны и я прямо выпрыгнула ему на руки. Бережно и почтительно онъ поставилъ меня на землю и поздоровался со всѣми, разсыпаясь въ благодарности.

Только-что мы вошли въ домъ, какъ заиграла радостная, веселая музыка—казалось, пѣлъ какой-то большой согласный хоръ и мнѣ было удивительно весело.

Князь повелъ насъ показывать садъ. Онъ былъ громадный и въ немъ не было той дичи, заброшенности, которая такъ поразила меня, когда я видѣла его въ первый разъ, еще ребенкомъ. Вездѣ были широкія аллеи громадныхъ, тѣнистыхъ деревьевъ, цвѣтущія лужайки, клумбы красивыхъ цвѣтущихъ кустовъ.

Изъ сада мы снова вернулись въ домъ и князь повелъ насъ по этому дому. Въ немъ была невиданная роскошь. Но все было какъ-то мрачно, вѣроятно отъ слабаго освѣщенія изъ небольшихъ узенькихъ оконъ.—И вездѣ былъ тотъ же крѣпкій запахъ, который такъ поразилъ меня въ дѣтствѣ, но этотъ запахъ теперь мнѣ казался удивительно пріятнымъ.

Въ одной угловой комнатѣ была чугунная витая лѣстница и эта лѣстница вела на башню. Увидѣвъ ее, мнѣ вдругъ захотѣлось взбѣжать на нее, и я полетѣла вверхъ. Князь быстро пошелъ за мной. На половинѣ лѣстницы у меня закружилась голова и я не помню какъ, вдругъ, очутилась наверху. Князь какъ будто внесъ меня.

Весь верхъ былъ стеклянный и изъ его оконъ—балконовъ далеко открывался видъ на все окружающее. Здѣсь былъ такой просторъ, что я, помню, всплеснула руками отъ восхищенія.

— Ахъ, какъ здѣсь хорошо! вскричала я.—Просторно.

— Хорошо, сказалъ онъ, потому что чувствуешь свою власть надъ пространствомъ... и наслаждаешься ею...

— Развѣ въ власти есть наслажденіе?—спросила я....

— Самое высшее наслажденіе—есть наслажденіе властью, а жизнь каждаго есть постоянное стремленіе къ наслажденію: это старая, общеизвѣстная истина...

Въ это время внизу раздался голосъ тети.

— Я кажется не взойду. У меня уже кружится голова. Поль! Дайте пожалуста мнѣ вашу руку.

Они тихо поднялись наверхъ и начали восхищаться, также какъ я, широкой понорамой.

Но всѣмъ намъ было тѣсно на небольшой площадкѣ этого стекляннаго фонаря. Меня оттѣснили и я должна была спуститься на одну ступеньку.

Я взглянула внизъ. На половинѣ лѣстницы была маленькая площадка, выступъ—и на немъ высокая дверь, завѣшенная черной драпировкой, на которой были вышиты золотомъ какія-то слова.

И вдругъ меня неудержимо потянуло заглянуть за эту драпировку. Я быстро перескочила перильца, отдѣлявшія меня отъ площадки, подошла къ двери и приподняла занавѣску. За ней былъ полумракъ, освѣщенный слабымъ, тус-

клымъ красноватымъ огнемъ. Я подалась впередъ. На возвышеніи стоялъ идолъ. Тотъ самый идолъ, котораго я видѣла въ дѣтствѣ, въ музеѣ князя. Передъ нимъ на трехъ черепахъ стояла широкая чаша, въ которой горѣло тусклое синевато-красное пламя. Прежде всего мнѣ бросилось въ глазаа лицо идола: его глаза, блестѣвшіе слабымъ зеленоватымъ огонькомъ, а затѣмъ, сердце мое невольно сжалось отъ ужаса:—я увидѣла на груди идола мой крестикъ.

И въ то же мгновеніе, точно яркая молнія освѣтила мою память, мое сознаніе... Предо мной отчетливо вырисовалось мое жертвоприношеніе. Идолъ принялъ громадные размѣры Пламя вспыхнуло, поднялось, освѣтило всѣ предметы и я съ страшнымъ, раздирающимъ крикомъ упала на полъ.

Какъ сквозь сонъ я помню дикій хохотъ, шумъ, крики...

И затѣмъ все исчезло изъ моего сознанія.

Я очнулась снова въ моей комнатѣ. Окна были занавѣшены зелеными сторами. Въ комнатѣ былъ противный запахъ какими-то лѣкарствами.

Я быстро поднялась и сѣла на постели. Вокругъ меня опять были всѣ мои семейные, родные... Мнѣ припомнилось все, припомнилось, какъ чудный, обаятельный сонъ, а вокругъ меня была противная обстановка и этотъ Поль, мой нареченный, которому я должна была отдать мое сердце... Но вѣдь это сердце принадлежало уже другому, который завладѣлъ не только имъ, но и всей душой моей. Меня ничто не привлекало, не тянуло къ моимъ роднымъ.

Мнѣ было тяжело подумать, что я должна имъ во всемъ признаться, мнѣ было стыдно и злоба и досада душили меня.—«Да зачѣмъ же, въ чемъ сознаваться?»—думала я.

Я снова легла, отвернулась къ стѣнѣ и упорно молчала на всѣ ихъ вопросы.

Прошло нѣсколько дней... Я молча вставала, надѣвала черное платье, распускала волосы и садилась въ уголъ, сло-

живъ руки. Поль, тетя, миссъ Бэрдъ, моя добрая няня, всѣ наперерывъ ухаживали за мной, старались уговорить меня, добиться отвѣта, но я упорно молчала и только качала головой.

Разъ, не помню, на четверный, или на пятый день, я была въ моей комнатѣ и случайно взглянула на небольшой образъ, нерукотвореннаго Спаса, который висѣлъ надъ моей кроватью.

Мнѣ онъ показался какимъ-то страшнымъ... тяжелое чувство тоски, отчаянія сдавило мнѣ грудь. Я быстро вскочила съ постели, неистово закричала и тутъ-же упала и захохотала. Со мной сдѣлались конвульсіи. На губахъ выступила пѣна.

Пришелъ праздникъ, кажется, Успенье. Тетя и няня меня уговорили съѣздить въ церковь, помолиться. Я, наконецъ, молча кивнула головой. Меня одѣли и повезли.

Я тихо, ни разу не перекрестясь, простояла почти всю обѣдню, и когда священникъ вынесъ чашу съ Святыми Дарами, я вдругъ застонала, заметалась, грохнулась на полъ и захохотала. Со мной опять сдѣлались конвульсіи. Я начала биться объ полъ и кричать...

Съ трудомъ могли овладѣть мною и увезли домой.

Съ тѣхъ поръ потянулись цѣлые мѣсяцы, безъ просвѣта, въ этомъ безнадежномъ, мрачномъ состояніи. Я постоянно была въ какомъ-то забытьи и упорно молчала. Передо мной двигались люди, говорили со мной. Я ничего не замѣчала. Кормили, поили, одѣвали меня,—я оставалась ко всему безучастна.

Только каждый мѣсяцъ, во время полнолунія, на меня находила страшная тоска. Тогда картины тѣхъ наслажденій, съ которыми познакомилъ меня или моего двойника ужасный князь, являлись мнѣ какъ живыя и меня тянуло туда, къ этому, казалось мнѣ, источнику наслажденія. Я металась,

тосковала, стонала и билась объ полъ. Во мнѣ являлась такая страшная сила, что пять высокихъ, здоровыхъ бабъ не могли со мной сладить и уложить меня въ постель.

IX.

Въ апрѣлѣ меня повезли въ Москву. Поль поѣхалъ съ нами. Мы совѣтовались со многими докторами, съ Иноземцевымъ, съ Овeромъ. Иноземцевъ приписалъ это раздраженію брюшного нерва. Оверъ находилъ мое психическое состояніе безнадежнымъ и совѣтовалъ помѣстить меня въ больницу Всѣхъ Скорбящихъ. Большая часть докторовъ находила у меня обостренную истерію, соединенную съ расположеніемъ къ эпилепсіи.

Меня пробовали лѣчить гальваническими токами, металлическими пластинками и даже магнетизмомъ. Послѣднее лѣченіе доставило мнѣ нѣкоторое облегченіе. Я стала какъ-то бодрѣе и аппетитъ мой улучшился, или лучше сказать, онъ снова появился. Лунатизмъ мой принялъ прежнюю, легкую форму, но весь мой психическій складъ и моя мозговая машина остались тѣ-же и положительно отказывались служить мнѣ.

По прежнему я просиживала цѣлые дни молча, угрюмо сдвинувъ брови, по прежнему я чувствовала гнетъ, страшную тяжесть въ груди. Точно какой-то комъ постоянно подкатывался къ горлу и душилъ меня. По прежнему я была безучастна ко всѣмъ и всему и хладнокровно слушала мою бѣдную тетю, когда она уговаривала, упрашивала меня сказать хоть одно слово. Я равнодушно смотрѣла на ея исхудалое лицо, на ея заплаканные глаза. Я безучастно принимала всѣ ласки и уходъ за мной, я не могла понять, насколько тяжело для нихъ, для всѣхъ близкихъ и родныхъ,

мое состояніе и какъ страшно они измучились, ухаживая за мной.

Когда пришли теплые, ясные вечера мая, Поль обыкновенно отводилъ меня на наше любимое мѣсто, на «зеленой горкѣ» и усаживалъ на скамейку. Онъ насильно склонялъ мою голову къ его плечу и я лежала послушно, какъ ребенокъ, и сердце во мнѣ молчало, точно окаменѣло, а тяжелая, безвыходная тоска постоянно сжимала всю грудь мою. Мнѣ все казалось, что вотъ, вотъ... кто-то придетъ и возьметъ и поведетъ меня. Или казалось мнѣ, что тутъ-же, сейчасъ-же, рядомъ со мной, вдругъ провалится земля и я повисну надъ зіяющей бездной... Сердце страшно замирало во мнѣ и руки холодѣли...

Одинъ разъ вечеромъ Поль, сидя подлѣ меня на скамейкѣ и обнявъ меня одной рукой, вдругъ закрылъ другой рукой глаза и нервно, истерически зарыдалъ. Я вся вздрогнула, застонала, вскочила и бросилась опрометью бѣжать отъ него, такъ что онъ насилу могъ догнать меня, на самомъ берегу пруда, куда меня неудержимо тянуло броситься.

Ночью, въ моей комнатѣ постоянно спали двѣ горничныя. Онѣ тщательно прятали отъ меня спички, потому что разъ я подожгла сторы и пологъ постели и чуть не сгорѣла. Отъ меня прятали все острое, не давали за столомъ ножей и вилокъ. Смотрѣли постоянно, чтобы я не проглотила гвоздей, иголокъ или булавокъ, или не выпила бы чего-нибудь вреднаго. Но одинъ разъ за мной не досмотрѣли и я выпила весь керосинъ изъ лампы. Со мной едва отводились и спасли мнѣ жизнь. Въ другой разъ я сдѣлала петлю изъ шнуровъ моей портьеры и повѣсилась на отдушникѣ. Изъ петли меня вынули, когда я уже начала хрипѣть и задыхаться. И странно! Я продѣлывала всѣ эти покушенія на самоубійство совершенно покойно, безсознательно, а между тѣмъ, мысль о смерти до того меня пугала, до того была

противна и тягостна моему представленію, что при одной этой мысли я дрожала и холодный потъ выступалъ у меня на лбу и на всемъ тѣлѣ. Пришло лѣто, душное, жаркое. Почти каждую ночь была гроза и во все время грозы я металась и стонала. Мнѣ казалось, что каждая молнія нарочно сверкала для того, чтобы поразить меня, и когда раздавался ударъ грома—я замирала.

Почти съ каждымъ днемъ положеніе мое становилось хуже и хуже. Я не могла уже, наконецъ, подняться съ постели. Дни и ночи я не могла уснуть, я лежала, отвернувшись къ стѣнѣ, и тихо стонала. Въ это время доброй моей няни не было со мной. Она ушла въ Кіевъ, съ твердой вѣрой, что она вымолитъ мнѣ у кіевскихъ угодниковъ здоровье и силы. Она вернулась въ половинѣ іюня, поздно вечеромъ, или лучше сказать ночью. Она прямо прошла ко мнѣ наверхъ. Подошла къ моей постели, нагнулась надо мной и сказала шопотомъ:

— Здравствуй, моя желанная! Я принесла тебѣ благословенье отъ Ѳеодосія Печерскаго.

Я перестала стонать и быстро обернулась. Что-то легкое, освѣжающее, казалось, повѣяло на меня, точно то свѣтлое облако, которое спускалось ко мнѣ тогда, во время ужаснаго сна... И мнѣ казалось, что это облако было св. Ѳеодосій.

Я смотрѣла съ какой-то внутренней радостной дрожью на небольшой деревянный рѣзной образокъ, который держала няня въ рукахъ.

— Перекрестись и поцѣлуй его! — сказала она, и я силилась приподнять руку и не могла. Няня взяла ее и перекрестила меня. Затѣмъ медленно, торжественно, благословила меня образкомъ. И вдругъ у меня въ груди что-то растаяло, распустилось. Мнѣ стало удивительно легко, покойно... Я не вѣрила себѣ, я думала, что вотъ-вотъ сей-

часъ снова вернется эта ужасная, убійственная тяжесть. Но на мѣсто ее явилась удивительная тишина. Я начала тихо всхлипывать, какъ маленькій ребенокъ, громче, громче, я обхватила мою няню, я припала къ ея груди и зарыдала, зарыдала... Я цѣловала ея сморщенныя щеки... Мнѣ казалась она какимъ-то вѣстникомъ міра, цѣлителемъ моего сердца и несчастной, измученной души моей.

Она присѣла на мою кровать, она обхватила меня какъ маленькую, и припавъ къ ея груди я долго, но тихо плакала.

— Ненаглядная моя красавица,—шептала няня, цѣлуя меня.—Какъ исхудала, бѣдняжечка!..

Я чувствовала, что съ слезами мнѣ становилось легче, яснѣе и тише на душѣ. И не помню какъ, я задремала и уснула, крѣпкимъ, покойнымъ сномъ. Няня переложила меня какъ маленькую, на подушки и на цыпочкахъ вышла.

Я слышала, какъ вокругъ меня ходили, шептались, но мнѣ было покойно, легко, хорошо... И я проспала всю ночь и проснулась позднимъ утромъ.

X.

Помню, проснулась я слабой,—голова кружилась, но на сердцѣ было легко, радостно. Опираясь на стулья, я тихо поднялась съ постели—и пошатнулась. Въ комнатѣ все закружилось. Я простояла нѣсколько минутъ и тихонько пошла, опираясь на стулья. На столикѣ стояло мое зеркало. Я мелькомъ взглянула въ него и отшатнулась. Изъ зеркала глядѣло на меня страшно исхудалое, блѣдное лицо.

«Это не я!.. Это другая!»—промелькнуло въ моей больной головѣ.

Я посмотрѣла на мои дрожавшія руки. Это были руки скелета, обтянутыя кожей.

Я посмотрѣла въ уголъ, туда, куда я прежде обращалась съ привычнымъ, восторженнымъ чувствомъ, къ образу Спаса. Тамъ былъ вчерашній рѣзной образокъ и на немъ висѣлъ и блестѣлъ маленькій крестикъ—мой дѣтскій крестикъ.

Не вѣря себѣ, своимъ глазамъ, я, шатаясь, подошла къ нему. Я быстро, порывисто сдернула его съ образка, схватила обѣими руками, съ чувствомъ любви, благоговѣнія прижала къ своимъ губамъ, упала на полъ и зарыдала.

«Онъ вернулся—я свободна!. Спасена!..» промелькнуло въ моемъ умѣ и сердцѣ.

И я молилась, молилась, я благодарила и плакала.

Я надѣла его снова на себя и мнѣ стало удивительно покойно. Сидя на полу, я обернулась къ двери,—въ дверяхъ стояла тетя и смотрѣла на меня со слезами.

Съ радостнымъ восторженнымъ крикомъ она бросилась ко мнѣ. Я цѣловала ея лицо, глаза, руки. Я облила ихъ слезами... Моей радости, восторгу, безумію не было границъ. Плача и смѣясь въ одно время, мы крѣпко обняли другъ друга; шатаясь отъ радости подошли и сѣли на постели.

— Добрая! Добрая! Дорогая моя... шептала я.—Я вѣрю!.. Богъ послалъ мнѣ милость.

А она тихо шептала и просила:

— Говори еще... говори! Я такъ долго не слыхала твоего голоса.

Дверь тихо скрипнула, отворилась. На порогѣ стоялъ Поль. Съ недоумѣніемъ, невѣря себѣ, онъ смотрѣлъ на меня. А у меня при взглядѣ на него сердце вдругъ снова переполнилось восторгомъ, бдагодарностью. Я снова поднялась къ нему и навѣрно упала-бы, если-бы онъ не поддержалъ меня. Я долго лежала въ забытьи въ его объятіяхъ.

И столько было радостнаго трепета въ этотъ день, что у меня совсѣмъ закружилась голова и я не могла стоять на ногахъ. Меня снесли въ гостинную, усадили на боль-

шомъ креслѣ. Каждый наперерывъ старался мнѣ услужить. О чемъ бы я ни заговорила, чего бы ни пожелала, все являлось тотчасъ же къ моимъ услугамъ, словно по волшебству.

— Господи! дивилась я:—какъ они меня всѣ любятъ! И какъ я могла увлечься тѣмъ... темнымъ и страшнымъ... И какая ужасная разница между бурными наслажденіями, и между этими тихими, семейными радостями, проникнутыми миромъ, покоемъ и теплою, чистою любовью.

Съ этого радостнаго дня началось мое быстрое выздоровленіе.

Когда все это я передавала потомъ Полю, передавала съ тѣмъ тяжелымъ волненіемъ, которое я испытывала тогда, то онъ сказалъ:

— Есть много еще необъясненнаго въ снахъ и галлюцинаціяхъ. Но многое можетъ быть объяснено гораздо проще тѣмъ нервнымъ возбужденіемъ, въ которомъ ты тогда находилась.

— Какъ же... а крестикъ, Поль? Какимъ образомъ онъ явился на груди этого страшнаго идола, въ домѣ князя. Вѣдь, я тамъ ясно, отчетливо его видѣла...

— Да вѣдь и галлюцинаціи бываютъ, говорятъ, также очень отчетливы. Надо убѣдиться сперва, что дѣйствительно ли сущеетвуетъ или существовала въ домѣ князя та комната, въ которую ты заглядывала.

— И какъ же затѣмъ крестикъ явился на образкѣ? Я вѣдь разспрашивала и няню, и всѣхъ. Не повѣсили ли они его на образокъ? Они всѣ увѣряютъ, что не видали этого крестика.

— Въ лунатизмѣ, въ безсознательномъ состояніи, въ томъ настроеніи, въ которомъ ты тогда находилась, ты могла снять его съ себя и опять затѣмъ достать оттуда, куда спрятала и сама повѣсить его на образокъ.

— Поль, сказала я тихо. Можно все объяснить. Но

тамъ, гдѣ можно все объяснить, тамъ нѣтъ мѣста вѣрѣ, нѣтъ мѣста чувству. Тамъ все дѣло одного холоднаго разсудка.

— Это совершенно вѣрно, мой милый, родной философъ. Но также вѣрно и то, что этого никогда не можетъ быть—и не будетъ. На томъ пути, по которому идетъ впередъ человѣчество, первое, громадное мѣсто отведено не разсудку, а чувству и вѣрѣ въ его непреложность и справедливость.

— Я не совсѣмъ ясно понимаю тебя.

— Вѣдь ты вѣришь, что тотъ путь, на который въ твоихъ галлюцинаціяхъ увлекалъ тебя князь, есть ложный, темный путь.

— Еще бы,—разумѣется, вѣрю.

— Вѣра даетъ инстинктивно твоему сердцу указаніе, куда слѣдуетъ и куда не слѣдуетъ идти. И даже въ ту безконечную, свѣтлую сторону, гдѣ лежитъ общее благо, а не твое личное наслажденіе. Пойдешь налѣво—ты будешь спускаться въ ту бездну чувственныхъ удовольствій, въ которой кишатъ всѣ чудовища людскихъ страстей. Пойдешь направо—ты будешь подниматься на святыя вершины, по трудному пути, проходить въ тѣ узкія врата, которыя ведутъ людей къ общему блаженству и къ вѣчному солнцу истины... Это старая, древняя истина. Это старая пѣсня человѣчества. Она родилась съ начала міра. Она древнѣе Ормузда и Аримана. Она проходитъ во всѣхъ сказаніяхъ, во всѣхъ эпосахъ. Это двѣ мыши Аріосто—черная и бѣлая, которыя вѣчно бѣгаютъ вокругъ гигантскаго дерева и не могутъ догнать другъ друга.

Я помню, онъ говорилъ это вечеромъ, когда мы сидѣли на нашей любимой скамейкѣ. Моя рука была въ его рукѣ. Я смотрѣла на потемнѣвшее небо, на ясныя звѣзды и эти звѣзды такъ ярко блестѣли и такъ ясно говорили душѣ о

вѣчномъ, великомъ, непостижимомъ, что будетъ всегда, неизмѣнно привлекать человѣка въ свѣтлую сторону добра и правды...

Почему и какъ исчезла, такъ внезапно, моя болѣзнь— я не знаю. Я предоставляю это объяснять людямъ болѣе опытнымъ и болѣе свѣдущимъ.

Черезъ два мѣсяца я настолько поправилась, что ни тетя, ни Поль не видѣли болѣе надобности откладывать нашу свадьбу, и 18-го августа мы были обвѣнчаны.

Теперь уже минетъ скоро тридцать лѣтъ нашей мирной, тихой жизни съ моимъ добрымъ, тихимъ Полемъ.

Мы оба уже сходимъ съ горы и подходимъ къ той грани, къ той страшной завѣсѣ, которая скрываетъ отъ всѣхъ невѣдомый міръ. Мы идемъ руку въ руку и обоюдно поддерживаемъ другъ друга въ нашей вѣрѣ на скользкомъ земномъ пути; мы ищемъ постоянно все доброе, что мы можемъ сдѣлать здѣсь на землѣ для нашего бѣднаго земнаго брата, и это чувство и стремленіе мы передали, я надѣюсь, прочно и нашимъ дѣтямъ.

Князя Наянзи я болѣе не видала. Онъ вскорѣ послѣ нашей свадьбы уѣхалъ изъ его имѣнія. Затѣмъ прошолъ слухъ, что онъ умеръ гдѣ-то въ Индіи, въ горахъ Нильгирійскихъ.

БОЖЬЯ ВОЛЯ.

(Разсказъ).

I.

Въ темную, сентябрьскую ночь, мы сидѣли съ братомъ Павломъ передъ каминомъ въ нашемъ небольшомъ деревенскомъ домѣ.—Это было 18 сентября 186... г. День для меня слишкомъ памятный и страшно тяжелый.

Я на два года былъ старше брата и, по крайней мѣрѣ, на пять лѣтъ солиднѣе. Хилый, больной, маленькій, худенькій—я составлялъ рѣзкій контрастъ съ нимъ, красивымъ брюнетомъ, съ вьющимися, курчавыми волосами и съ черными, большими глазами, которые блестѣли постоянно живымъ, страстнымъ блескомъ. Когда онъ вернулся осенью къ намъ изъ Петербурга, гдѣ онъ кончилъ курсъ въ Медико-Хирургической Академіи, то я не узналъ его, до того онъ возмужалъ, выросъ и сложился въ эти четыре года, проведенные имъ въ Питерѣ Даже черты лица его нѣсколько измѣнились, а маленькая, черная, окладистая бородка придавала лицу его удивительно пріятный оттѣнокъ. Она рѣзко противорѣчила небольшимъ, едва означившимся усикамъ,

концы которыхъ росли гуще около угловъ рта и усиливали его почти постоянную насмѣшливую, но добрую улыбку.

Онъ пріѣхалъ къ намъ, съ твердою надеждой служить въ земствѣ и съ пламенною увѣренностью, что онъ будетъ полезенъ въ крестьянскомъ быту. У насъ было небольшое имѣньице, которое давало скудный доходъ. Этими средствами мы должны были жить сами и содержать хворую, больную тетку, которая съ нашего дѣтства замѣнила намъ и мать, и отца. Мы были сироты.

Въ восьми верстахъ отъ насъ жила семья другаго небогатаго момѣщика: добрѣйшаго человѣка, Петра Васильевича Кирпоченко. Его дочери Китти тогда только-что минуло восемнадцать лѣтъ.

Китти была такая же добрая, какъ и все семейство Кирпоченко; начиная съ толстой, задыхавшейся Мавры Панкратьевны, и до старой, добрѣйшей моськи, никогда и ни на кого не лаявшей и которую всѣ считали непремѣннымъ членомъ семьи.

Китти не была красавица, но въ чертахъ ея было столько симпатичной трогательной прелести, что лица всѣхъ красавицъ вѣроятно поблѣднѣли бы предъ ея лицомъ, по крайней мѣрѣ, мнѣ такъ казалось. И въ особенности была обворожительна ея ясная улыбка на полныхъ алыхъ губкахъ. Она была брюнетка съ черно-сизыми волосами, и Мавра Панкратьевна увѣряла, что въ нее забралась южная греческая кровь, которой немножко было и въ самой Маврѣ Панкратьевнѣ.

Въ дѣтствѣ мы жили какъ бы одною общею семьей и почти цѣлые дни проводили вмѣстѣ. Мавра Панкратьевна довольно часто ѣздила къ теткѣ или тетка гостила въ ихъ деревушкѣ. Иногда пріѣзжалъ къ намъ и самъ Петръ Васильевичъ,—человѣкъ весьма серьезный, мало сообщительный и до времени посѣдѣвшій. Онъ жилъ второй семьей, такъ

какъ первую семью,—молодую жену, двухъ дочекъ и сына —схоронилъ онъ въ холеру, и уже вдолгѣ потомъ женился на Маврѣ Панкратьевнѣ, плѣнившись ея добротой, хозяйственностью и маленькимъ капитальцемъ, которымъ онъ хотѣлъ поправить свое деревенское разстройство.

Китти и младшая сестра ея Люба также часто бывали у насъ.

Лѣтомъ, когда мы пріѣзжали изъ П...ой гимназіи домой, на раздолье степныхъ луговъ и полей, то, вмѣстѣ съ ликующею весеннею природой, въ насъ, во всѣхъ царило такое праздничное чувство, что разумѣется всѣ серьезныя занятія, книги и думы летѣли прочь. Мы всѣ были погружены въ заботу, какъ бы изловчиться «выбивать» лучше перепелиной дудкой и подманивать перепеловъ, какъ бы выудить огромнаго карпа въ маленькой рѣчкѣ Нечуйкѣ, которая несла свои скудныя воды въ «синій» Донъ. Очень рѣдко на насъ налеталъ покойный «штиль». Въ ясный, румяный и тихій вечеръ, когда смолкала необозримая степь и ковыль засыпалъ всѣми своими серебристыми космами, въ такой вечеръ мы цѣлой компаніей усаживались на курганѣ, съ котораго далеко было видно все кругомъ, и сидѣли, молча любуясь, какъ ясное солнце тихо опускалось за край земли и вся степь начинала принимать розовый оттѣнокъ.

На этомъ курганѣ стояла каменная баба... и сколько всякихъ дѣтскихъ приключеній было у насъ связано съ этимъ большимъ уродливымъ идоломъ! Мы смотрѣли на нее какъ на живое существо, и въ нашихъ дѣтскихъ сердцахъ складывалось что-то подобное культу. Правда, мы не поклонялись этой бабѣ, но мы жили нѣкоторое время подъ ея неусыпнымъ надзоромъ. Она существовала въ нашемъ воображеніи, какъ наше провидѣніе и нравственная охрана. И довольно было сказать кому-нибудь изъ насъ, когда его обижалъ товарищъ:

— А вотъ я бабѣ скажу! — И тотчасъ же буйный товарищъ притихалъ и уступалъ...

И помню я, какое сильное впечатлѣніе произвелъ на насъ протестъ Китти противъ этого всемогущества каменной бабы.

Разъ, на мою угрозу пожаловаться этой бабѣ, по поводу какого-то дѣтскаго каприза, она сказала:

— Ну! Что же? Скажи! Развѣ я ее боюсь?

— Ты ее не боишься? Вскричалъ я.—Не боишься каменной бабы?!... Хорошо! она придетъ къ тебѣ ночью и будетъ стучать у твоей постели.

— Что же! Возразила Китти.—Пускай стучитъ!

Надо замѣтить, что мы, дѣти, вообще боялись этихъ неизвѣстныхъ стуковъ ночи, которые иногда раздаются среди всеобщей тишины, когда все въ природѣ и въ людской жизни успокаивается и затихаетъ. Среди этой тишины каждый малѣйшій шорохъ и стукъ принимаетъ грандіозные размѣры, въ особенности въ дѣтскихъ ушахъ и воображеніи. Я помню страшно боялся этихъ стуковъ и какъ нарочно просыпался среди ночи. Сердце сильно билось или замирало въ моей груди. Я не хотѣлъ ничего ни слышать, ни видѣть. Я закрывалъ глаза и уши, закутывался одѣяломъ, накрывалъ голову подушкой, и все-таки слышалъ. Я слышалъ глухіе, ровные, довольно быстрые звуки... и не могъ понять, что это были стуки моего собственнаго сердца, которые раздавались, какъ мнѣ казалось, въ полу или подъ подушкой. Но вотъ разъ я ясно слышу, что, независимо отъ этихъ стуковъ, раздаются глухіе, точно подземные, тяжелые стуки. «Это идетъ каменная баба!» точно кто-то подсказываетъ мнѣ и сердце замираетъ, на лбу выступаетъ холодный потъ. Я слушаю, удерживая дыханіе, сердце страшно колотится. Я наскоро припоминаю, чѣмъ я могъ вызвать ея страшный приходъ. Я перебираю всѣ мои дневныя проказы,

я каюсь и читаю прерывающимся шопотомъ и «Отче нашъ» и «Богородицу», я крещусь дрожащими руками... и вдругъ слышу, что стуки ближе, ближе, громче, и, наконецъ, останавливаются подлѣ самой двери нашей дѣтской. Все существо мое замираетъ... Легкій скрипъ двери, и я съ страшнымъ, отчаяннымъ крикомъ:

— Паша!—бросаюсь къ нему на постель.

— Что ты, что ты?!... Вскакиваетъ испуганный Паша.— Что съ тобой?

— Паша?.. Она пришла... Она стоитъ за дверью.

— Кто?..

— Каменная баба...

— Вздоръ какой!—Говоритъ Паша и нехотя, почесывая растрепанную голову, встаетъ съ постели, подходитъ къ двери и распахиваетъ ее настежъ...

А у меня при этомъ быстро мелкаетъ въ головѣ: «Вѣдь вотъ какой онъ храбрый! Онъ ничего не боится. Это оттого, что у него чистая совѣсть... Онъ всегда прямо говоритъ то, что думаетъ»...

— Видѣлъ!! Ничего нѣтъ,—говоритъ Паша.

И я, дѣйствительно, вижу при слабомъ свѣтѣ ночника, насколько онъ хватаетъ въ сосѣднюю комнату, что въ ней никого нѣтъ...

— Какъ же мнѣ... такъ ясно казалось!

— Ясно казалось!.. Передразниваетъ Паша, ложась снова въ постель и кутаясь въ одѣяло.—Это бурко стучитъ въ конюшнѣ копытами... Слышишь... вотъ, вотъ... онъ топаетъ...

И, дѣйствительно, я слышу тѣ же стуки, но они теперь звучатъ гдѣ-то въ отдаленіи. И я тоже ложусь и закутываюсь и стараюсь всѣми силами поскорѣе заснуть, пока еще Паша не спитъ, позѣвываетъ и почесывается.

Одинъ разъ Китти удивила насъ всѣхъ своею храброй оппозиціей. Какъ-то разъ, въ августѣ (ей было уже тогда

тринадцать лѣтъ), мы позднимъ вечеромъ разсуждали, отчего ночью дѣлается страшно?

— Отъ воображенія, рѣшила она...—Кто не боится, тому вовсе не страшно... Надо только не бояться смерти и все покажется вовсе не страшно...

— Какъ же не страшно, вмѣшалась Люба,—а вотъ придутъ разбойники и зарѣжутъ и папу, и маму, и насъ всѣхъ.

— А ты вѣрь, твердо вѣрь, что Господь милостивъ и хранитъ тебя и ничего не случится... Ты знаешь, что ни единый волосъ...

Но тутъ Паша засмѣялся и перебилъ ее:

— Еслибы, сказалъ онъ,—всѣ такъ вѣрили, то и ничего бы... никакого несчастія съ людьми никогда бы не случалось. Но никто такъ не вѣритъ и я убѣжденъ, что и ты также...

— Что также?..

— Не-вѣ-ришь. Растянулъ онъ и прямо посмотрѣлъ ей въ глаза...

— Нѣтъ, вѣрю.

— Нѣтъ, не вѣришь... Ты вотъ проповѣдуешь: вѣрь, а сама трусишь.

— Чего я трушу?

— Да вотъ!.. Онъ указалъ пальцемъ на окно: темной ночи... каменной бабы...

— Какой вздоръ!... Хочешь, я сейчасъ же пойду... Туда къ ней... Къ твоей каменной бабѣ...

— Да я съ тобой не пойду!... Провожать тебя!... И никто не пойдетъ... Какъ же я узнаю, что ты пошла... Я думаю, что ты... какъ братъ Леша... пойдешь да постоишь за угломъ... перекрестишься нѣсколько разъ и вернешься...

Китти обидѣлась. Глаза ея засверкали.

— Нѣтъ! я пойду и принесу тебѣ... что-нибудь оттуда...

— Да чего же принесешь?..

Она на мгновенье задумалась и блестящіе глаза ея забѣгали.

— Вотъ что: найди мнѣ молотокъ. Большой Степановъ молотокъ...

— Зачѣмъ?..

— А затѣмъ, что я принесу тебѣ кусокъ отъ каменной бабы...

— Хорошо, сейчасъ! и онъ быстро соскочилъ со стола, на которомъ сидѣлъ, и убѣжалъ.

Люба подбѣжала къ Китти, обняла ее и заплакала.

— Китти! начала она просить ее всхлипывая.—Не ходи! Не ходи! милая... Тебя волки съѣдятъ... *Раклы* убьютъ.

Признаюсь откровенно, отъ одной этой мысли у меня забѣгали мурашки по спинѣ и руки похолодѣли. Я всталъ съ табурета, на которомъ сидѣлъ, и забѣгалъ по комнатѣ. «Нѣтъ!» думалъ я, «этого нельзя допускать... Она можетъ заблудиться въ степи ночью, ее могутъ съѣсть волки... Нѣтъ!»

Но только-что я хотѣлъ запротестовать, какъ вернулся Паша съ огромнымъ Степановымъ молоткомъ, который, вѣрнѣе, должно было бы назвать молотомъ.

— Вотъ тебѣ ирой! Иди и побѣждай!..

— Я пойду!—сказала она, взявъ изъ рукъ его тяжелый молотъ и положивъ его къ себѣ на плечо;—только ты и вы всѣ должны вѣрить... что безъ Божьей воли ничего не можетъ случиться...

— Вѣримъ!—закричала Люба и крѣпко со слезами поцѣловала Китти.

— И вы всѣ,—продолжала Китти,—ступайте въ дѣтскую встаньте предъ образомъ Троеручицы и молитесь за меня.

— Ну, нѣтъ!—вскричалъ Паша,—я отказываюсь и убѣгаю...—И онъ, дѣйствительно, соскочилъ съ своего обычнаго мѣста, съ края стола—и убѣжалъ.

— Послушай, Китти, милая, дорогая,—упрашиваю я,—

не ходи! Ты напугаешь всѣхъ насъ... Мало ли что̀ можетъ случиться въ степи... Ты будешь одна, совершенно одна... Наконецъ, я не пущу тебя, вскричалъ я и заслонилъ ей дорогу. Это было уже на крыльцѣ.

— Ты не пустишь меня?—спросила тихо Китти. Въ это время она завязывала подъ горломъ конецъ платочка, который накинула на голову. Затѣмъ она быстро вскинула молотъ себѣ на плечо и, отстраняя меня рукой, сказала одно слово, только одно слово:

— Пусти!

И я невольно попятился отъ нея—дѣвочки! Но тутъ Люба съ легкимъ крикомъ бросилась къ ней и обхватила ея шею. Она, вѣроятно, уговоривала, упрашивала ее остаться, но она постоянно повторяла одно и то же: идите и молитесь!.. Молитесь!... И затѣмъ быстро двинулась впередъ, а плачущая Люба осталась на мѣстѣ и тихо вернулась на крыльцо.

Мы долго стояли, пока Китти не скрылась совершенно въ туманѣ темнаго вечера. Затѣмъ Люба какъ-то восторженно, со слезами, схватила меня за руки и закричала:

— Идемте, идемте молиться за нее!

Мы вошли въ дѣтскую и всѣ встали на колѣни. Но я не могъ сосредоточиться на молитвѣ. Сердце билось отъ безпокойства. Я поминутно оглядывался. Мнѣ казалось, что вотъ-вотъ раздастся страшный, раздирающій предсмертный крикъ Китти. Наконецъ, я не выдержалъ и побѣжалъ въ гостиную, гдѣ сидѣли за преферансомъ тетя, Мавра Панкратьевна и Петръ Васильевичъ... Я не рѣшался высказать имъ, что Китти пошла одна ночью въ степь, на курганъ. Мнѣ казалось, что это была бы жалоба, доносъ, и я думалъ, что можно сказать что-нибудь и какъ-нибудь и они догадаются. Я начну издалека... Что въ степи, теперь, я думаю, опасно. Но только-что я произнесъ это упавшимъ голосомъ, какъ тетя сказала разсѣянно:

— Ну, слава Богу, мы не въ степи!.. и объявила восемь въ червахъ.

Я снова вернулся въ дѣтскую. Тамъ Люба попрежнему стояла на колѣняхъ и усердно молилась...

Я бросился искать Пашу. Я всегда прибѣгалъ къ нему, какъ къ послѣднему источнику спасенія. Но никто не зналъ, куда онъ исчезъ.

Пробродивъ по двору съ полчаса, твердя про себя: Господи, помилуй рабу твою Екатерину!—Я наконецъ надумалъ самъ идти за Китти. Я взялъ толстую и гибкую палку Петра Васильевича съ тяжелой бронзовою головкой негра, увѣсистый кастетъ и отправился, думая дорогой, что я ее навѣрно встрѣчу на полдорогѣ. Она мнѣ обрадуется, и я буду имѣть гораздо болѣе Паши шансовъ на ея вниманіе. Наконецъ, я мечталъ, что я избавлю ее отъ волка или даже отъ какого-нибудь ракла. И я побѣдоносно махалъ гибкою тростью и пробовалъ осторожно на рукѣ, какъ сильно бьетъ тяжелый бронзовый набалдашникъ. «Если этимъ ударить въ високъ, думалъ я, то тутъ же и капутъ».

Вдали я увидалъ двѣ черныя фигуры, которыя рѣзко вырисовывались на яркой ранжевой полосѣ вечерней зари. Сердце мое упало и первое движеніе было поворотъ назадъ, затѣмъ я подумалъ: «что же, вѣдь здѣсь еще не степь? Сотни шаговъ не будетъ до усадьбы. Я могу и закричать и меня навѣрно услышатъ».

И я сталъ ждать тихо идущихъ ко мнѣ людей...

Я уже различалъ, что одна изъ этихъ фигуръ была женская.

Они еще сдѣлали нѣсколько шаговъ, заговорили, и я съ радостнымъ крикомъ бросился къ нимъ навстрѣчу.

Я узналъ по голосамъ Китти и Пашу.

Паша несъ на плечѣ молотъ, а подъ мышкой порядочный кусокъ каменной бабы.

— Вотъ тебѣ!—сказалъ онъ, протягивая ко мнѣ кусокъ.— Поди попробуй... приставь къ бабѣ... Отъ нея ли отбитъ этотъ кусокъ, или нѣтъ?

Я взялъ кусокъ и съ недоумѣніемъ смотрѣлъ на Китти, шагая вслѣдъ за ними по дорогѣ. Я благоговѣлъ предъ ней.

II.

Съ этихъ самыхъ поръ начались мои опредѣленныя отношенія къ Китти.

Я любилъ ее, и это была моя первая любовь.

Я думаю, что въ этой любви громадное мѣсто занимало обожаніе. Я обожалъ ее, какъ институтки обожаютъ своихъ учителей, и меня нисколько не шокировало то, что между нами не было равенства. Напротивъ, она какъ-то обращалась со мною свысока, какъ-то очень покровительственно.

Паша относился къ ней гораздо проще, по-пріятельски, а для меня она была царицей. Съ ранняго утра и до поздней ночи, если мы только проводили день вмѣстѣ, я считалъ своею обязанностью провожать ее всюду, предупреждать ея желанія, дѣлать ей тысячу услугъ, словомъ, служить ей, какъ вѣрный пажъ своей повелительницѣ, и эта служба доставляла мнѣ истинное удовольствіе. «Что же?—оправдывалъ я себя,—развѣ дурное дѣло благоговѣть предъ тѣмъ, кто выше меня!» а она безспорно была неизмѣримо выше меня.

Съ мыслью сравненія я иногда подходилъ къ зеркалу и думалъ: могу ли я ей нравиться? Я смотрѣлъ на себя и прямо, и въ три четверти; я наклонялъ и поднималъ голову, старался придать лицу моему выраженіе смѣлыхъ возвышенныхъ чувствъ или необыкновенной доброты, симпатичности. Но у меня ничего не выходило. Вмѣсто смѣлаго выраженія являлась какая-то отталкивающая, наглая дерзость, вмѣсто

доброты въ глазахъ выступали слезы и все лицо принимало какое-то плаксиво-жалостное выраженіе.

Прошло нѣсколько лѣтъ; я былъ уже взрослымъ, а Китти изъ дѣвочки-подросточка начала превращаться въ женщину. Прежняя юркость, угловатость движеній исчезли. Въ нихъ явились плавность, грація, сдержанность. Въ поступкахъ осмотрительность и задумчивость: мечтательный туманъ жизни... грёзы!..

Одинъ разъ—это было въ іюлѣ—въ жаркій день мы ходили съ нею въ небольшую рощу, къ старому пасѣчнику Грицу. День былъ ясный, жаркій. Помню, собирались сизыя тучки и глухо гремѣли по сторонамъ на горизонтѣ.

Мы устали. Пасѣчникъ угостилъ насъ медомъ съ арбузами и пивомъ. Намъ было такъ хорошо подъ кустами калины, въ тѣни ароматной зелени. Кругомъ насъ была невозмутимая тишина и только пчелки тихо гудѣли въ цвѣтущей травѣ.

— Китти!—сказалъ я.

Она слегка вздрогнула и взглянула на меня.

— О чемъ ты мечтаешь?

— Ни о чемъ—сказала она...—Я просто отдыхаю. Какъ хорошо здѣсь... Тихо! и этотъ запахъ! Ты любишь запахъ травы, зелени?

— Китти!—сказалъ я,—а я часто мечталъ... и мечтаю о томъ, какъ было бы хорошо... такъ сладко... жить съ тобой вдвоемъ... и... постоянно быть вдвоемъ.

Она пристально посмотрѣла на меня.

— Мнѣ рано объ этомъ думать,—прошептала она.

— Отчего же рано?—сказалъ я, а сердце въ груди усиленно прыгало.—Ты уже взрослая дѣвушка.

Она повертѣла головой.

— Знаешь ли что, Леша?—сказала она, положивъ свою маленькую горячую атласистую ручку на мою руку и при-

стально разсматривая меня, какъ букашку.—Еслибы я любила тебя... Любила не какъ друга дѣтства, брата, а какъ-то особенно... знаешь ли этакой... какъ описываютъ въ романахъ, любовью, то я бы чувствовала это здѣсь въ груди... въ сердцѣ... Ты мнѣ дорогъ, по привычкѣ... Мы расли вмѣстѣ... И только!

И мы оба замолкли. У меня слезы захватывали горло.

— Послушай, Китти... а можетъ-быть...

— Что можетъ, быть?

— Можетъ быть... со временемъ... Черезъ годъ, черезъ два...

Она опять пристально посмотрѣла на меня.

— Да! со временемъ... Можетъ быть,—проговорила она, какъ будто, машинально. И послѣ этого разговора она очевидно избѣгала оставаться со мной наединѣ.

Такъ прошло больше года. Я глубже и глубже уходилъ въ хозяйскія хлопоты по нашему имѣнію. Распоряжаться имъ кромѣ меня было некому. Тетя становилась стара.

Въ это время Китти посѣтило два несчастія, одно вслѣдъ за другимъ. Весной умерла Люба, умерла совершенно неожиданно отъ легкой простуды, которая кончилась воспаленіемъ въ горлѣ, а въ концѣ лѣта съ Петромъ Васильевичемъ случился ударъ. Онъ былъ человѣкъ горячій, вспыльчивый, возмутился какимъ-то пустякомъ, продѣлкой его управляющаго, человѣка, вообще способнаго вывести каждаго изъ терпѣнія.

За мной прислали съ просьбой пріѣхать какъ можно скорѣе. Я засталъ Петра Васильевича почти безъ языка. Съ трудомъ можно было понять, что онъ хотѣлъ бы написать завѣщаніе. Я, разумѣется, тотчасъ же распорядился послать за всѣми, кто былъ необходимъ. Священникъ былъ тутъ же. Нотаріусъ пріѣхалъ черезъ часъ. Хотя въ сущности завѣщать было нечего, да и некому, такъ какъ дочь и жена

были единственные и прямые наслѣдники. Тѣмъ не менѣе, завѣщаніе было составлено, послѣ чего Петръ Васильевичъ нѣсколько успокоился.

Черезъ недѣлю онъ сталъ говорить немного лучше и сталъ прохаживаться, опираясь на меня и на руку Китти. Въ теченіе двухъ или трехъ недѣль его болѣзни я почти жилъ въ ихъ домѣ и мы чередовались съ Китти въ уходѣ за больнымъ. Онъ почти не спалъ по ночамъ, и здѣсь мы должны были дежурить у постели больного или въ сосѣдней комнатѣ. По вечерамъ я читалъ ему вслухъ. И онъ часто засыпалъ подъ мое чтеніе. Въ комнатѣ тускло горѣла лампа подъ абажуромъ; изъ отвореннаго окна въ садъ влеталъ въ комнату запахъ липъ. Вдали, въ рощѣ чуть-чуть слышалась пѣснь соловья. Мы молча сидѣли вдвоемъ. Она шила или вышивала что-нибудь, а я любовался на нее: на ея слегка опущенную головку съ черными длинными косами, на тихо колыхавшуюся грудь, на нѣжный живой румянецъ щекъ. Господи! думалъ я, если бы такъ всю жизнь, вдвоемъ, весь путь во взаимной любви, которая освѣщала бы тихимъ грѣющимъ свѣтомъ всѣ мелочи жизни. И на глазахъ моихъ навертывались слезы и сердце билось надеждой.

Разъ она замѣтила эти слезы. Она быстро приподняла голову и взглянула на меня. Затѣмъ протянула ко мнѣ руку и крѣпко пожала мою. Мнѣ казалось, она поняла то, что такъ ясно говорили глаза мои. Она тихо поднялась со стула приложила палецъ къ губамъ, посмотрѣла пристально на спящаго отца и, не выпуская моей руки, тихо прошептала:

— Пойдемъ сюда!

Она увела меня въ сосѣднюю комнату и тамъ, положивъ обѣ руки на мои плечи, прошептала:

— Что мы будемъ дѣлать, если онъ умретъ? И едва проговоривъ эти слова, она тихо зарыдала и припала къ моей груди. Я чувствовалъ, какъ руки ея судорожно

сжимали мои плечи и какъ она старается сдержать рыданія.

— Милый, дорогой мой другъ!.. Вѣрь, я не покину ни тебя, ни твою семью...— говорилъ я дрожащимъ голосомъ.

Она быстро отшатнулась, и не снимая рукъ съ моихъ плечъ, спросила:

— Ты все еще любишь меня? Ты женишься на мнѣ?...

У меня закружилась голова.

— И ты спрашиваешь меня... объ этомъ?!.. Но вѣдь ты не любишь меня?

Она не вдругъ отвѣтила. Она пристально, сквозь слезы, посмотрѣла на меня и прошептала:

— Я, кажется... начинаю любить тебя... у тебя добрая душа!.. И съ тобой можно быть счастливой.

Я страстно прижалъ ее къ груди и хотѣлъ поцѣловать, но она оттолкнула меня.

— Нѣтъ!.. Нѣтъ! Послѣ... Потомъ...—прошептала она.

И мы опять вошли къ Петру Васильевичу. У постели его сидѣла Мавра Панкратьевна.

Такъ прошелъ еще мѣсяцъ, или около мѣсяца. Петръ Васильевичъ видимо поправлялся. Онъ говорилъ уже довольно внятно и могъ ходить, опираясь на палку. И вдругъ взволновало его неожиданное несчастіе. Въ одну ночь сгорѣлъ почти весь складъ хлѣба, уже два года лежавшаго, и на который онъ крѣпко разсчитывалъ. Этотъ пожаръ всѣхъ насъ поразилъ, а у него снова отнялся языкъ, лѣвая нога и правая рука. Его опять уложили въ постель.

На другой день къ вечеру ему стало хуже. Отнялись обѣ ноги и руки, а на третій день, по утру, онъ тихо скончался, бормоча что-то, чего нельзя было разобрать.

Весь домъ сразу наполнился тяжелымъ горемъ. Всѣ словно обезумѣли. Но Китти скоро оправилась и принялась распоряжаться. Она сильно поблѣднѣла, сдѣлалась угрюмой, не-

разговорчивой. Она мнѣ напомнила ту Китти, ребенка, которая отправилась на курганъ къ каменной бабѣ. Брови ея сдвинулись и глаза ушли куда-то въ глубь.

Одинъ разъ въ диванной я подошелъ къ ней, взялъ ее за руку и сказалъ ей:

— Китти! Если семья твоя въ Петрѣ Васильевичѣ потеряла опору и руководителя, то она найдетъ ихъ во мнѣ. Съ этой минуты я торжественно обѣщаю тебѣ не покидать васъ и всегда и во всемъ быть вашимъ защитникомъ.

— Ты?!—спросила она серьезно и грустно...—ты хочешь быть опорой и руководителемъ моей семьи? Ты ошибаешься... Ты имъ не можешь быть...

Я помню какъ кровь прилила къ моему лицу. Мнѣ было и стыдно, и грустно, и обидно.

— Не сердись, не обижайся,—торопливо проговорила она...—Но я должна тебѣ, какъ другу моему... какъ вѣрному другу, сказать всю правду... У тебя доброе, хорошее сердце... Но... тутъ она запнулась.

— Что же?—сказалъ я,—доканчивай!.. Я слишкомъ глупъ—для того, чтобы заботиться о другихъ...

— Нѣтъ! Нѣтъ! Перестань!.. вотъ теперь ты говоришь глупости. Нѣтъ не то!... У тебя слишкомъ много мягкости... Да, я прямо скажу, ты безхарактеренъ... И мнѣ, вѣроятно, придется заботиться о тебѣ, а не тебѣ обо мнѣ... Твое доброе сердце радо всякому помочь... всему свѣту, всему человѣчеству... но... силъ душевныхъ у тебя не хватаетъ.

— Китти!—вскричалъ я, дрожа отъ волненія...—Ты любишь меня?.. Добрая, хорошая, дорогая моя! Скажи, что ты любишь меня. Если я буду вѣрить въ любовь твою, то мнѣ кажется вся душа моя переродится. Твоя любовь будетъ моя сила, мой руководитель... Скажи мнѣ, что ты любишь меня...

Она ничего не отвѣтила. Она положила мнѣ руки на

плечи. Она долго пристально смотрѣла въ глаза мнѣ. Она приглаживала мои волосы... И вдругъ... у ней на глазахъ появились слезы... Она страстно поцѣловала меня и прошептала:

— Люблю!...

Голова моя закружилась... сердце все затрепетало радостью. Напрасно въ этой отуманенной страстью головѣ шевелились вопросы: «Да развѣ это любовь? Это жалость!» Но я гналъ ихъ прочь и былъ счастливъ.

— Слушай!—сказала она.—Теперь все это брось, забудь! Похоронимъ отца... пройдутъ тяжелые дни, и тогда—всегда будетъ время вернуться къ нашей любви...

Я помню крѣпко, со слезами благодарности, поцѣловалъ ея руку.

III.

Съ этихъ поръ все для меня приняло праздничный радостный оттѣнокъ. Напрасно я заставлялъ себя встать на мѣсто дорогой моей Китти и проникнуться ея горемъ. Я не могъ этого сдѣлать. Отъ одной мысли, что она меня любитъ, что она будетъ моею, все мѣшалось въ головѣ, и сердце пѣло такую радостную, торжественную пѣснь, что никакому горю не было мѣста, и я только хлопоталъ о томъ, чтобы соблюсти декорумъ, чтобы моя радость не бросилась въ глаза Маврѣ Панкратьевнѣ или кому-либо изъ пріѣзжавшихъ къ нимъ сосѣдей и знакомыхъ. Впрочемъ, одного строгаго взгляда моей дорогой Китти достаточно было, чтобы остановить меня на границахъ и напомнить ея слова: «Брось! Забудь!» Повторялъ я себѣ и дѣятельно хлопоталъ о похоронахъ; а хлопотъ было не мало. Привелось скакать на почтовыхъ къ очень богатому и вліятельному

брату Мавры Панкратьевны, извѣстить его и пригласить на похороны. Да и мелкихъ хлопотъ по дому тоже было слишкомъ довольно. Помню, что мысль о томъ, что я хлопочу для нея и ради нея, наполняла меня ужасною, торжественною радостью.

Мавра Панкратьетна одѣла всю прислугу въ трауръ и каждому изъ дворни дала что-нибудь, чтобы всѣ поминали и молились за душу покойнаго.

Наконецъ насталъ день похоронъ; день чрезмѣрной суетни. Мавра Панкратьевна выпросила на эти похороны у брата небольшую сумму и сдѣлала ихъ не только вполнѣ приличными, но и торжественными. Изъ Полтавы былъ приглашенъ архимандритъ Мелетій, былъ протопопъ и два священника. Было много наѣхавшихъ сосѣдей и знакомыхъ, такъ что обѣденный столъ былъ накрытъ покоемъ и все-таки пришлось еще накрыть добавочный столъ въ гостиной. Къ вечеру, когда разъѣхались всѣ сосѣди, ближніе и дальніе, и мы остались одни съ Китти, я присѣлъ къ ней на широкомъ уютномъ диванѣ въ кабинетѣ Петра Васильича.

— Ну,—сказалъ я,—всѣ хлопоты и возня кончились, и мы опять одни съ тобой!.. Свободны отъ всего. Скажи мнѣ, повтори мнѣ, что ты меня любишь, и сердце мое встрепенется и задрожитъ такъ радостно...

Она ничего не отвѣтила и молча протянула ко мнѣ свою исхудалую въ эти тревожные дни руку. Я схватилъ ее и долго цѣловалъ. Голова моя кружилась. Мнѣ хотѣлось обнять ее, мою милую, дорогую. Но она отстранилась и холодно сказала:

— Я устала...

— Усни, успокойся, моя дорогая... Я уѣду,—и я вскочилъ съ дивана. Но она опять взяла меня за руку и усадила подлѣ себя.

— Нѣтъ, останься и посиди со мной... тихо, покойно...

И скажи мнѣ, Леша... когда человѣкъ испытываетъ какое-нибудь глубокое... этакое потрясающее горе... то вмѣстѣ съ этимъ горемъ... не приводилось ли тебѣ испытывать ужаснаго, тяжелаго чувства... Впрочемъ, что же я, глупая, спрашиваю?.. Какое же у тебя могло быть горе, кромѣ дѣтскаго?..

— Нѣтъ, нѣтъ!—вскричалъ я...—Я понимаю тебя... Тогда все кажется постылымъ... отцвѣтшимъ...

— Да!.. Нѣтъ это не то... Тогда думаешь... все вздоръ, суэта!.. И стоитъ ли жить въ этомъ мірѣ, гдѣ все временно и условно...

— Китти! Какъ же ты можешь такъ разсуждать... Ты молода... Тебѣ только восемнадцать лѣтъ.

— Восемнадцать съ половиною,—поправила она съ гордостью.

— И если ты дѣйствительно любишь меня... то эта взаимная любовь... это великое счастіе! (И я весь подъ наплывомъ страстнаго чувства потянулся.) Нѣтъ, Китти! и въ этой жизни есть великое счастіе...

— Знаешь ли, Леша?.. Мнѣ кажется, я скоро умру...

— Перестань! Зачѣмъ это отчаяніе...

— Нѣтъ... Это не отчаяніе... Это невольное чувство... Какъ будто все вотъ... постоянно говоритъ мнѣ: ну, зачѣмъ это! Ну, къ чему это? И точно кто-то мнѣ говоритъ, въ сердцѣ моемъ... «Это Божья воля».

Я весь похолодѣлъ.

— Перестань, перестань, Китти!.. Къ чему эти мысли?.. Ты устала ото всей этой возни, хлопотни и все тебѣ теперь кажется въ грустномъ видѣ... Усни, успокойся, а я завтра рано, рано пріѣду къ вамъ.

И я простился и уѣхалъ къ себѣ.

Послѣ этого разговора прошелъ цѣлый мѣсяцъ, и сколько я ни старался вызвать въ Китти то страстное чувство любви,

въ которомъ она призналась мнѣ или, правильнѣе говоря, на признаніе котораго я вызвалъ ее, но все было напрасно. Она была ровна, холодна, серьезна... и вся ушла въ хлопоты по дому и по деревнѣ. Очевидно, жизнь вдвоемъ со мной ее нисколько не радовала и не манила. Другой давно бы догадался, что тутъ нѣтъ и не можетъ быть взаимности. Но развѣ можно хладнокровно, разсудочно поднять на себя руки и оборвать, отвернуться хотя отъ тѣни личнаго счастія.

Одинъ разъ, когда я, подавленный ея холодностью и безотвѣтностью на мою любовь, сидѣлъ грустный и все сердце было во мнѣ сжато, она оторвалась отъ какого-то шитья (она готовила себѣ приданое) и, протянувъ мнѣ руку, спросила:

— Отчего я такъ грустно задумчивъ?

— Китти!—сказалъ я.—Мнѣ кажется, что ты меня нисколько не любишь...

Она задумалась.

— Если,—сказала она,—ты называешь любовью чувство, которое сразу захватываетъ всего человѣка, то этого чувства дѣйствительно во мнѣ нѣтъ... Но я люблю тебя за твое доброе сердце, уважаю за твою прямую, сострадательную душу... И мнѣ кажется такая любовь можетъ быть гораздо прочнѣе той страсти, которая какъ огонь охватываетъ всю душу... и которая не можетъ долго горѣть.

— Китти!...—вскричалъ я...—Я не думаю, я не надѣюсь, чтобы моя натура могла вызвать такую страсть... для этого нужна другая... наружность, болѣе счастливая, чѣмъ моя... Нѣтъ!.. Но, мнѣ кажется, такая страсть... можетъ одна связать прочно... Она прогоритъ... но... оставитъ крѣпкія связи, которымъ не страшны никакія невзгоды и случайности.

Она немного помолчала.

— И зачѣмъ же ты думаешь, что здѣсь виновата твоя

наружность?!. Развѣ мы не видимъ сплошь и рядомъ такихъ привязанностей, которыя кажутся удивительно странными... Вѣдь не даромъ же сложилась поговорка: любовь зла, полюбишь и козла... Любятъ крѣпко уродовъ... И такая любовь сразу съ оника охватываетъ всю душу и сердце и навсегда оставляетъ прочный слѣдъ.

— Но отчего же и почему является эта любовь?

— Это ты спрашивай у тѣхъ, которые больше меня знаютъ и разумѣютъ... А знаешь ли, Леша?.. мнѣ кажется... что это не отъ насъ зависитъ...

— Что это?...

— А то, чтобы какой-нибудь человѣкъ влюбился въ ту или другую дѣвушку... или женшину... тотъ, Кто устраиваетъ судьбу нашу... Тотъ устраиваетъ и наши браки, и наши связи...

— Что же это, милый мой другъ... Это фатализмъ?!

— Нѣтъ!.. Это не фатализмъ... Я, знаешь ли, Леша, я думаю такъ... Полюбить, или выйти замужъ, или тамъ жениться, не отъ насъ зависитъ. Но у насъ есть разсудокъ, который мѣшаетъ намъ отдаться нашей страсти... Да есть что-то еще тамъ... тамъ въ глубинѣ нашего сердца (и она постучала пальцемъ въ грудь), что говоритъ намъ: иди туда, или иди сюда... Вотъ это, мнѣ кажется, и есть свобода, нашего духа... нашей личности... Свобода той частицы... по которой мы составляемъ образъ и подобіе Бога...

Признаюсь, мнѣ такой простой мысли никогда не представлялось, и я посмотрѣлъ на нее съ удивленіемъ и крѣпко поцѣловалъ ея ручку.

— Ну! что же теперь говоритъ... тебѣ твой разсудокъ?.. И это что-то... что сидитъ тамъ... тамъ... въ глубинѣ твоего сердца?..

Она пристально посмотрѣла на меня и глубоко вздохнула.

— Леша!—сказала она...—Во всемъ Божья воля!

— Какая же ты піетистка и фаталистка!!

Я помню, мы сидѣли въ это время въ саду... Кругомъ насъ былъ тихій «зеленый шумъ» и какъ-то странно прозвучали ея слова среди этой зелени и жаркаго безоблачнаго лѣтняго дня. Я невольно взглянулъ на небо, въ самую темно-синюю, слегка фіолетовую, глубь его...

Вдругъ вдали звякнулъ чуть слышно колокольчикъ.

У насъ звонъ его былъ большою рѣдкостью, такъ какъ деревенька Петра Васильевича стояла въ глуши, въ сторонѣ отъ большой дороги.

Черезъ нѣсколько мгновеній звонъ его послышался ближе и явственнѣе.

— Вѣдь это сюда?..—сказалъ я, вопросительно смотря на Китти.

— Вѣрно Семенъ Ѳедоровичъ за чѣмъ-нибудь.

Это былъ нашъ исправникъ.

Мы сидѣли молча и прислушивались. Колокольчикъ звенѣлъ громче и ближе. Онъ звенѣлъ какъ-то часто, торопливо, весело. Очевидно, кто-то ѣхалъ очень быстро.

— Побѣжимъ на встрѣчу!...—Вдругъ сказала Китти, схвативъ меня за руку, и я тотчасъ же проникся ея игривымъ настроеніемъ, и мы бросились бѣжать навстрѣчу исправнику.

Мы выскочили на крыльцо.

— Куда вы? куда!—Допрашивала Мавра Панкратьевна, мимо которой мы пронеслись. Но мы были уже на крыльцѣ.

IV.

Къ крыльцу бойко подкатила тройка перекладныхъ, и мы оба въ одинъ голосъ радостно вскричали:

— Паша!..

Да это былъ онъ—но совсѣмъ другой. Я даже до сихъ

поръ не понимаю, какъ Китти могла сразу узнать его. Онъ смотрѣлъ, въ его военной докторской формѣ, какимъ-то чужимъ незнакомымъ офицеромъ.

Мы обнялись, поцѣловались и съ шумомъ повели его къ Маврѣ Панкратьевнѣ, которая уже услыхала наши громкіе крики и вышла на встрѣчу.

По поводу этой новой встрѣчи мы снова перецѣловались. Помню тогда, при этомъ свиданіи у меня не было никакого подозрѣнія, никакой задней мысли. Было одно чувство радости. Было свѣтлое сознаніе возвратившагося любимаго брата. Я, помню, почти поминутно ловилъ руку моей Китти и нѣжно и крѣпко цѣловалъ ее. Я чувствовалъ, что и она рада, что грудь ея радостно, быстро колышется, пульсъ бьется, глаза горятъ радостью и на щекахъ эта радость выступила горячимъ румянцемъ.

— Ну! какъ же вы теперь устроились на новомъ сиротскомъ положеніи?—допрашивалъ Паша. —Жаль, жаль... Петра Васильевича... Вѣдь ты писалъ ко мнѣ...

— И представь, какъ это все случилось... неожиданно, негаданно,—вмѣшалась Мавра Панкратьевна.—Въ два часа... онъ здѣсь шутилъ за завтракомъ, говорилъ, что онъ выдастъ Китти за персидскаго принца Хозроя... а послѣ завтрака пришелъ этотъ гнусный Нефедьевъ... Мы слышимъ тамъ въ кабинетѣ крики, возню... Что такое?! У меня сердце замерло... Я бросилась... знаешь ли, опрометью, а онъ уже лежитъ... Его уже оттираютъ въ креслѣ...—И она со слезами ударилась въ разсказы о болѣзни Петра Васильевича.

— А я забылъ тебѣ написать, Паша,—перебилъ я ее.— Ты можешь поздравить меня... Вотъ моя невѣста!

— Какъ!—вскочилъ Паша...—Вправду?!.. И ничего мнѣ не написалъ! Безсовѣстный!—И онъ поздравилъ и меня, и Китти, и Мавру Панкратьевну.

Я замѣтилъ, что при этомъ поздравленіи по лицу Кит-

ти промелькнула какая-то тѣнь, и она быстро покраснѣла.

— Желаю васъ долгаго счастья... кучу ребятъ... богачества!.. Возьми его въ руки (и онъ крѣпко схватилъ меня за руку повыше локтя)... Видишь, какой онъ хлипкій... За нимъ непремѣнно нуженъ серьезный уходъ... У него и анемія, и синкразія... и всякая краза... Вотъ онъ какой!..

И Китти пристально посмотрѣла на меня.

— Женится — перемѣнится! — присудила Мавра Панкратьевна.—Этакіе-то вонъ женятся, да поправляются. Вонъ Семенъ Викентьевичъ женился, худенькій, тщедушный... въ чемъ душа держалась. А теперь, смотри-ка... какой боровъ сталъ! Врозь ползетъ!..

И она посмотрѣла на меня ласково и, наклонясь къ Пашѣ, который стоялъ подлѣ нея, быстро потушопотомъ сказала:

— За этакимъ слабенькимъ, да хиленькимъ она будетъ ухаживать какъ за роднымъ ребенкомъ... Ну! А онъ не не будетъ мудровать надъ ней... Гдѣ ему!?.

Услыхавъ этотъ приговоръ, я, помню, весь покраснѣлъ. А Паша тихо засмѣялся и потрепалъ меня какъ-то болѣе покровительственно, чѣмъ нѣжно, по спинѣ. Я взглянулъ на Китти. Она стояла, отвернувшись къ окну, и, не знаю почему, у меня сжалось сердце при мысли, что она должна вытерпѣть при такой рекомендаціи ея будущаго мужа. Я помню, цѣлый вечеръ меня мучило сознаніе моей слабости, моей слабохарактерности и безсилія. А она оживленно, весело болтала съ Пашей, и на прощанье, по старой дѣтской привычкѣ, опять поцѣловалась съ нимъ, но тутъ же посмотрѣла на меня пристально и вся покраснѣла какъ вишня.

Помню, я цѣлую ночь не могъ уснуть. Это была отчаянная, тяжелая борьба эгоизма съ альтрюизмомъ. Одинъ жгучій вопросъ ударялъ постоянно въ голову и въ сердце: «А

что?.. Если она полюбитъ его и разлюбитъ меня?.. Да и любитъ ли, полно, она меня?!»

Вѣроятно, у всѣхъ другихъ людей, непохожихъ на меня (я не знаю, почему считалъ мою натуру исключительною и оригинальною), при такой мысли поднималась сильная безсознательная ненависть къ сопернику... Но какъ же я могъ ненавидѣть его—моего добраго Пашу?!.

«Ну! что же?.. думалъ я... Я уступлю ему ее и буду счастливъ ихъ радостью... ихъ любовью...» Но при этомъ утѣшеніи на меня нападалъ припадокъ такого истерическаго плача, что я удерживалъ дыханіе и прижимался какъ можно плотнѣе къ подушкѣ изъ боязни, чтобы онъ не услыхалъ моего плача... А онъ храпѣлъ такъ весело и беззаботно, усталый съ дороги.

Въ окнахъ начинало уже разсвѣтать, когда я уснулъ, утомленный волненіемъ...

На другой же день мы отправились вдвоемъ къ моей невѣстѣ. Помню, какъ разъ къ этому дню я получилъ изъ П. нѣсколько фунтовъ конфектъ и, выбравъ менѣе нарядную бомбоньерку, оставляя болѣе нарядныя на слѣдующій разъ, повезъ ее къ Китти. Съ этой бомбоньерки и началось мое паденіе. Съ легкимъ чувствомъ тщеславной гордости я преподнесъ ее Китти, думая, что она обрадуется ей, какъ радуется всякая невѣста сладкому подарку жениха.

Но она только удивилась и слегка покраснѣла.

— Что это?—сказала она.—Зачѣмъ? Къ чему? Ты вѣдь знаешь, что я терпѣть не могу сладкихъ прихотей.

— Да! Но я это дѣлаю по моей обязанности жениха.

— Онъ хочетъ подсластить вашу будущую жизнь,—вмѣшался Паша.

Я увѣренъ, что онъ это сказалъ просто ради краснаго словца, но она вся вспыхнула и оттолкнула бомбоньерку.

— Не надо! не надо!—сказала она.—И не смѣй никогда

мнѣ возить конфектъ... Паша! неправда ли, это глупый обычай: кормить свою будущую жену... точно звѣрька... сладостями?... Точно онъ закупаетъ ими ласки моего сердца...— И она потупилась и прошептала, точно про себя: «онѣ непродажныя!»

Паша въ это время взялъ изъ рукъ моихъ бомбоньерку, развязалъ ее и положилъ одну конфекту въ ротъ.

— Можетъ быть, и глупый... но сладкій; притомъ,—сказалъ онъ и пожалъ плечами,—если быть строгимъ, то все глупо!.. Глупо жениханье и свадьба, и всѣ, всѣ обычаи... Умно только стремленіе двухъ индивидовъ другъ къ другу... Потому что въ немъ сказывается стремленіе природы, которой нѣтъ дѣла ни до нашего ума, ни до нашего сердца. И онъ поставилъ бомбоньерку на рояль.

Это маленькое неудовольствіе, словно камертонъ, дало оттѣнокъ нашимъ отношеніямъ на цѣлый день. Китти старалась загладить впечатлѣніе отказа отъ моего подарка, но ея неудовольствіе проглядывало невольно.

Цѣлый день на меня сыпались неудачи и промахи. Помню, она пожелала достать бѣлыя водяныя лиліи изъ пруда. Но я не могъ этого сдѣлать въ моихъ штиблетахъ, а Паша въ его длинныхъ военныхъ сапогахъ прямо шагнулъ въ воду, притащилъ лодку, которая отплыла отъ берега, и, посадивъ насъ обоихъ, принялся грести сильными мускулистыми руками. Лодка закачалась, и я крѣпко ухватился за борта и за руку, сѣвшей подлѣ меня, Китти.

— Ты что?—спросилъ меня Паша.—Уже струсилъ?

И онъ, напомнилъ, какъ я, маленькій, страшно боялся и чуть не заболѣлъ, когда у насъ прорвало плотину, а онъ съ Китти увѣрили меня, что мы теперь всѣ потонемъ.

— Паша!—сказалъ я. — Это вѣрно: я боюсь воды... Но чѣмъ же я виноватъ въ этомъ. Вѣдь и Петръ Великій тоже боялся воды...

— Развѣ ты тоже великій!?.—И онъ взглянулъ на меня насмѣшливо. Посмотрѣла тоже и Китти и расхохоталась.

— А помнишь каменную бабу?—спросилъ онъ.—Теперь ты спокойно спишь по ночамъ? Не боишься ея? Или еще трусишь?.. Нѣтъ!— И онъ сильно двинулъ веслами. Лодка прямо врѣзалась въ полосу съ водяными лиліями. Китти принялась рвать ихъ, но длинные упругіе стебли тянулись, а не рвались. Паша вскочилъ со скамейки и въ два шага очутился подлѣ нея. Лодка сильно закачалась, и я опять невольно, инстинктивно, схватился за борта ея. Я видѣлъ, какъ при этомъ и Паша, и Китти переглянулись, и опять Китти разсмѣялась.

— Ты умѣешь плавать, а я не умѣю,—сказалъ я въ свое оправданіе.

Но они ничего не сказали и усердно оба дергали длинныя, круглыя цвѣточныя ножки. Китти точно хвасталась своею силой и въ перегонку съ Пашей вытаскивала цвѣтокъ за цвѣткомъ. Она раскраснѣлась. Волосы ея растрепались. Она засучила выше локтя рукава легкаго кисейнаго платья и смѣло погружала стройныя и красивыя руки въ холодную воду. Съ нихъ сбѣгали потоки и капли серебристой и прозрачной, какъ хрусталь, воды.

Вскорѣ вся небольшая лодка наполнилась цвѣтами. Съ ихъ длинныхъ стеблей, какъ съ зеленовато-бурыхъ червей, бѣжала вода прямо мнѣ подъ ноги.

«Господи! подумалъ я. Они непремѣнно потопятъ лодку!»

Теченіемъ и вырываніемъ цвѣтовъ ее снесло почти на середину пруда.

— Ну, будетъ! — сказалъ Паша. И Китти какъ будто очнулась отъ своей общей съ нимъ работы. Онъ опять большими, твердыми шагами, балансируя на ходу, сѣлъ на свое мѣсто и взялся за весла. А мы снова усѣлись съ ней

рядомъ. Только я приподнялъ ноги, а она опустила ихъ прямо въ воду, которая стояла на днѣ лодки.

— Китти!—вскричалъ я,—ты промочишь ноги!.. Вѣдь на тебѣ тонкія прюнелевыя ботинки!

Но она, взглянувъ на меня, расхохоталась. Засмѣялся вмѣстѣ съ ней и Паша и сказалъ:

— Ты теперь похожъ на лягушку, приколотую на пробковую дощечку.

И, дѣйствительно, я чувствовалъ, что моя поза съ подогнутыми ногами была смѣшна и странна.

Я покраснѣлъ и храбро опустилъ обѣ ноги въ воду.

Паша посмотрѣлъ на насъ и сказалъ.

— Поѣдемте, прокатаемтесь! Вонъ къ тѣмъ кустамъ или къ Романовской мельницѣ,—и Китти направила лодку туда, такъ какъ она управляла рулемъ.

— Вотъ теперь я везу васъ, какъ брачную пару,—сказалъ Паша.—Что же ты не увѣнчаешь твоей невѣсты?! Вѣдь матеріалу много,—и онъ показалъ глазами на цѣлый ворохъ бѣлыхъ лилій, который лежалъ въ лодкѣ.

— Сейчасъ!—сказалъ я, и довольно храбро схватилъ первый лежащій цвѣтокъ, но при этомъ вертлявая лодка опять закачалась и я выпустилъ изъ руки длинный стебель цвѣтка, а Китти вдругъ рѣзко поднялась съ мѣста и бойко и смѣло пошла къ Пашѣ; она ловко перешагнула черезъ ворохъ цвѣтовъ и сѣла рядомъ съ нимъ на скамейку.

— Ты усталъ,—сказала она,—давай вмѣстѣ!—И она взяла у него одно весло и такъ же, какъ въ дѣтствѣ, принялась дружно грести. Я вспомнилъ при этомъ, какъ они гребли «на гребца»: кто раньше изъ нихъ устанетъ. И надо сказать, что не всегда Паша выигрывалъ въ этомъ состязаніи.

И я съ болью въ сердцѣ смотрѣлъ на эту пару.

Да, они дѣйствительно были пара. Оба молодые, сильные и красивые, а я...

Помню, солнце свѣтило прямо въ глаза Китти. Она щурилась и улыбалась. И такое довольство жизнью было разлито на ихъ лицахъ. Легкій вѣтерокъ срывался съ берега и шелестилъ длинными лентами отъ банта, который былъ на ея груди.

V.

Возвратились мы домой. Причалили къ берегу. Паша подалъ руку Китти, я тоже протянулъ ей свою. Но она, не опираясь ни на ту, ни на другую, сама ловко выпрыгнула изъ лодки и сказала:

— Что это за галантности такія? Что вы, рыцари что ли? а я принцесса?—И она засмѣялась и начала махать платкомъ себѣ въ лицо.—Ужасно жарко!—сказала она и, дѣйствительно, все лицо ея раскраснѣлось. Грудь тяжело дышала. Глаза блестѣли.

Когда мы вернулись, то Китти сейчасъ же распорядилась, чтобы я надѣлъ мѣховыя туфли Мавры Панкратьевны. Я, разумѣется, протестовалъ.

— Посмотри!—говорила Китти, обращаясь къ Пашѣ,—у него ноги совсѣмъ мокрыя. Такой хлипкій да изнѣженный, сейчасъ простудится. Нѣтъ! Надѣнь, надѣнь, я сейчасъ принесу!

— Ему бы одеколономъ или спиртомъ натереть,—посовѣтовалъ Паша.

Китти схватила меня за руку и бѣгомъ потащила къ себѣ въ комнату.

— Маршъ! и слушаться меня!.. Вотъ тебѣ одеколонъ, и она усадила меня на стулъ подлѣ ея туалетнаго столика.—Сейчасъ принесу тебѣ сухіе носки Петра Васильевича.—И она убѣжала...

Во все время, съ тѣхъ поръ, какъ я сдѣлался женихомъ ея, я никогда не видалъ въ ней такой дѣтской шаловливости и такого довольства. Я принялся за свои ноги.

«Это такъ!..—думалъ я о сценѣ въ лодкѣ.—Это пройдетъ... какъ весенній дождикъ...» Но вся эта сцена: когда она сидѣла рядомъ подлѣ Паши; вся эта пара, освѣщенная солнцемъ, на просторѣ лѣтней зеленой природы, надъ свѣтлыми блестящими водами рѣки, смотрѣла на меня какимъ-то укоромъ.

«Господи! воскликнулъ я почти вслухъ, да чѣмъ же я виноватъ въ этомъ! Развѣ не Ты все распредѣляешь и всѣмъ отмѣриваешь. Чѣмъ же я виноватъ, что я такой слабый, нехорошій, а онъ—сильный, красивый и добрый, да добрый!»

И я вспомнилъ, какъ онъ ухаживалъ за мною, когда я въ дѣтствѣ лежалъ больной горячкой. Вспомнилъ, какъ онъ подарилъ мнѣ прекрасную книгу: *Донъ-Кихота*, книгу, которая ему такъ же и, можетъ, еще болѣе нравилась, чѣмъ мнѣ.

«Будь такъ же добръ и въ этой добротѣ найдешь радость сердца твоего», сказалъ я и отправился искать ихъ. Я обошелъ два раза весь домъ, но въ домѣ ихъ не было.

— Вы не знаете гдѣ они?—обратился я къ Маврѣ Панкратьевнѣ.

— Кто, мой батюшка?

— Китти?.. Паша?..

— Богъ ихъ знаетъ, гдѣ они!.. Какъ же это ты, родной мой, невѣсту-то потерялъ...

Я бро́сился въ садъ. Въ одну минуту я обѣжалъ его, запыхался... Жара была страшная. Былъ второй часъ, и солнце жгло немилосердно. «Гдѣ же они?»—говорилъ я съ отчаяніемъ. И досада, тоска и, какъ будто, ревность шевелились во мнѣ.

— Паша!.. Китти!..—кричалъ я изо всѣхъ силъ моихъ

легкихъ. Но мнѣ отвѣчала полная тишина. Даже птицы замолкли, казалось, попрятались отъ жары.

Наконецъ, когда я терялъ всякое терпѣніе, обвинялъ въ коварствѣ и злобѣ и Китти, и Пашу, я неожиданно нашелъ ихъ. Шла старая Ненила (ключница) на погребицу, и къ ней въ отчаяніи я обратился съ вопросомъ, гдѣ они.

— А на сушилкахъ, миленькій... На сушилкахъ. Даве я видѣла, какъ они прошли.

Я бросился на чердакъ. Тамъ одна коморка была отведена голубямъ. Ихъ любилъ покойникъ Петръ Васильевичъ и Китти также. «И какъ мнѣ въ голову непришло, подумалъ я, заглянуть туда?!!»

И вдругъ, откуда неизвѣстно, явились силы, явилась бодрость и радость, и я бѣгомъ бросился на чердакъ. На него вела крутая и извилистая лѣстница. На верхней ступени ея сидѣли они: Китти и Паша. Такъ же рядомъ, какъ и въ лодкѣ. Но Китти, увидавъ меня, вскочила и убѣжала на чердакъ.

— Китти!—закричалъ я,—куда ты?—и бросился за ней вверхъ, но Паша задержалъ меня.

— Куда ты!—сказалъ онъ полушопотомъ.—Она что-то поправить хотѣла... въ туалетѣ...

Я посмотрѣлъ на него подозрительно.

— Нѣтъ!.. Пусти меня!..—сказалъ я, оттолкнулъ его и вбѣжалъ въ коморку съ голубями. Тамъ на пустомъ опрокинутомъ деревянномъ ящикѣ сидѣла Китти и плакала. А кругомъ ея толклись и ворковали голуби. Нѣкоторые сидѣли у ней на колѣняхъ.

— Китти!—вскричалъ я,—что съ тобой! О чемъ ты?—И я сѣлъ подлѣ нея.

Она быстро отерла глаза и спрятала платокъ въ карманъ. Я долженъ сказать, что она вообще плакала очень рѣдко. Она даже не плакала на похоронахъ Петра Васильевича... Да я даже не помню, когда она плакала въ дѣтствѣ.

— Скажи мнѣ, милая, родная моя... О чемъ?..—Она перебирала концы ея ленты.—Китти! Помнишь, я тебя просилъ, и ты мнѣ говорила, что у насъ не будетъ никакихъ, никакихъ секретовъ... Что наши души и сердца будутъ постоянно открыты другъ для друга, такъ же, какъ для Бога...

— Ахъ! Да ничего же!.. Такъ, пустяки!.. Я просто вспомнила... папу... голубей... какъ онъ кормилъ ихъ и... заплакала...—И она быстро выдернула платокъ и снова отерла глаза.

— Это правда, Китти?.. Правда? Ты меня не обманываешь?..

— Да нѣтъ же!.. Ахъ какой!.. Приставала-мученикъ!.. Побѣжимъ... Тамъ Паша одинъ... Скорѣй! Бѣжимъ!

И она быстро вскочила съ ящика... Схватила меня за руку и потащила за собой.

VI.

О чемъ плакала Китти, Паша признался мнѣ, но только вдолгѣ послѣ того, какъ все уже прошло безвозвратно.

Она обратилась къ нему съ вопросомъ:

— Хорошо ли она дѣлаетъ, что выходитъ за меня замужъ?...

— Признаюсь,—сказалъ ей Паша,—это вопросъ удивительный! Вѣдь ты рѣшилась, обдумала... Вѣдь вы любите другъ друга... И Леша, несмотря на его... недостатки... онъ добрый и честный господинъ... Въ чемъ же вопросъ?!

— Я не знаю...—призналась она тихо.—Мнѣ кажется, что я не люблю его... Меня... какъ бы тебѣ сказать... меня не тянетъ къ нему. Вотъ какъ къ тебѣ. Какъ ты пріѣхалъ и я увидала тебя... то сразу... точно какая-то радость явилась въ сердцѣ... Точно праздникъ насталъ... До тебя...

во мнѣ было что-то радостное... Это правда... Но, мнѣ кажется, это было... просто самолюбіе... Мнѣ было пріятно, что я невѣста... А теперь это самое чувство, которое доставляло мнѣ удовольствіе, сдѣлалось противно... Точно я выхожу по принужденію, за немилаго, за постылаго... Паша!.. Объясни мнѣ: что со мной дѣлается... Я не знаю... Я почти всю ночь эту не спала... и молилась...

И она припала головой къ рукѣ Паши и заплакала.

Въ этихъ слезахъ я засталъ ее.

Мы нашли Пашу въ фруктовомъ саду или, правильнѣе говоря, въ садовомъ огородѣ, гдѣ на грядахъ расла клубника, малина, крыжовникъ и смородина. Съ нимъ была Мавра Панкратьевна и двѣ дѣвушки.

Китти тотчасъ же бросилась собирать ягоды. Она сорвала и положила мнѣ въ ротъ большую спѣлую ягоду малины. Я любилъ малину. Вслѣдъ за первой она положила вторую, третью, четвертую...

— Ѣшь сама! Я больше не хочу...—сказалъ я.

Цѣлый день она не отходила отъ меня и была сосредоточенно серьезна. Она постоянно ходила подъ руку со мной и даже не улыбалась на всѣ веселыя шутки и подтруниванья надо мной, которыя расточалъ въ изобиліи Паша.

Послѣ вечерняго чая мы какъ-то остались вдвоемъ съ Пашей.

— Скажи мнѣ,—сказалъ онъ,—на тебя находятъ иногда минуты, когда тебѣ просто хочется мальчишничать, дурачиться или скандальничать...

— Я думаю,—сказалъ я,—это съ каждымъ бываетъ... Остатокъ дѣтства... игривое настроеніе.

— А порой хочется, ужасно хочется, своему близкому родному сдѣлать какую-нибудь пакость... Такъ!.. ради озорства...

— Нѣтъ!—сказалъ я,—этого со мной не бываетъ.

— Можетъ быть, это потребность перемѣны настроенія... перемѣны нервнаго строя... Богъ знаетъ, что за чепуха такая!..

— Мнѣ кажется,—сказалъ я,—въ каждомъ человѣкѣ есть двѣ стороны: доброе и злое настроеніе. Послѣ добрыхъ или удачныхъ дѣлъ намъ хочется радоваться, а послѣ дурныхъ нападаетъ досада, скука, недовольство собой... Словомъ то, что мы привыкли называть угрызеніемъ совѣсти.

— Все это старо и въ преданіе отошло... А что такое совѣсть?..—И онъ пожалъ плечами.

Въ это время пришла Китти.

— Вотъ я вамъ варенье принесла... Только-что сварили... Кушайте на здоровье!

И она поставила два большія блюдца малиноваго варенья съ чайными ложечками. Дѣвчонка за ней несла два стакана ключевой воды.

А! Вотъ это рѣзонно,—сказалъ Паша и съ жадностью набросился на варенье. Онъ присѣлъ къ маленькому зеленому столику предъ рѣшетчатымъ диваномъ и погрузился въ сладость варенья.

Глаза его бѣгали и на губахъ блуждала сардоническая улыбка. Я поцѣловалъ нѣсколько разъ ручку Китти и, прислонясь къ липѣ, также занялся вареньемъ. Китти стояла возлѣ меня.

— А знаешь ли, Китти,—сказалъ Паша.—Вѣдь онъ тебѣ вовсе не пара...—И онъ кивнулъ на меня головой.—Посмотри, ты выше его...

— Нѣтъ,—вскричалъ я,—это неправда, мы мѣрились и совершенно одинаковы...

— А потомъ,—продолжалъ онъ, не слушая меня,—ты сильнѣе его... А это нехорошо... Страха къ нему, какъ къ главѣ семьи, у тебя не будетъ.

При первыхъ же словахъ Паши Китти сильно поблѣд-

нѣла и какъ-то робко взглянула на меня. Но тотчасъ же краска опять заиграла на ея щекахъ.

— Какой бы онъ ни былъ, но онъ мой женихъ,—сказала она и голосъ ея слегка задрожалъ. Она быстро поправила клокъ волосъ на моей головѣ.—Я ему дала слово и я сдержу его...

И она посмотрѣла долгимъ взглядомъ на Пашу.

Онъ доѣлъ варенье. И, поставивъ блюдечко на столъ, проговорилъ:

— Браво! Браво!..

«Но я другому отдана
И буду вѣкъ ему вѣрна!...»

— Но отчего же... тебя зовутъ Китти, а не Татьяна?

— Паша,—сказалъ я.—Это злая шутка!

— Ахъ Боже мой!.. Да вѣдь я же сказалъ, что на меня (какъ и на каждаго человѣка) порой находитъ непреодолимое желаніе сдѣлать какую-нибудь пакость... Вотъ я исполнилъ мое желаніе и теперь буду угрызаться моею совѣстью...—И онъ, какъ ни въ чемъ не бывало, принялся разсказывать объ одномъ солдатикѣ, который былъ у нихъ въ Академіи и который дѣйствовалъ, какъ автоматъ.

— Онъ, знаешь ли, до того былъ забитъ, что ему говоришь что-нибудь... онъ не понимаетъ и машинально повторяетъ, что ты ему сказалъ. Напримѣръ: говоришь ему: принеси носки! И онъ тоже говоритъ: точно такъ, ваше б—родіе, принеси носки... Ну, пошелъ вонъ!—Точно такъ, ваше б—родіе... Пошелъ вонъ!..

—Ну, это не можетъ же быть... Ты прибавляешь...

— Нѣтъ! Я никогда ничего не прибавляю... А былъ у насъ другой солдатикъ... Тотъ точь-въ-точь такой же былъ какъ ты, нерѣшительный и мизерный... Все въ «сумнѣнія приходилъ».

— Ну! Еще съ кѣмъ меня сравнишь?!—сказалъ я.

Онъ зѣвнулъ и потянулся.

— Когда же будетъ ваша свадьба? Я горю нетерпѣніемъ подержать вѣнецъ надъ твоей главой.

— Она будетъ въ концѣ августа... Тогда минетъ годъ со смерти Петра Васильевича.

Цѣлый вечеръ Китти была необыкновенно внимательна ко мнѣ и бросала какіе-то двусмысленные взгляды на Пашу. Словно она поддразнивала его.

Вечеромъ онъ торопилъ меня скорѣе ѣхать домой. Онъ говорилъ, что ему необходимо собираться завтра въ городъ, хлопотать о мѣстѣ. Въ 11 часовъ мы уѣхали отъ Китти, а на другой день, дѣйствительно, онъ очень рано, не простившись со мной, уѣхалъ въ городъ.

«Съ чего, думалъ я, ему такъ сильно торопиться? Что его гонитъ?.. Неопредѣленность положенія? Но вѣдь у насъ, слава Богу, есть кусокъ хлѣба. Нѣтъ! думалъ я, тутъ есть что-то другое». И я раскаявался, что, занятый исключительно моею любовью къ Китти, я не позаботился заглянуть, съ теплымъ участіемъ, въ его внутренній міръ и узнать: нѣтъ ли тамъ какой-нибудь тайной для меня привязанности?

Въ 10 часовъ я отправился къ Китти. Помню, день былъ невеселый, пасмурный. Перепадалъ мелкій дождичекъ. Китти, противъ обыкновенія, не вышла мнѣ на встрѣчу. Мнѣ сказали, что она еще не вставала. Въ гостинной сидѣла одна Мавра Панкратьевна и раскладывала гранъ-пасьянсъ.

— Что съ Китти, Мавра Панкратьевна?—спросилъ я ее.

— А Богъ ее знаетъ, что съ ней... Такъ хандритъ, капризничаетъ... Чай до сихъ поръ не пила.

Я вышелъ на балконъ. Сердце было сжато. Я хотѣлъ пройтись по саду, но мелкій частый, прямой дождикъ шумѣлъ кругомъ, тихо падая на широкіе листья липовыхъ деревьевъ.

Постоявъ съ четверть часа на балконѣ, я хотѣлъ войти снова въ комнаты. Нетерпѣніе и неизвѣстность меня сильно мучили. Но въ самыхъ дверяхъ я столкнулся съ Китти, которая быстро выходила на балконъ.

При первомъ взглядѣ на нее все во мнѣ перевернулось. Блѣдное лицо съ красными опухшими глазами.

— Китти!—вскричалъ я.—Что съ тобой?! Родная моя! Ты больна!

Она повертѣла головой и, крѣпко схвативъ меня за руку, повлекла въ садъ.

Горничная Маша закричала ей съ балкона, что чай готовъ. Но она махнула ей рукой и быстро повела меня въ липовую аллею.

— Что съ тобой, Китти?—повторилъ я.—Ты даже не поздоровалась со мной.

— Пойдемъ туда!.. Въ бесѣдку!.. Я все скажу,—сказала она глухо.

Мы прошли въ бесѣдку изъ густо разросшихся акацій. Она усадила меня на скамейку и сама опустилась подлѣ.

— Леша!—прошептала она, закрывъ руками лицо.—Прости меня!.. Я... я обманула и тебя, и себя... Я не могу быть твоей женой...

Сердце во мнѣ замерло.

— Леша! вскричала она,—родной мой, не вини меня!.. Это не въ моей волѣ... Сегодня я почти всю ночь не спала... Я плакала, я боролась... я молилась... Я могу любить тебя, какъ моего родного, какъ брата...—И она схватила меня за руку и начала цѣловать ее крѣпко и слезы полились изъ ея глазъ. Она припала къ моей рукѣ и зарыдала.

— Развѣ мы не можемъ быть друзьями?—спрашивала она сквозь слезы...—вѣрными, любящими?.. на всю жизнь?.. Леша!.. Что же ты молчишь? Я думала сегодня ночью... Отчего я не могу быть твоей женой и другомъ Паши?.. Отчего гдѣ-то

тамъ въ глубинѣ сердца... ничего не шевелится: когда подумаю о тебѣ, и все оно какъ-то встрепенется... сожмется съ такою сладкою болью... когда подумаю о немъ... Леша!!..

Послѣднія слова она произнесла такъ тихо, шопотомъ и въ то же время машинально гладила мой рукавъ, снимая съ него пушинки какой-то травы, нанесенныя вѣтромъ... Я нервно стряхнулъ ихъ. Я чувствовалъ, какъ у меня дрожали руки и стискивались зубы...

— Китти!—сказалъ я дрожащимъ голосомъ.—Ты права... насильно милъ не будешь!..

— Прости меня!.. Прости Леша!.. Я, можетъ быть, всю жизнь... буду мучиться .. твоею судьбой... Но это невольно... Не въ моей власти...

Я чувствовалъ, какъ кровь душила меня... Я нервно, порывисто, поднялся со скамейки.

— Китти,—сказалъ я, съ трудомъ дыша и стараясь подавить въ себѣ нараставшую боль...—Китти!. Все это такъ неожиданно... для меня... Еще вчера... утромъ... я былъ счастливѣйшимъ человѣкомъ въ мірѣ... и... все вдругъ... какъ сонъ... разбито... Прощай!.. Я не могу!..

И я, шатаясь, пошелъ вонъ изъ бесѣдки.

Она бросилась за мной, схватила мою руку ея холодными руками.

— Леша!.. Прости меня!.. Я невольно... Разстанемся друзьями...

— Хорошо!.. Послѣ!.. пробормоталъ я, вырывая отъ нея руку, и почти бѣгомъ бросился по аллеѣ.

Я чувствовалъ, какъ мое сердце переставало биться, какъ голову застилалъ туманъ... Я готовъ былъ упасть въ обморокъ... Быстро вбѣжалъ я въ гостинную и, не простясь съ Маврой Панкратьевной, выбѣжалъ въ залу, схватилъ свою шляпу и бросился въ переднюю. Мавра Панкратьевна допрашивала, куда я бѣгу, но уже былъ въ людской, вызвалъ

моего кучера и, не помня себя, не замѣчая дождя, который лилъ съ ожесточеніемъ, ѣхалъ домой по гладкой степной дорогѣ и торопилъ кучера.

VII.

Пріѣхавъ домой, я почти тотчасъ же свалился.

Я не хотѣлъ или не могъ плакать. Какое-то тупое, тяжелое безчувствіе было въ головѣ и въ сердцѣ. Мнѣ было жарко, душно, во рту сохло, была горечь... Я пилъ и не могъ напиться... все тѣло горѣло... Голова кружилась...

Тетка испугалась, хотѣла посылать за докторомъ, но я успокоилъ ее тѣмъ, что завтра или послѣ завтра пріѣдетъ Паша и болѣзнь опредѣлится.

— Я просто простудился,—сказалъ я.—Вчера промочилъ ноги... Сегодня проѣхалъ до Лонзина и назадъ въ открытой таратайкѣ подъ дождемъ... Вечеромъ напьюсь чего-нибудь теплаго, пропотѣю, и все пройдетъ...

— Что же это твоя невѣста! И Мавра Панкрантьевна не досмотрѣла?! удивилась тетя.

Я ничего не отвѣчалъ.

Въ ушахъ былъ постоянно шумъ дождя... Всю постель качало, точно лодку... Я чувствовалъ, что сознаніе по временамъ оставляетъ меня, и какой-то дикій, горячечный складъ мысли, бредъ... захватываетъ голову...

Къ ночи я уже ничего не помнилъ. Тянулись какія-то безконечныя нити... Я искалъ какую-то черненькую собачку и нигдѣ не могъ найти. Я метался... плакалъ и постоянно требовалъ, что-бы мнѣ отыскали мою собачку... «Это мой вѣрнѣйшій другъ!» увѣрялъ я всѣхъ...

Я очнулся на девятый день... Подлѣ меня были тетя и Мавра Панкратьевна, Паша и Китти. Но мнѣ стоило ужас-

наго труда узнавать ихъ, не смѣшивая одно лицо съ другимъ. Голова моя работала смутно и безтолково, и только черезъ два дня я началъ приходить въ себя и припоминать, что со мной было и что меня окружаетъ.

Странное дѣло: мнѣ казалось, что мы разстались съ Китти цѣлые годы и что она всегда была невѣстой Паши, а не моей.—Въ прошломъ было что-то хорошее, радостное... Но оно исчезло, прошло, похоронено.

Я даже анализировалъ свои отношенія и сравнивалъ себя самого съ Китти. Я теперь ясно, отчетливо понималъ, что я и она не пара, что даже странно сопоставить меня и ее, въ особенности въ то время, когда тутъ же былъ Паша.—Развѣ можно меня сравнить съ нимъ... Онъ почти красавецъ... И во всякомъ случаѣ необыкновенно симпатичная, прямая личность, съ твердымъ и добрымъ характеромъ... Что же удивительнаго, что Китти невольно, какъ магнитомъ, тянетъ къ нему?!.

Когда я сталъ припоминать прошлое и всматриваться въ ихъ лица, то меня поразила перемѣна въ нихъ. Оба похудѣли, пожелтѣли, въ особенности Китти. Оба смотрѣли какъ-то сосредоточенно угрюмо. Еще я замѣтилъ, что они избѣгаютъ встрѣчи глазами и рѣдко говорятъ другъ съ другомъ... Впрочемъ, можетъ быть, это только такъ казалось мнѣ, казалось моей слабой, отуманенной головѣ.

Помню, разъ вечеромъ, когда солнце уже закатилось, они оба сидѣли подлѣ моей постели. Паша разсказывалъ о земскихъ дѣлахъ какъ-то нервно, злобно нападая на всякіе малѣйшіе безпорядки и представляя въ комическомъ видѣ всю нелѣпость земской механики. Китти слушала его и по временамъ смотрѣла съ такою любовью на его лицо. А я почти вовсе не слушалъ его. Меня всего поглотилъ другой вопросъ, вдругъ поднявшійся въ мозгу моемъ:

— А что, если Паша любитъ ее такъ же глубоко, какъ

она, и только мучается изъ любви ко мнѣ... боязни нанести мнѣ страшный ударъ?!

Эта мысль такъ поразила меня, что я даже приподнялъ голову съ подушки.

«Неужели я... я невзврачный... несимпатичный... буду стоять помѣхой на ихъ дорогѣ... помѣхой сильнымъ, твердымъ и любящимъ?.. Нѣтъ!.. Господи!.. Никогда!..»

— Ты, можетъ быть, хочешь пить?—спросила Китти.— Здѣсь есть еще лимонадъ... А то можно сейчасъ сдѣлать свѣжаго...—И она приподнялась со стула... Я протянулъ ей руку. И она положила въ нее свою руку... Затѣмъ я протянулъ руку къ Пашѣ, и когда онъ также подалъ мнѣ руку, то я соединилъ ихъ руки вмѣстѣ и сказалъ дрожащихъ, прерывающимся голосомъ:

— Любите другъ друга... и немножко любите меня...

Слезы не дали мнѣ кончить.

Я помню, какъ при этой неожиданной выходкѣ Паша вскочилъ со стула. Какъ оба они выдернули руки изъ моей руки и покраснѣли. Затѣмъ, въ слѣдующее мгновенье... Китти бросилась на грудь Паши. Они обнялись и поцѣловались... у Китти катились слезы... Она быстро опустилась на колѣни подлѣ моей постели и нѣсколько разъ крѣпко поцѣловала мою руку.

Я убѣжденъ, что въ эту минуту оба они крѣпко любили и уважали меня.

А у меня... тамъ, внутри... вдругъ открылся какой-то другой свѣтлый міръ... явилось какое-то новое неиспытанное чувство... «Господи! Промелькнуло въ моей головѣ... Развѣ это не радость... высшая радость... Выше всего, что есть на землѣ радостнаго... И развѣ не все въ любви сердечной... духовной... Зачѣмъ же искать еще сближенія плотскаго... грязныхъ волненій... которыя также скоро улетаютъ, какъ и охватываютъ страстнымъ огнемъ человѣка!..»

А Паша схватилъ мою другую руку и, прямо смотря на меня его блестящими глазами, пожалъ ее до боли.

Въ это время вошли тетка и Мавра Панкратьевна. Онѣ играли въ сосѣдней комнатѣ въ пикетъ.

— Ну! Что съ нимъ?—спросила Мавра Панкратьевна.— Надо уже ему и спать... Поѣдемте домой! Да что вы всѣ какіе-то... обмокнутые... И онъ? Смотрите!.. Зачѣмъ же вы даете ему волноваться и плакать... Г. докторъ... А!.. Что это?.. Нѣтъ! Нѣтъ!.. Всѣ волненія теперь надо отложить.

— Мавра Панкратьевна,—сказалъ я... — Поздравьте жениха и невѣсту... и благословите ихъ,—и я указалъ на Пашу и Китти, а они оба съ какою-то дѣтскою радостью смотрѣли на Мавру Панкратьевну.

Вытаращивъ глаза и разинувъ ротъ она посмотрѣла на тетю, а тетя только всплеснула руками... И тотчасъ Мавра Панкратьевна снова заволновалась.

— Да вы съ ума сошли! — вскричала она... — Какъ же можно при больномъ начинать такую исторію!!

Паша хотѣлъ что-то возразить и началъ было протестовать.

— Стыдно!.. Стыдно!.. батюшка! — закричала она на него.—Какой же ты медикъ?.. Вѣдь съ нимъ рецидивъ можетъ сдѣлаться... Вѣдь у него голова теперь какъ дырявое лукошко... И ты безстыдница!—Накинулась она на Китти,— то тому, то другому вѣшаешься на шею... Постыдись людей и Бога!..

Но Китти не могла стыдиться и чего ей было стыдиться? Она стремительно, крѣпко обняла Пашу и страстно проговорила:

— Мама, онъ мой!

И слезы брызнули у ней изъ глазъ. Мавра Панкратьевна въ ужасѣ всплеснула руками и взглянула на тетю. А тетя только перекрестилась и тихо сказала:

— Что же?.. На все воля Божья...

Она, кажется, сама была рада, что Китти будетъ женой Паши, а не моей.

VIII.

Все это произошло такъ странно и неожиданно. Это былъ какой то кризисъ, послѣ котораго мои силы начали быстро поправляться. Мое радостное, восторженное настроеніе продолжалось нѣсколько дней, а вслѣдъ за нимъ наступилъ миръ и тишина. Радость не моя, а чужая, которая, казалось мнѣ тогда, всегда выше, полнѣе собственной радости.

Китти пріѣзжала ко мнѣ каждый день съ ранняго утра и мы цѣлый день проводили вмѣстѣ. Помню, мнѣ пріятно было любоваться на нее и на Пашу, когда они, сидя другъ подлѣ друга и подлѣ моей кровати, томились ихъ страстнымъ чувствомъ. Я думалъ тогда: «отчего я не могъ отдаваться моей любви также свободно, какъ Паша; отчего я не сгоралъ медленнымъ огнемъ въ присутствіи Китти... Нѣтъ! Положительно они были пара, а я былъ ей чужой.

Вскорѣ я могъ уже вставать съ постели и выходить въ нашъ садъ... Былъ конецъ августа. Дни стояли теплые, душные. И Паша, и Китти ухаживали за мной съ такимъ стараніемъ. Они исполняли мои малѣйшіе капризы и прихоти.

Одинъ разъ, помню, набѣжала тучка и началъ накрапывать крупный дождь. Китти уговаривала меня уйти въ комнаты, но мнѣ было такъ пріятно сидѣть на скамьѣ, что я закапризничалъ и не пошелъ въ домъ. Она быстро сбѣгала, принесла мой пледъ и укутала меня всего. Я схватилъ ея руку и крѣпко пожалъ... Она смотрѣла на меня довольными, радостными глазами...

— Вѣдь я братъ твой?—тихо спросилъ я, не выпуская ея руки.—Ты любишь меня... какъ брата?..

— Люблю,—сказала она, и вдругъ поцѣловала меня такимъ долгимъ поцѣлуемъ, что голова моя закружилась... и сердце забилось такъ радостно.

Черезъ недѣлю, или дней черезъ шесть, я совсѣмъ освоился съ этимъ новымъ положеніемъ и даже мнѣ странно казалось, что все это могло быть когда-нибудь иначе, то-есть что Китти могла быть невѣстой не Паши, а моей.

Въ эту недѣлю оказалось. что Паша съ самаго дѣтства любилъ ее, но ни разу ничѣмъ не выказалъ его глубокой, осмысленной привязанности. Въ послѣдній годъ своей студенческой жизни онъ только и мечталъ о томъ, какъ онъ пріѣдетъ и сдѣлаетъ предложеніе Китти. Словомъ, я тысячу разъ благодарилъ судьбу, что все дѣло устроилось именно такъ, какъ это было лучше и правильнѣе... не для меня, а для другихъ.

Все приданое было уже готово, и день свадьбы былъ назначенъ. Выбрали для этого 16 сентября—день рожденія Китти. Я уже давно выѣзжалъ и давно далъ слово, что буду шаферомъ у Паши. Китти пригласила къ себѣ шаферомъ Нефилова, брата одной барышни, сосѣдки по имѣнію.

Разъ вечеромъ Паша, обнявъ меня, сказалъ мнѣ:

— Ты не сердишься на меня, что я у тебя... какъ будто, отбилъ невѣсту? Нѣтъ?

— Странный вопросъ,—сказалъ я.—Ты видишь, что я радуюсь твоему счастію...

Онъ крѣпко пожалъ мнѣ руку и поцѣловалъ меня.

— Паша! — сказалъ я. — Знаешь ли, мнѣ кажется, это безчеловѣчно...

— Что такое?

— Отнять у человѣка его счастіе.

— Это ты обо мнѣ говоришь?

— Нѣтъ! Сохрани Богъ! Я говорю о себѣ. По всѣмъ правамъ Китти тебѣ принадлежитъ... Какое же я имѣю право... И мнѣ не суждено!.. Тутъ была ошибка съ моей стороны...—Но, проговоривъ это, я совершенно неожиданно почувствовалъ приливъ слезъ къ горлу, отвернулся и заплакалъ...

— Это ничего!.. Это невольно... Пройдетъ... Ты не смотри... Это отъ болѣзни,—говорилъ я сквозь слезы.

Онъ ничего не сказалъ, но круто повернулся и вышелъ вонъ. Цѣлый вечеръ онъ не былъ дома.

Я долго ждалъ его, сидя на крыльцѣ. Наконецъ, тетя прогнала меня въ комнаты.

Онъ вернулся въ 11 часовъ сумрачный, печальный.

— Паша!—сказалъ я.—Пожалуйста!.. Не смотри на мои глупыя невольныя слезы и помни, я счастливъ — твоимъ счастьемъ и счастьемъ Китти и другого мнѣ не надо. Я не хочу другого счастья. Это выше, драгоцѣннѣе... Чужая радость больше, сильнѣе возвышаетъ и наполняетъ сердце, чѣмъ своя собственная.

Онъ ничего не сказалъ, только еще разъ обнялъ, поцѣловалъ меня и задумчивый легъ спать.

На другой день, онъ еще спалъ, когда Китти и Мавра Панкратьевна пріѣхали къ намъ.

Китти увлекла меня въ садъ.

— Послушай, — сказала она, когда мы были одни въ аллеѣ.—Не разстраивай Пашу!.. Прошу тебя... Вѣдь ты рѣшился... Ты соединилъ насъ... Чего же?

— Китти, — перебилъ я ее, — дорогая моя!.. Вѣрь, что вчерашнія глупыя слезы вырвались невольно... Я самъ не знаю, что со мной сдѣлалось... Отчего я вдругъ заплакалъ...

— Онъ пріѣхалъ къ намъ вчера...

— Онъ былъ у васъ?

— Да! И мнѣ много стоило труда уговорить его, чтобы

онъ не отказывался... Ты понимаешь, что мнѣ... неловко было это дѣлать... Какъ будто я насильно навязываю ему себя... Онъ былъ въ такомъ отчаяніи, что даже хотѣлъ убить себя... Это ясно показываетъ, какъ онъ крѣпко любитъ и меня, и тебя...

— Я въ этомъ никогда и не сомнѣвался, Китти. Никогда!

— Пожалуйста, чтобы все это осталось втайнѣ, между нами...

Я нѣсколько разъ горячо поцѣловалъ ея руку.

— Добрая моя!—сказалъ я.—Конечно, все это останется между нами.

Только-что мы кончили это объясненіе, какъ явился Паша, веселый и ясный, какъ всегда. О вчерашнемъ никто изъ насъ не вспоминалъ или не говорилъ. Мы отлично провели утро. Китти и Мавра Панкратьевна обѣдали у насъ и пробыли до вечера. Вечеромъ мы проводили ихъ и еще разъ рѣшили, что свадьба будетъ въ первое воскресенье, т.-е. 16 сентября.

Но тутъ вмѣшалась судьба и разразилась страшнымъ ударомъ, котораго мы не ожидали.

Наканунѣ Воздвиженья, поздно ночью, къ намъ прискакалъ верховой, Трофимка, изъ деревеньки Китти.

Тетя разбудила насъ, вызвала меня изъ спальной и сказала дрожащимъ голосомъ:

— Васъ зовутъ!.. Съ Китти случилось несчастіе. Она обожглась...

Признаюсь, когда я услыхалъ это, мнѣ сдѣлалось дурно. Правда, голова моя была еще слаба послѣ болѣзни.

Я разбудилъ Пашу. Онъ въ испугѣ началъ метаться и кричать. Самъ помогалъ запрягать кучеру лошадь, но, не дождавшись конца, вывелъ изъ конюшни другую лошадь, Степца, лошадь молодую и горячую, вскочилъ на нее неосѣдланную, бросился стремглавъ по дорогѣ и ускакалъ.

Черезъ десять минутъ мы съ тетей были готовы и поскакали вслѣдъ за нимъ...

Несмотря на позднее время, у небольшого крыльца ихъ скромнаго, уютнаго домика, толпился народъ, раздавались стоны и рыданія...

Я растолкалъ толпу и провелъ тетю. Помню, голова моя кружилась и болѣла, въ вискахъ стучало. Мы прямо прошли въ комнату Мавры Панкратьевны. Китти лежала на ея широкой двуспальной кровати... и тихо однообразно стонала... Я помню, какъ свѣча, заслоненная ширмой и уже догорѣвшая, бросала неясные отсвѣты на ризу образа Спасителя, висѣвшаго въ углу надъ кроватью. Другой образъ «Неопалимой Купины» стоялъ подлѣ кровати на столикѣ...

Паша сидѣлъ у постели и молча, сосредоточенно смотрѣлъ на Китти... Его лицо мнѣ показалось какимъ-то напряженнымъ. Всѣ мускулы его, казалось, натянулись и взглядъ широко раскрытыхъ неподвижныхъ глазъ сосредоточенно и угрюмо смотрѣлъ на бѣдную Китти...

— Что съ ней?—тихо спросилъ я его дрожавшимъ голосомъ.

Но онъ или не слыхалъ меня, или не хотѣлъ отвѣтить мнѣ.

Я чувствовалъ, какъ дрожали у мена руки и ноги, и голову застилалъ туманъ... Я боялся, что вдругъ упаду... Какая-то, точно каменная, холодная глыба сдавила мнѣ всю грудь.

Вездѣ были испуганныя, растерянныя лица. Въ углу залы стонала и металась, сидя на креслѣ, Мавра Панкратьевна. Нѣсколько человѣкъ ухаживали за ней.

Самъ не знаю, какъ я вышелъ на балконъ, въ садъ.

Ясное небо, на которомъ уже робко разливался первый разсвѣтъ утра, блестѣло своими звѣздочками. Я взглянулъ на него и прошепталъ:

«Господи! Твоя ли это воля?»

IX.

Вотъ что случилось съ нашею дорогою Китти. Вечеромъ, уже довольно поздно, ложась спать, она нечаянно толкнула лампу со столика. Лампа разбилась, керосинъ разлился и вспыхнулъ. Вслѣдъ за нимъ вспыхнулъ кисейный пологъ ея постели. Вмѣсто того, чтобы бѣжать, она бросилась тушить его. Въ это время на ней вспыхнуло платье... Не потерявъ присутствія духа, несмотря на сильный обжогъ, она бросилась кататься на полу, стараясь затушить на себѣ огонь, но, разумѣется, это не помогло, и она съ крикомъ: «спасите, я горю!» бросилась съ лѣстницы...

Она выбѣжала прямо на дворъ. Ея крикъ тотчасъ же услыхали, за ней бросились бѣжать... Но она уже потеряла способность управлять разсудкомъ... Она думала, что сильнымъ бѣгомъ она, наконецъ, затушитъ пламя, которое охватило ее со всѣхъ сторонъ. Она бѣгала съ такою быстротой, что никто не могъ догнать ее.

Наконецъ, въ общей суматохѣ, бѣготнѣ и крикахъ удалось кому-то догнать ее, накинуть на нее попону и свалить на землю.

Когда разразился этотъ страшный ударъ, то всѣ потеряли голову и старались помочь, чѣмъ могли, прежде чѣмъ вспомнили о Пашѣ. Платье и бѣлье во многихъ мѣстахъ пригорѣло къ тѣлу, и для того, чтобы отдѣлить обуглившіеся куски, приходилось снимать ихъ съ кожей.

Рѣшились посадить несчастную въ ванну съ холодною водой, полагая, что платье намокнетъ и само отдѣлится отъ тѣла; но частые обмороки испугали всѣхъ, и тогда-то, въ отчаяніи, вспомнили о Пашѣ и послали за нами.

Мы, то-есть, я и тетя, пріѣхали уже тогда, когда бѣдной

Китти была дана порядочная доза морфія и даже немного хлороформа внутрь. Но все это были палліативы.

По лицу Паши я ясно видѣлъ, что онъ самъ терялъ голову и не зналъ, что дѣлать...

Просидѣвъ около часа у постели Китти, онъ, шатаясь, всталъ и вышелъ въ залу. Я пошелъ за нимъ.

— Паша! Неужели нѣтъ силъ помочь этимъ страданьямъ?..

Онъ вдругъ накинулся на меня съ ужаснымъ отчаяніемъ.

— Что мы знаемъ?!. Одни говорятъ, надо содрать кожу. Я на это не рѣшусь... Другіе говорятъ, надо... дѣйствовать по натурѣ... Помогать ей... Пусть обжоги перейдутъ въ нагноеніе и струпья сами отвалятся... Да ты пойми!.. Какія страданія! Когда всѣ нервы у тебя, всѣ кончики ихъ сожжены... Хорошо имъ говорить!.. судить, а въ сущности... всѣ мы дураки... И пока идетъ нагноеніе, она десять, двадцать разъ успѣетъ умереть...

Онъ схватился за голову и быстро вышелъ вонъ. Помню, я машинально прошелъ въ дѣвичью. Тамъ Анна Трофимовна, няня Китти, разсказывала что-то какой-то пришедшей женщинѣ и плакала. Безсознательно я подошелъ къ нимъ и началъ прислушиваться.

— Матушка, Царица Небесная! Мы, знашь, приподняли ее, а бочекъ-то весь обгорѣлъ и подъ горѣлымъ лифомъ-то, какъ есть вотъ живо мясо... и кровь сочится...

Мнѣ сдѣлалось дурно и я поскорѣе вышелъ на воздухъ...

«Господи! Думалъ я, къ чему же эти страшныя страданія...» и мнѣ вдругъ припомнилось: «думаете ли вы, что тѣ восемнадцать человѣкъ, на которыхъ упала башня Силоамская и убила ихъ, были грѣшнѣе другихъ... Нѣтъ! Но и вы всѣ погибнете также, если не раскаетесь!» Да въ чемъ же здѣсь раскаяваться!?

Весь остатокъ ночи, все утро и весь день протянулись въ мучительномъ томленіи. Она лежала въ полузабытьѣ и

почти постоянно тихо стонала... Или вдругъ начинала метаться и почти тотчасъ же впадала въ безсознательное состояніе.

Паша выписалъ изъ города другого доктора.

— Я самъ,—говорилъ онъ,—не могу принять на себя отвѣтственности. Я слишкомъ близко стою...

Пріѣхалъ уже пожилой степенный человѣкъ. Паша заперся съ нимъ въ залѣ. Я было попросилъ позволенія присутствовать при ихъ консиліумѣ, но Паша замахалъ руками...

— Нѣтъ! Нѣтъ!—сказалъ онъ.—Это тебя только разстроитъ...

Общими совѣтами оба доктора рѣшили повторить то же, что пробовали сдѣлать и простые люди, хотя для другой цѣли... Рѣшили опять посадить бѣдную Китти въ холодную ванну.

— Паша! милый мой...—остановилъ я его въ корридорѣ,—скажи мнѣ, пожалуйста, для чего эта ванна?..

Онъ быстро съ нетерпѣньемъ отвѣтилъ:

— Чтобы помѣшать общему воспалительному процессу...— И, махнувъ рукой, пошелъ распоряжаться.

Когда стали сажать ее въ ванну, то я убѣжалъ изъ дома. Я не могъ вынести ея стоновъ и воплей... Я убѣжалъ въ садъ, бросился на колѣни и съ плачемъ молился... Но какой-то голосъ шепталъ: къ чему? зачѣмъ? Никого не упросишь, не умолишь.... Неизбѣжное должно совершиться...

Изъ ванны ее вынули снова въ обморокѣ и этотъ обморокъ продолжался около часа. Такъ что Паша уже думалъ, что это смерть... Но это была остановка сердца...

Къ вечеру ей какъ будто стало лучше или она затихла и все въ домѣ притихло... Но черезъ часъ начались опять тѣ же мучительные стоны. Я не могъ видѣть ея страданій. Притомъ со мной сдѣлалось лихорадочное состояніе, и тетя уложила меня въ гостинной на диванѣ. Я почти всю ночь

бредилъ и только къ утру задремалъ и уснулъ. Тетя, вся въ слезахъ, пришла и разбудила меня.

— Поди!—сказала она,—простись съ ней... Она отходитъ...

Помню, я вскочилъ и бросился въ спальню Мавры Панкратьевны... Помню, что въ залѣ я мелькомъ видѣлъ священника... Въ спальнѣ было много людей... Многіе плакали. Паша стоялъ на колѣняхъ у самой постели и положилъ голову на кровать. Страшно исхудалая лѣвая рука Китти бѣлѣла на этой головѣ... А сама она лежала неподвижно, только вся грудь ея постоянно подергивалась. Лицо ея было неузнаваемо. Страшно блѣдное, исхудалое, съ широко раскрытыми, остолбенѣлыми глазами. Они смотрѣли и, кажется, ничего не видѣли. Что-то хрипѣло и билось въ ея горлѣ... Помню, я хотѣлъ подойти къ ней и не могъ... Голова моя закружилась и я безъ чувствъ упалъ у ея постели.

X.

Когда я пришелъ въ себя, то она уже лежала въ залѣ, на столѣ, и дьячекъ мѣрнымъ однообразнымъ голосомъ читалъ надъ ней молитвы.

Все это мнѣ живо напомнило смерть и похороны Петра Васильевича. Голова моя постоянно кружилась... Я положительно не могъ повѣрить, что все уже кончено, что я ее никогда не увижу... Мнѣ казалось, что вотъ, вотъ раздастся ея голосъ—голосъ живой Китти, а это... тамъ—мертвая Китти... не моя родная, не сестра!..

Помню и тетя, и Мавра Панкратьевна сильно ухаживали за мной; давали мнѣ какого-то лѣкарства, давали нюхать и нашатырный спиртъ, и эѳиръ. Онѣ обѣ уговаривали меня

ѣхать домой; но я упорно этому воспротивился. Помню, тетя привела ко мнѣ Пашу...

Меня поразило его пожелтѣлое, осунувшееся лицо, растрепанные волосы и дикій, блуждающій взглядъ. «Онъ точно сумасшедшій!» подумалъ я.

— Ну, что? какъ?.. Лихорадитъ?..—спросилъ онъ отрывисто, пощупалъ пульсъ, и я замѣтилъ при этомъ, что руки его дрожали. Притомъ и голосъ его былъ какой-то глухой, хриплый.

Я подумалъ тогда: «ему тяжело, потому что онъ не можетъ плакать...» и собралъ всѣ свои силы, чтобы удержаться и не заплакать при немъ.

Черезъ день Китти похоронили. Дни стояли теплые, и Паша торопилъ съ похоронами.

Весь этотъ день я провелъ въ полуснѣ. Паша, можетъ быть, по ошибкѣ, далъ мнѣ сильную дозу опіума, такъ что Мавра Панкратьевна и тетя все отпаивали меня крѣпкимъ кофе. На другой день, рано утромъ, я проснулся съ тяжелою головой. Мнѣ казалось, что жизнь моя началась снова въ какой-то темной пустынѣ.

Я машинально поѣхалъ, или, лучше сказать, меня повезли на похороны. Точно во снѣ я помню всю эту суетню... Слезы и рыданія, много народа, яркое солнце, пыль, запахъ дегтя и ладона. Все это было какъ будто далекое, чужое, и только какой-то надоѣдный, назойливый голосъ постоянно напѣвалъ мнѣ одно и то же: Китти нѣтъ! Китти нѣтъ! Китти нѣтъ!..

Помню, священникъ говорилъ какую-то проповѣдь, вяло и монотонно; помню, Паша былъ необыкновенно суетливъ. Онъ бѣгалъ и распоряжался. Его исхудалое лицо было сосредоточенно, озлобленно и угрюмо; глаза горѣли и бѣгали. Послѣ похоронъ онъ усадилъ меня въ тарантасъ и повезъ домой.

Тетя осталась у Мавры Панкратьевны. Пашу также уговаривали остаться обѣдать, но онъ настойчиво отказался,

Вечеромъ головѣ моей стало лучше, и я, не раздѣваясь не помню, какъ уснулъ на мягкомъ турецкомъ диванѣ. Проснулся я часу уже въ первомъ. Кругомъ было темно и только въ диванной былъ свѣтъ. Я, шатаясь, пошелъ туда. Тамъ сидѣлъ Паша одинъ; онъ сидѣлъ предъ каминомъ верхомъ на легкомъ стулѣ. Всѣ черты лица его, слабо освѣщенныя краснымъ огнемъ камина, ясно выражали глубокое страданіе. Въ большой комнатѣ было почти совсѣмъ темно. Небольшая лампа въ углу подъ темнымъ абажуромъ больше коптила, чѣмъ давала свѣта. Я подкатилъ мягкое кресло къ камину и опустился въ него. Прямо противъ насъ была настежъ отворенная дверь въ залу, тамъ было совершенно темно.

— Это ты хорошо сдѣлалъ, что велѣлъ затопить каминъ,—сказалъ я, опускаясь въ мягкое кресло и кутаясь въ свой пледъ.—Сыро и холодно!

— Дай-ка мнѣ руку,—сказалъ онъ.—Лихорадка это или нѣтъ?—И я протянулъ ему руку.

«Это онъ, навѣрно, для меня велѣлъ затопить каминъ», —подумалъ я. И какое-то нѣжное, братское чувство и умиленіе заговорили въ моемъ сердцѣ.

— Нѣтъ, ничего!—сказалъ онъ, опуская мою руку.

— Паша,—сказалъ я,—одинъ разъ Китти высказала мнѣ убѣжденіе, что наша судьба не отъ насъ зависитъ. Тотъ, Кто управляетъ ей, Тотъ устраиваетъ и наши браки, и наши связи.

Онъ какъ-то нервно, досадливо передернулся и пожалъ плечами.

— Ребяческое вѣрованіе!.. Бабьи сказки!..—проворчалъ онъ.

— Паша! Если вѣришь во что-то великое, внѣшнее и

разумное, что управляетъ міромъ... то понимаешь, что у этого существа, у этого центра есть и чувство, и свобода, и воля, которую мы не понимаемъ.

— Еслибы была вообще свобода и воля, то можно было бы этому повѣрить, а на самомъ дѣлѣ этого нѣтъ... Все это фикціи, наши собственныя измышленія.

Я чувствовалъ, какъ холодъ и безнадежный, отчаянный ужасъ сжалъ мнѣ сердце.

— Паша!—вскричалъ я,—вѣдь такъ же нельзя жить!.. Къ чему же жить, если...

— Къ тому, что живется. Законъ природы таковъ: все живое любитъ жизнь, и живи... Старайся, чтобы жизнь была лучше и легче...

— Паша!.. Это безнравственно!.. Это эгоизмъ!..

— Живи для другихъ, если это больше тебѣ нравится...

— Я полагаю, что есть что́-то аналогичное намъ, но неизмѣримо высшее, и часть этого нѣчто живетъ въ насъ... Она свободна...

— Чепуха!.. Идеализація!..—сказалъ онъ рѣзко и покраснѣлъ —Оттого и міръ до сихъ поръ не устроенъ, что существуютъ въ немъ такіе идеализаціи и мечтатели... Пойми, что ничего, ничего нѣтъ: ни воли, ни свободы... ничего, кромѣ законовъ... Извѣстныхъ правилъ, аксіомъ непреложныхъ, безсмысленныхъ, глупыхъ... и весь міръ вертится, какъ механизмъ, подчиняясь этимъ законамъ.

Онъ порывисто всталъ, оттолкнувъ стулъ, на которомъ сидѣлъ и который съ рѣзкимъ стукомъ упалъ на полъ. Я невольно вздрогнулъ, но онъ не обратилъ на это вниманія, не поднялъ стула и началъ быстро ходить взадъ и впередъ.

«Боже мой! думалъ я, какъ мнѣ убѣдить его... вернуть къ тѣмъ вѣрованіямъ, которыя казались мнѣ святыми и непреложными. Онъ больше меня знаетъ... Онъ изучалъ, а я

только думалъ... Онъ пришибетъ меня знаніемъ, фактомъ... Въ немъ нѣтъ вѣры...»

Онъ вдругъ остановился предо мной, скрестивъ руки, и проговорилъ, глухимъ, дрожащимъ голосомъ:

— Если я до сихъ поръ вѣрилъ еще чему-нибудь, то теперь ничему не вѣрю... Теперь единственное, что связывало меня со всею этою чепухой, которую зовутъ людскою жизнью, порвалось. Меня ничто не тянетъ и ничто не обязываетъ... Ты, можетъ быть, подивился, зачѣмъ я затопилъ каминъ... Затѣмъ, что я сжегъ нѣкоторыя письма, которыя могли компрометтировать моихъ товарищей... а почему я сжегъ? Потому, что разсчеты мои кончены... Это я тебѣ прямо и во всеуслышаніе объявляю, ибо рѣшеніе мое неизмѣнно. И только теперь мнѣ остается выбрать наиболѣе удобную минуту, чтобы окончательно прекратить эту дурацкую механику, а средство всегда со мной... Вотъ оно!..

И онъ быстро вынулъ изъ бокового кармана сюртука небольшой револьверъ.

Я помню, какъ при видѣ этого револьвера я вдругъ почувствовалъ въ себѣ необыкнованный наплывъ силы, энергіи...

— Паша!.. вскричалъ я, вскакивая съ кресла, и схватилъ его за борты его форменнаго сюртука.—Паша!.. шепталъ я, задыхаясь и ни помня себя,—если въ тебѣ есть еще хоть капля привязанности ко мнѣ...

— Есть!—сказалъ онъ тихо и строго.—Есть, и потому я и медлю... Жду твоего выздоровленія.

Въ это самое время въ залѣ что-то стукнуло и какъ-то странно зашуршало.

Мы оба невольно обернулись туда.

Тамъ было совершенно темно, но среди этой черной темноты что-то сѣрѣло, какое-то небольшое облачко тумана.

Оно волновалось, расло, и вдругъ на самомъ порогѣ

диванной, въ трехъ шагахъ предъ нами, это облачко приняло видъ человѣческой фигуры и превратилось въ Китти.

Она стояла предъ нами, какъ живая... Она протягивала къ намъ руки, волновалась, какъ будто силилась что-то сказать, и, наконецъ, тихо, но явственно проговорила:

— Божья воля!

И вслѣдъ за этимъ какъ-то разсѣялась, исчезла.

Мы оба нѣсколько секундъ молча, испуганно смотрѣли другъ на друга. Лицо Паши сильно поблѣднѣло; глаза какъ бы остолбенѣли и всѣ волосы поднялись дыбомъ. Его холодная рука сильно дрожала въ моихъ рукахъ.

— Ты видѣлъ?—спросилъ онъ шопотомъ.

Я молча кивнулъ головой.

— Это она говорила!.. Ея голосъ?..

И, не дожидаясь моего отвѣта, онъ стремительно бросился въ залу. Я пошелъ за нимъ.

Онъ нѣсколько разъ чиркнулъ спичку; очевидно, руки его тряслись. Наконецъ, пламя ярко вспыхнуло, спичка загорѣлась; онъ поднялъ ее высоко надъ головой и молча оглянулся кругомъ. Въ залѣ никого не было. Онъ подошелъ къ двери въ переднюю, толкнулся въ нее, но дверь была заперта. Ее всегда запирали на ночь.

Онъ молча, шатаясь, снова вошелъ въ диванную и опустился на кресло... Но черезъ нѣсколько секундъ вскочилъ и пошелъ, тихо проговоривъ:

— Я пойду... выпью воды... у меня голова кружится.

— Дай я тебѣ принесу.

И я всталъ и пошелъ за нимъ въ столовую. Онъ выпилъ воды, потеръ лобъ и сказалъ:

— Я пройдусь. Мнѣ душно!..

И онъ направился въ переднюю.

— Паша!..—сказалъ я.

— Что тебѣ?—спросилъ онъ.

Мнѣ казалось, что онъ выйдетъ и убьетъ себя.

Я молча смотрѣлъ на него, и онъ будто угадалъ мою мысль.

— На! сказалъ онъ, протягивая мнѣ револьверъ, —не бойся. И ложись, пожалуйста, спать... Прими валерьяны и ложись спать. Завтра опять будешь лихорадить.

Съ этого памятнаго дня прошло болѣе десяти лѣтъ; но все что я разсказалъ, живо и ясно въ моей памяти, какъ будто бы оно случилось только вчера. Вспоминая объ этихъ страшныхъ событіяхъ моей молодости, объ этомъ таинственномъ непостижимомъ явленіи Китти, мнѣ кажется я переживаю тѣ же впечатлѣнія, тѣ же чувства, которыя волновали меня тогда.

Черезъ годъ послѣ смерти Китти Паша женился. Онъ женился на молоденькой, богатой полтавской помѣщицѣ. Оба они чуть ли не съ перваго взгляда влюбились другъ въ друга и любовь ихъ увѣнчалась успѣхомъ.

У нихъ теперь трое хорошенькихъ дѣтокъ, моихъ племянниковъ, которыхъ я крѣпко люблю, хотя и очень рѣдко видаю.

Тетя моя умерла. Я живу совершенно одиноко въ нашемъ старомъ гнѣздѣ, гдѣ все полно воспоминаніями о моей милой Китти. Я добылъ ея портретъ, снялъ съ него большую фотографію и повѣсилъ ее предъ моимъ письменнымъ столомъ. Я перенесъ мой кабинетъ въ диванную. Очень часто въ безсонныя ночи или долгіе скучные осенніе вечера я смотрю на портретъ Китти и думаю, съ замираніемъ сердца посматривая на открытую дверь въ темную залу.

«Отчего же ты... вотъ теперь... дорогая, родная моя, не явишься мнѣ, не придешь, какъ пришла тогда?.. Или мало я любилъ и люблю тебя?..»

«Божья воля!» шепчетъ мое сердце, и я успокоиваюсь на этомъ и затихаю.

То, что намѣчено въ томъ великомъ механизмѣ, что лежитъ въ судьбахъ всѣхъ атомовъ, людей и народовъ, то

неизбѣжно должно совершиться. Я въ этомъ увѣренъ... Наши желанія и стремленія, наши пламенныя, усердныя, долгія и многолѣтнія молитвы могутъ только отчасти измѣнить, сдѣлать не столь острою и мучительною великую волю... Но она постоянно дѣлаетъ свое дѣло и никто не можетъ остановить ее... Многіе, можетъ быть, будутъ такими же великими пророками и подвижниками, какъ Іоаннъ Крститель, и также «меньшими» назовутся въ томъ мірѣ, гдѣ правда, любовь и свобода царятъ во всейихъ чистотѣ и блескѣ.

Много будетъ жертвъ, но еще больше будетъ милостей и радостей... И всѣ эти жертвы только мимолетный сонъ, единый мигъ страданія... Они приходятъ и уходятъ, какъ тѣни... Остается одно твердое, незыблемое—вѣчное и благое...

И въ этомъ вся великая надежда и утѣшеніе!..

Я помню, разъ, въ дѣтствѣ я былъ у всеношной съ тетей. Въ тотъ день у меня умерла птичка, снигирь, который былъ ко мнѣ крѣпко привязанъ. Я цѣлый день плакалъ и въ слезахъ меня повезли въ церковь. Я, помню, горячо молился предъ большимъ, стариннымъ, старообрядческаго письма, образомъ Спаса. Я молился: «Господи! Помилуй мою птичку, моего снигурку, и дай ему, если можно, вѣчную жизнь въ радости и счастьи!» Помню, сквозь злезы я смотрѣлъ на образъ, на большую, раскрытую книгу, которую Спаситель держалъ въ рукѣ... и помню, въ первый разъ бросились мнѣ въ глаза слова, очень крупно написанныя въ этой книгѣ: «Блаженны плачущіе, яко тіи утѣшатся».

«Господи! думаю я теперь: если, дѣйствительно, въ томъ, вѣчномъ Твоемъ мірѣ, утѣшатся всѣ... всѣ плачущіе, то какой же радости нужно еще для насъ, если мы, дѣйствительно, любимъ нашихъ братій и желаемъ имъ счастія...»

«Тебѣ отмщеніе и Ты воздашь!»—и Тебѣ правосудіе: великое и благое.

ФАНАТИКЪ.

Разсказъ.

I.

Если я предаю теперь гласности все это событіе, то это я дѣлаю съ твердою увѣренностью, что мой разсказъ никому уже не можетъ повредить. Прошло около полстолѣтія съ тѣхъ поръ, какъ свершилась эта ужасная и грустная исторія.

Осенью 1848 года мы собирались праздновать свадьбу моего друга и товарища Саши Колонкина. Должно сказать, что вообще наша молодая жизнь катилась тогда на всѣхъ парусахъ самымъ беззаботнѣйшимъ образомъ. Казалось бы, что суровый общественный режимъ, который тогда тяготѣлъ надъ всею внутреннею политикой Россіи, никакъ не могъ расположить къ такой беззаботности, но именно этотъ режимъ, какъ мнѣ кажется, и велъ насъ къ этой веселой, беззаботной, ни надъ чѣмъ незадумывающейся жизни. Для насъ какъ будто все еще продолжалась пора нашей свѣтлой юности, въ которой каждый изъ насъ былъ силенъ сознаніемъ крѣпкаго товарищества и общей коллективной силы.

Изъ столицъ, и преимущественно изъ Москвы, до насъ доходили смутные, таинственные отголоски иного строя общественной жизни. Но мы какъ-то придавали имъ мало значенія. Они скользили такъ незамѣтно по всѣмъ мелкимъ забавамъ и легкимъ трудамъ, изъ которыхъ была сложена наша молодость. Впрочемъ, я долженъ оговориться, что, можетъ быть, здѣсь большую роль игралъ мой слишкомъ дѣтскій, покладистый, беззаботный характеръ. Можетъ быть, этотъ характеръ или эта особенность мѣшала мнѣ разглядѣть и ту серьезную черту въ характерѣ моего Саши, надъ которой я никогда не задумывался и которую даже не замѣчалъ.

Всѣхъ насъ, его товарищей, подкупала его неподдѣльная искренность и слишкомъ теплая пріязнь ко всѣмъ намъ и ко всѣмъ, съ кѣмъ онъ встрѣчался на жизненномъ пути.

Мы были съ нимъ однокурсники, и хотя принадлежали къ разнымъ факультетамъ, но очень часто на лекціяхъ встрѣчались, а иногда цѣлые вечера проводили вмѣстѣ. Когда мы были на второмъ курсѣ, то всѣ мы, его товарищи, были убѣждены, что онъ пойдетъ въ монахи, до того онъ былъ проникнутъ аскетическими убѣжденіями. Но все это соскочило, когда онъ перешелъ на четвертый курсъ. Онъ, казалось, весь отдался серьезному изученію медицинскихъ предметовъ. Какъ теперь помню одинъ нашъ разговоръ. Это было осенью. Всѣ наши товарищи цѣлою гурьбой собрались слушать какую-то заѣзжую пѣвицу (кажется, ея фамилія была Грандини). Зашли они за Сашей, но онъ не пошелъ съ ними. Онъ говорилъ намъ о вредѣ для человѣка суетныхъ увлеченій, о томъ, что деньги, которыя мы понесемъ въ концертъ, могутъ идти съ большою пользой на какое-нибудь доброе дѣло.

— А это развѣ не доброе дѣло—наслаждаться музыкой? Развѣ она... того... не возвышаетъ душу?—прервалъ его длинный, угрявый Конотопчиковъ.

Другіе ему поддакивали, вышучивали и высмѣивали дикія убѣжденія Саши. И всѣ съ хохотомъ отправились въ концертъ.

— Останься хоть ты со мной,—сказалъ Саша, схвативъ мою руку.—Мнѣ надо о многомъ поговорить съ тобой.

Я, помню, посмотрѣлъ на его добродушное, симпатичное лицо, на его глубокіе, нѣжные глаза, на его слегка волнистые, мягкіе свѣтлорусые волосы и остался. Мнѣ стало жаль его.

Когда всѣ ушли, онъ нѣсколько разъ прошелся по большой «занимательной» комнатѣ (онъ былъ казеннымъ студентомъ).

— Они всѣ живутъ... и не думаютъ,—началъ онъ, продолжая ходить по комнатѣ.

— Что же,—прервалъ я.—Это и хорошо. Для всякаго дѣла придетъ своя пора... Если молодость живетъ безъ думы, то старость будетъ думать за нее.

— Нѣтъ! Такъ нельзя!.. нельзя!.. На то намъ данъ умъ, разсудокъ, чтобы жить умно... А развѣ можно назвать разумною нашу жизнь?.. Можно?—спросилъ онъ вдругъ, остановившись предо мной.—Мы всѣ живемъ минутною прихотью сердца. Живемъ потому, что не понимаемъ жизни.

— Ну,—прервалъ я его,—ты опять пустишься въ твои монашескія тенденціи...

— Нѣтъ, нѣтъ,—вскричалъ онъ, схвативъ меня за руку и крѣпко пожимая ее.—Слушай, я только хочу тебѣ показать, къ чему приводитъ наша беззаботная жизнь. Я крѣпко благодаренъ судьбѣ, Богу за то, что она поставила меня на мой путь, на путь медика... Здѣсь можно сдѣлать гораздо больше добра, чѣмъ на всякомъ другомъ пути... Что полезнѣе и выше, какъ не облегчать страданія бѣднаго человѣка, твоего ближняго? Неправда ли, это великое, высокое призваніе!.. И я буду вѣренъ ему,—сказалъ онъ съ увлеченіемъ

и протянулъ руку къ маленькому образку Нерукотворнаго Спаса, висѣвшему въ углу комнаты.—Онъ будетъ для меня примѣромъ... у меня нѣтъ и, вѣроятно, никогда не будетъ Его цѣлительной силы, но я буду изъ всѣхъ силъ стараться лѣчить какъ можно лучше и добросовѣстнѣе... Ты видишь,—продолжалъ онъ, указывая на цѣлый ворохъ книгъ, которыя лежали на широкой конторкѣ и на табуретахъ.—Я беру дѣло ab ovo... Я даже принялся за Гипократа... Отъ Гипократа до Рокитанскаго... все изучу добросовѣстно... Ахъ! еслибъ у меня были средства, я тотчасъ же бросился бы въ Москву... Тамъ Оверъ, Иноземцевъ, или въ Питеръ, или за границу... Я изучилъ бы все, что до сихъ поръ стало доступно человѣку. Можетъ быть, я нашелъ бы новые пути, новыя средства служить больному человѣчеству.

— А помнишь Фауста?—перебилъ я его.

— Что такое?—спросилъ онъ вдругъ, остановившись предо мной.

— Помнишь сцену за городомъ... Когда народъ окружаетъ Фауста и благодаритъ его за его лѣченіе.

— Ну!.. Что-то не помню.

— А онъ, обращаясь къ Вагнеру, говоритъ, что они вмѣстѣ съ отцомъ трудились надъ алхимическими зельями и давали ихъ больнымъ.

Больные наши умирали,—говоритъ онъ,—
Никто не спрашивалъ у насъ,
Кого спасли мы въ смертный часъ...
Мы хуже мора убивали
Хваленымъ дѣйствіемъ соковъ
Толпу довѣрчивыхъ глупцовъ,
Я бѣдныхъ самъ поилъ мучительной отравой,
Мои больные въ гробъ слегли...

— Нѣтъ, нѣтъ,—прервалъ онъ меня.—Ради Бога, не смущай моей мечты!.. Я не вижу иного служенія человѣ-

честву. Я думалъ, много думалъ надъ этимъ,—и онъ отчаянно бѣгалъ изъ одного угла въ другой, захвативъ обѣими руками голову, и проводилъ ими какъ гребнями въ его длинныхъ волосахъ, за которые нерѣдко доставалось ему отъ инспектора.

— Слушай,—сказалъ онъ вдругъ, остановясь предо мной. —Есть только два пути служить человѣчеству—облегчать его нравственныя или физическія страданія. На первый путь я не гожусь и избираю другой.

— Неужели ты думаешь, что всѣ другіе пути не служатъ человѣчеству?

— Ахъ, нѣтъ,—прервалъ онъ меня съ нетерпѣніемъ.— Я этого не говорю. Я говорю только о тѣхъ путяхъ, которые наиболѣе, наилучше служатъ человѣчеству. Пойми ты... Это путь—священника и медика. Когда наша бренная оболочка отказывается служить нашему духу, то зовутъ медика. Когда же его силы и знанія оказываются безсильны возвратить человѣка къ жизни и душа готова оставить тѣло, тогда зовутъ священника. Этими двумя функціями заканчивается жизнь каждаго. Онѣ самыя серьезныя и самыя значительныя въ жизни. И изъ нихъ я избралъ одну. Понимаешь?

II.

Послѣ этого разговора прошло около восьми лѣтъ. Саша уѣхалъ въ другую губернію и изрѣдка писалъ ко мнѣ, но съ каждымъ годомъ рѣже и рѣже, и наконецъ, всякая переписка мало-по-малу заглохла и наши товарищескія связи порвались. Должно замѣтить, что его послѣднія письма были полны такими желчными діатрибами противъ

всего на свѣтѣ, и онъ проповѣдывалъ такой пессимизмъ, что «за человѣка» становилось «страшно».

И вдругъ судьба насъ снова сблизила.

Это случилось въ ясное весеннее утро. Я тогда служилъ чиновникомъ особыхъ порученій при губернаторѣ, но, собственно говоря, вся моя служба была только номинальная. Я былъ родственникъ губернатора и только числился при немъ. Жалованья я не получалъ, такъ какъ моего родового состоянія было слишкомъ для меня достаточно.

Помню какъ теперь, что я собирался выходить изъ дому и уже надѣвалъ перчатки и осматривался предъ зеркаломъ, когда человѣкъ доложилъ мнѣ, что докторъ Колонкинъ желаетъ меня видѣть и подалъ мнѣ карточку, на которой стояло: *Александръ Алекс. Колонкинъ. Докторъ медицины.*

Я съ радостнымъ чувствомъ бросился въ залу. Посрединѣ ея стоялъ Саша во фракѣ и въ перчаткахъ gris-de perle.

Я не вдругъ узналъ его, до того наружность его перемѣнилась. Это былъ худой, высокаго роста молодой человѣкъ, съ очень жиденькой бѣлесоватою бородкой и такими же длинными, шелковистыми волосами, какіе онъ носилъ студентомъ. Только эти волоса были теперь еще длиннѣе и лежали на воротникѣ его фрака. Что особенно измѣняло его, это большія, выпуклыя, синія очки, которыя онъ поминутно поправлялъ быстрымъ нервнымъ движеніемъ.

Мы съ радостью обнялись и расцѣловались.

Та же добрая, симпатичная улыбка была на его полныхъ губахъ. Но эта улыбка теперь по временамъ кривилась въ какую-то грустную гримасу.

— На долго ли? Когда? Какъ?—допрашивалъ я его, уводя въ кабинетъ.

— На долго ли, не знаю, а пріѣхалъ сюда третьяго дня изъ Т., гдѣ былъ членомъ врачебной управы, а теперь

переведенъ главнымъ докторомъ къ вамъ въ городскую больницу.

— На мѣсто Чуликова?

— Да, на мѣсто Чуликова.

— Прекрасный былъ человѣкъ и медикъ. Добрый, внимательный.

— Д-да,—сказалъ онъ какъ-то машинально.

— Ну что же, ты все остался вѣренъ твоимъ идеямъ?.. Помнишь нашу студенческую жизнь и наши разговоры въ студенческихъ занимательныхъ?

Онъ задумался слегка, быстро поправилъ очки и встряхнулъ волосами.

— Нѣ-ѣтъ! Теперь не то. Теперь совсѣмъ другое.

— Что же?.. Я былъ правъ съ моею тирадой изъ Фауста... Помнишь или опять забылъ?

Въ его лицѣ появилось то грустное, симпатичное выраженіе, которое было у него во времена студенчества.

— Да,—сказалъ онъ задумчиво.—Ты былъ правъ, хотя не совсѣмъ. Я разочаровался въ медицинѣ. Тамъ столько дряни, гадостей, невѣжества... Ты знаешь, я вѣдь былъ за границей. Ты развѣ не получилъ моего письма, которое я писалъ предъ поѣздкой въ 1854 году? Нѣтъ!.. Ну, видно, пропало.—И онъ посмотрѣлъ на часы.—Я очень радъ, что нашелъ тебя свѣжимъ и здоровымъ, довольнымъ и счастливымъ. Хотя, собственно говоря, радоваться нечему.—И онъ провелъ рукой по его высокому и прямому лбу.

— Какъ же,—удивился я,—ты относишься къ медицинѣ съ такимъ разочарованіемъ и продолжаешь быть медикомъ?

Онъ какъ-то загадочно, двусмысленно засмѣялся и сказалъ:

— Да, и продолжаю быть медикомъ. Вотъ и пойми это противорѣчіе.

Мы еще проболтали съ полчаса и разстались.

— Ну,—сказалъ онъ на прощанье,—мнѣ еще предстоитъ сдѣлать концы немалые... А у васъ нельзя сказать, чтобы мостовыя были въ исправности.

— Ты дѣлаешь теперь твои визиты?

— Да, необходимо. Я къ тебѣ еще заверну. И мы простились. Я проводилъ его до передней.

— Гдѣ же ты остановился? спросилъ я.

— Какъ гдѣ? У меня казенная квартира. Въ городской больницѣ. Заѣзжай! Спроси главнаго доктора, всякій укажетъ,—и онъ уѣхалъ.

Признаюсь откровенно, этотъ визитъ произвелъ на меня грустное впечатлѣніе. Онъ напомнилъ мнѣ доброе старое время, нашъ товарищескій кружокъ, наши дружескія отношенія. Неизвѣстно почему, я вдругъ вспомнилъ тогда одну изъ странныхъ сценъ. У Саши стояла на окнѣ занимательной въ большой банкѣ маленькая китайская рыбка. Ее подарили ему родные. Она жила уже давно, нѣсколько мѣсяцевъ, и вдругъ въ одно прекрасное утро отъ неизвѣстной причины умерла. И что же, почти двадцати лѣтній юноша плакалъ и рыдалъ надъ ней, какъ маленькій ребенокъ.

Товарищи наши дружно хохотали и потѣшались надъ нимъ. Одинъ совѣтовалъ вставить рыбку въ золотой футляръ и повѣсить на стѣнку. Другой предлагалъ похоронить ее съ подобающими почестями и воздвигнуть надъ ней эмблематическій монументъ «угасшей дружбѣ».

Помню, я обнялъ его и уговорилъ пройтись. Мнѣ казалось тогда, что это истерическое волненіе пройдетъ, когда я выведу его на свѣжій осенній воздухъ. Онъ послушался, надѣлъ шапку, накинулъ шинель и вышелъ со мной на улицу... Мы шли молча нѣсколько шаговъ.

— Вѣдь что тяжело! Что досадно!..—началъ онъ дрожащимъ голосомъ. И слезы опять покатились изъ его глазъ.

— Да ты на улицѣ-то не плачь... Видишь, какая-то сердобольная баба смотритъ на тебя.

— Досадно то, что мы, люди, такъ безчеловѣчны... Жизни радуется каждая тварь Божія, а мы лишаемъ ее этой жизни.

— Да вѣдь не ты же убилъ твою рыбку?

— Нѣтъ! Я... я.. презрѣнный. Еслибы я не взялъ ее оттуда, гдѣ ей было привольно... изъ большого бассейна, то она навѣрное до сихъ поръ бы жила и радовалась... Мы убьемъ какое-нибудь животное и равнодушно выбросимъ его трупъ. Вотъ что досадно!.. Ну, что рыбка!..—И онъ махнулъ рукой.—Сотни, тысячи, милліоны людей такъ погибаютъ, и мы смотримъ на ихъ погибель такъ же равнодушно, какъ на смерть рыбки.

И онъ вдругъ рѣзко отвернулся отъ меня и зашагалъ, не глядя на меня, по маленькому переулку, куда намъ вовсе идти не слѣдовало.

— Да постой!.. Куда же ты идешь?..—вскричалъ я, хватая его за руку; но онъ выдернулъ изъ моихъ рукъ его дрожащую руку, махнулъ ею и злобно съ раздраженіемъ прокричалъ:

— Оставь!.. Оставь меня!.. Оставьте всѣ вы меня!.. Чего вамъ!.. Мы чужіе... Не понимаемъ другъ друга.

И онъ чуть не бѣгомъ отправился съ горы по переулку, а я остался на мѣстѣ, ошеломленный этою странною выходкой.

III.

Когда онъ вернулся къ намъ, въ свой университетскій городъ (родомъ онъ былъ изъ смежной губерніи, изъ маленькаго городка Е.), то все заговорило объ немъ, какъ это

всегда бываетъ въ провинціальныхъ городахъ; притомъ люди всегда думаютъ, что новое лучше стараго. Правда, онъ былъ, вѣроятно, свѣдущѣе и опытнѣе многихъ изъ нашихъ докторовъ, и хотя многіе, которыхъ онъ пользовалъ, умирали, но за то тѣ, которыхъ онъ вылѣчилъ, кричали объ его талантливости и знаніи повсюду. И дѣйствительно, онъ былъ талантливъ, если можно такъ выразиться. Тамъ, гдѣ болѣзнь являлась сложною, тамъ онъ одинъ отличалъ существенное отъ неважнаго и попадалъ при своемъ лѣченіи именно въ то мѣсто, которое требовало прежде всего исцѣленія. По пустому, незамѣтному признаку, по маленькому прыщику на тѣлѣ онъ сразу опредѣлялъ темное глубокое внутреннее страданіе печени, селезенки, общую болѣзнь крови или мозговую опухоль. Вскрытіе всегда подтверждало его діагнозъ. Товарищи смотрѣли на него разно: одни топтали его репутацію въ грязь (это, разумѣется, были конкурренты); другіе, преимущественно молодые врачи, превозносили его до небесъ и приглашали его на консультаціи, какъ даровитаго и опытнаго совѣтника. Они не могли только объяснить себѣ одного: почему умирали нѣкоторые изъ его больныхъ, которыхъ выздоровленіе казалось несомнѣннымъ. Провинціальныя кумушки рѣшали этотъ вопросъ просто и прямо.

— У него тяжелая рука, матушка!.. Онъ—знающій, это вѣрно, но... у него тяжелая рука.

И, когда имъ указывали на тѣхъ, которыхъ онъ вылѣчилъ, то онѣ говорили:

— Ну, это такъ, какъ-нибудь... случайно.

Такимъ образомъ все въ нашемъ необширномъ городѣ рѣзко раздѣлилось на двѣ партіи. Одна партія, болѣе значительная, превозносила его до небесъ, тогда какъ другая всюду распространяла свое мнѣніе о его «тяжелой рукѣ» и его неумѣлости.

Я былъ у него нѣсколько разъ, но не заставалъ дома. Мы встрѣчались у разныхъ знакомыхъ, но поговорить по душѣ было неудобно. Наконецъ, я поймалъ его вечеромъ одного. Но и тутъ мой разсчетъ на прежнее сближеніе съ моимъ другомъ и товарищемъ оказался невѣрнымъ. Онъ былъ сдержанъ и замкнутъ. По прежнему онъ проповѣдывалъ суету и пустоту жизни, горячо указывалъ на общественныя и государственныя злоупотребленія, на упадокъ нравственныхъ силъ, на безсиліе христіанскихъ истинъ, на наше тупомысліе и животность. Однимъ словомъ, съ этой стороны онъ былъ совершенно тотъ же, какимъ я зналъ его студентомъ, но только теперь его пессимистическая проповѣдь имѣла силу. Она стояла на твердой, фактической почвѣ. Такъ что я, помню, уѣхалъ отъ него съ удивительною свинцовою тяжестью въ сердцѣ

И вдругъ чрезъ нѣсколько дней я услыхалъ, что этотъ человѣкъ женится, что онъ сдѣлалъ предложеніе.

Помню, первое мое впечатлѣніе было непріятное. Я обвинилъ его въ скрытности, въ томъ, что онъ не признался мнѣ нѣсколько дней тому назадъ,—мнѣ, съ которымъ онъ былъ ближе, чѣмъ со всѣми въ городѣ. Но эта эгоистическая досада скоро прошла, и я порадовался за него.

«Можетъ быть, подумалъ я, его страдающая душа наконецъ успокоится въ тихомъ пристанищѣ. Вѣдь многіе молодые люди, до ихъ женитьбы, находятся въ постоянномъ пессимистическомъ неудовлетворенномъ состояніи, а женятся и всѣ «проклятые вопросы» укладываются спать или по крайней мѣрѣ дремать, и все входитъ въ обычную колею жизни».

Выбору его нельзя было не радоваться и даже отчасти позавидовать. Теперь, когда его предпочтеніе одной изъ барышенъ нашего общества выдвинуло ее впередъ, теперь она получила иной свѣтъ въ глазахъ моихъ и даже въ глазахъ всей нашей молодежи. Мы ея до сихъ поръ не

замѣчали, потому что она скрывалась, пряталась отъ всякихъ выставокъ общественной жизни. Ея лицо не поражало блестящею, выдающеюся красотой, но въ немъ было столько кроткой прелести, что тотъ, кто разъ ее замѣтилъ, кажется не могъ уже забыть ее во всю свою жизнь. Ея большіе каріе глаза говорили; въ нихъ было столько выразительности, что кажется малѣйшее ея чувство прямо отражалось въ нихъ и тотчасъ же передавалось слушателямъ. Разумѣется, вся эта выразительность зависѣла не столько отъ блеска глазъ, сколько отъ игры правильныхъ темно-русыхъ бровей. Губы ея были нѣсколько велики: онѣ слишкомъ выдавались впередъ, но на нихъ была постоянная неизмѣнная улыбка, и столько невыразимой пріятности придавала всему лицу эта добрая улыбка, что за одну ее можно было полюбить и постоянно, не отрываясь, любоваться на нее.

Она была единственная дочь уже пожилаго человѣка, помѣщика Ивана Александровича Тутолкина.

Звали ее Аней или Агніей.

Кромѣ нея у Ивана Александровича былъ еще сынъ, мальчикъ Костя, десяти или двѣнадцати лѣтъ. Это все, что оставила ему его жена, очень добрая женщина, которую онъ схоронилъ, когда ему было тридцать четыре года. На слѣдующій годъ онъ женился на другой, небогатой помѣщицѣ Аннѣ Александровнѣ Извѣрковой. Единственная, избалованная дочь больной матери, она принадлежала къ породѣ губернскихъ львицъ. По выходѣ замужъ, она тотчасъ же взяла въ руки все хозяйство, весь домъ и деревню и вездѣ утвердила свой взглядъ и свои порядки.

Она была очень недурна собой: статная, довольно высокая брюнетка съ чрезвычайно пикантнымъ, чувственнымъ лицомъ и черными масляными глазками. Красота Ани какъ-то блѣднѣла и стушевывалась предъ ея гордою, блестящею самоувѣренною красотой. Аня поневолѣ должна была под-

чиниться новому порядку, который скорѣе могъ быть названъ самымъ хаотическимъ безпорядкомъ.

Иванъ Александровичъ до новой женитьбы жилъ скромно, тихо, незамѣтно для себя самого, Анна Александровна сразу поставила домъ свой на широкую ногу, для чего пришлось заложить единственную небольшую наслѣдственную деревеньку Ивана Александровича. Маленькій каменный домикъ, въ которомъ умерли прадѣдъ, дѣдъ и отецъ его, превратился въ небольшой «отель» или дворецъ съ роскошными каріатидами и даже улица, гдѣ былъ этотъ домъ, сдѣлалась модною. Правда, для этого необходимо было уничтожить маленькій садикъ, посаженный еще дѣдомъ Ивана Александровича, но Анна Александровна разсудила, что садикъ вздоръ, а что для весенней и лѣтней жизни они могутъ уѣзжать въ свою деревню, à la campagne.

Слишкомъ развязныя манеры Анны Александровны сразу оттолкнули отъ нея Аню и, какъ потомъ ни старалась мачиха привлечь къ себѣ падчерицу, всѣ ея старанія оказывались безсильны. Аня дичилась ее. Когда же Анна Александровна увидала, что зимніе выѣзды и туалеты Ани стоятъ крайне дорого,—даже въ губернскомъ городѣ, а тѣмъ болѣе, если ихъ выписывать изъ Москвы или изъ Петербурга,— то оставила ее въ покоѣ и не приставала къ ней съ выѣздами. И Аня сдѣлалась добровольною затворницей и ключницей. Анна Александровна махнула на нее рукой и всѣмъ гостямъ рекомендовала ее, какъ «дикую анахоретку». Аня была неразговорчива, застѣнчива. Для нея была чужда вся модная, вычурная обстановка «отеля» ея мачихи. Она чувствовала себя свободною, несвязанною только въ заднихъ комнатахъ или въ своей крохотной, низенькой комнаткѣ на антресоляхъ. Въ этой комнаткѣ все было бѣлое, начиная отъ стѣнъ и кисейныхъ занавѣсокъ, до бѣлаго некрашенаго столика, покрытаго бѣлою салфеткой, до бѣлаго канифаснаго одѣяла,

подъ которымъ и лѣто и зиму спала Аня. Зимой, когда дулъ холодный сѣверный вѣтеръ, въ комнаткѣ было холодно, да и обыкновенно въ ней зимой никогда не было больше 13°, такъ что Аня принуждена была кутаться въ пуховый, сильно поношенный и заштопанный платокъ, который она всегда сама мыла и который приходилось ей снимать только тогда, когда ее призывали в низъ, въ бонтонную гостиную ея мачихи. Тамъ, казалось, ей было еще холоднѣе, чѣмъ въ ея комнаткѣ; но это ей только казалось отъ пустыхъ разговоровъ и стрекотанья, которое раздавалось иногда по цѣлымъ днямъ и которое одуряло умъ и заглушало всякіе сердечные порывы.

Въ гостиной Анны Александровны не было и не могло быть ничего скучнаго: Всякая мало-мальски серьезная книга изгонялась съ отвращеніемъ и гадливостію. Просвѣщеніе допускалось для проформы, какъ неизбѣжное и необходимое зло, безъ котораго нельзя поступить на службу и получать жалованье.

Въ то время въ провинціи только-что начинала пробуждаться литературная мысль и стремленіе къ болѣе правильной общественной жизни. Многіе увлекались нигилизмомъ Писарева, другіе превозносили Добролюбова и считали его преемникомъ Бѣлинскаго. Нравились повѣсти Тургенева, разсказы Толстого и романы Достоевскаго и Гончарова. Но всѣ эти новыя вѣянія не увлекали Аню. Она оставалась вѣрна ея старому дѣтскому писателю Гоголю, который былъ ея любимый авторъ еще въ то время, когда она была въ гимназіи. Онъ привлекалъ ее не только комизмомъ, но еще болѣе религіозною серьезностью, задушевностью и теплымъ, восторженнымъ поэтическимъ творчествомъ. Онъ былъ ея другъ, которому она вѣрила, и неудивительно, что его литографированный портретъ одинъ, какъ пятно, чернѣлъ на бѣлыхъ стѣнахъ ея комнатки.

Другой другъ ея былъ двѣнадцатилѣтній братъ-гимназистъ Костя. Это была единственная душа, съ которою она отводила собственную душу. Блѣднолицый мальчикъ, худенькій, кроткій, сосредоточенный въ самомъ себѣ, онъ лицомъ напоминалъ сестру, только en-laid. Блѣдный, съ высокимъ прямымъ лбомъ, съ блестящими, живыми, черными глазами и съ оттопыренными выступающими губами, онъ былъ некрасивъ. Его темные, коротко обстриженные волосы торчали вихрами; высокоприподнятыя брови придавали какое-то постоянное изумленіе его кроткой физіономіи. Онъ хорошо учился, былъ постоянно на золотой доскѣ. Какъ всякаго умнаго мальчика, его интересовала литература, разумѣется, русская. У богатыхъ товарищей онъ доставалъ почти все, что выходило новаго, приносилъ книгу къ Анѣ, и тотчасъ же съ жадностью оба начинали читать и дѣлиться своими впечатлѣніями. Иногда книгу давали на самый короткій срокъ. Приходилось читать по ночамъ, притомъ тайно, чтобы не возбудить негодованія старой Домны, зорко стерегшей господскія свѣчи. Нерѣдко они тихо, полушепотомъ читали, чередуясь, при свѣтѣ маленькой лампадки предъ образомъ, которая чадила въ низенькой комнаткѣ, превращая ея воздухъ въ убійственную атмосферу. Но они этого не замѣчали.

Вкусы у нихъ были одинаковы. Что нравилось одному, то же вызывало восторги и сочувственныя слезы у другого. Гоголь былъ ихъ общій кумиръ.

Словомъ, они жили душа въ душу и крѣпко любили другъ друга, встрѣчая во всемъ окружающемъ холодность и отчужденіе. Оба тихіе и кроткіе, они поддерживали другъ друга на томъ жизненномъ пути, на которомъ имъ привелось идти одинокимъ.

IV.

Одинъ разъ, зимой, Костя заболѣлъ какою-то горловою болѣзнью. Пригласили къ нему Сашу. Я, помню, тогда немного сблизился съ домомъ Тутолкиныхъ, и поводъ нашего сближенія былъ самый обыкновенный. Анна Александровна въ послѣднее время пристрастилась къ картамъ, и я сдѣлался неизмѣннымъ членомъ ихъ карточныхъ вечеровъ, которые происходили разъ въ недѣлю. Но и на другихъ вечерахъ, и даже въ клубѣ, судьба устраивала какъ-то такимъ образомъ, что я былъ неизмѣннымъ партнеромъ Анны Александровны. Она говорила, что нѣтъ партнера пріятнѣе меня. Можетъ быть, это и была правда, такъ какъ я имѣлъ обычай всегда уступать думамъ и никогда ни въ чемъ съ ними не спорить. Анна Александровна даже возымѣла, какъ кажется, намѣреніе женить меня на Анѣ. По крайней мѣрѣ, видимо начала заботиться о нашемъ сближеніи, чтобы всегда имѣть подъ рукой «карточнаго зятя». Она нарочно для этой цѣли устраивала пикники, катанья на лодкахъ. Это было обычное весеннее удовольствіе нашей публики. Но я долженъ признаться откровенно, что всѣ эти приманки и ловушки не дѣйствовали. Во мнѣ и Анѣ чего-то не доставало того, что тянетъ невольно людей другъ къ другу. Мнѣ нравилось ея лицо, ея кроткая, добрая улыбка—и только. Какъ скоро я отходилъ отъ нея, то тотчасъ же забывалось и это лицо, и эта улыбка. Притомъ, если приходилось оставаться намъ вдвоемъ, то, несмотря на всю мою находчивость, разговоры наши какъ-то не клеились, и цѣлыя длинныя минуты проходили въ краснорѣчивѣйшемъ молчаніи. Притомъ я долженъ признаться откровенно, что мой

идеалъ будущей жены преставлялся мнѣ въ видѣ живой, дѣятельной, если не свѣтской, то общительной и обходительной женщины. Да наконецъ и мое общественное положеніе, хотя, можетъ быть, безсознательно, клалось на вѣсы и говорило, что Аня мнѣ не пара. У меня было небольшое, но свободное отъ долговъ состояніе, а отецъ мой былъ генералъ-лейтенантъ, хотя и въ отставкѣ. Аня же считалась въ нашемъ обществѣ бѣдною невѣстой, за которой ни мачиха, ни Иванъ Александровичъ не могли дать ни гроша.

Болѣзнь Кости шла обычнымъ путемъ. Онъ уже началъ выздоравливать, какъ вдругъ, неизвѣстно отчего, явилось осложненіе, которое выразилось, какъ говорилъ Саша, крупознымъ воспаленіемъ. Съ нимъ опять сдѣлался жаръ, сильная рвота, и съ каждымъ днемъ, почти съ каждымъ часомъ, онъ очевидно таялъ. Для меня тогда выдалось тяжелое время. Я долженъ признаться, что вообще избѣгалъ всякихъ тяжелыхъ впечатлѣній. Мнѣ нравились драмы только на театрѣ, а въ жизни я отстранялся отъ нихъ всевозможными способами; но Анна Александровна какъ-то удивительно искусно впрягла меня въ ухаживаніе за больнымъ. Она очень тонко дала мнѣ понять, что неловко оставлять Аню съ глазу на глазъ, по цѣлымъ ночамъ, одну съ докторомъ Колонкинымъ.

— Я ничего не говорю,—прибавила она.—Можетъ, быть онъ хорошій, честный человѣкъ... Вы вѣдь его хорошо знаете... товарищъ вамъ... Но въ городѣ начнутъ болтать всякія небылицы. На чужой ротокъ вѣдь не накинешь платокъ... Такъ будьте столь любезны... Вамъ я вѣрю... совсѣмъ вѣрю.—И при этомъ такое крѣпкое пожатіе и такой обворожительный и соблазнительный взглядъ.

Замѣчу при этомъ, что рука у нея была маленькая, стройная, узкая и длинная, но какая-то крѣпкая и сухая, такъ что пожатіе ея, самое искреннее, казалось чѣмъ то дѣланнымъ, напускнымъ.

На ея приглашеніе я, разумѣется отвѣтилъ, что радъ услужить и готовъ сдѣлать все, что отъ меня зависитъ.

Это была вторая ночь. Прошлую Аня совсѣмъ не спала. Мы вмѣстѣ съ Сашей уговаривали ее прилечь, но она не соглашалась.

Костя лежалъ ужъ безъ памяти. Тяжелое дыханіе съ какимъ-то свистомъ вылетало изъ его горла. Но положеніе его нельзя было назвать безсознательнымъ. Онъ не выпускалъ руки Ани изъ своей руки и по временамъ, когда она хотѣла освободить свою руку, онъ тихо пожималъ эту руку.

— Костя!—сказалъ я тихо,—ты пусти ее. Ей надо отдохнуть...

— Нѣтъ! Нѣтъ! я не устала,—прервала она меня.—Ничего!

Онъ молча открылъ глаза и пристально посмотрѣлъ на меня. Его глаза сдѣлались какъ будто больше, вѣроятно, оттого, что лицо похудѣло. Онъ посмотрѣлъ на меня съ выраженіемъ ребенка, у котораго отнимаютъ его любимую, дорогую игрушку, и еще крѣпче сжалъ руку Ани.

Такъ онъ и умеръ, сжимая ея руку. Рука его закостенѣла, такъ что мы съ трудомъ могли ее разжать. Аня какимъ-то инстинктомъ поняла, что онъ умеръ. Она вдругъ приподнялась, пристально посмотрѣла въ его остекленившіеся, неподвижные глаза, и съ легкимъ стономъ припала къ его груди.

Я приподнялъ ее. Она была въ обморокѣ.

Съ трудомъ, вмѣстѣ съ Сашей, мы привели ее въ себя, но не могли ее уговорить лечь отдохнуть. Она просила насъ, чтобы мы оставили ее одну, и мы ушли.

На другой день она свалилась въ жестокой нервной горячкѣ и нѣсколько дней жизнь ея висѣла на волоскѣ. Саша опять проводилъ чуть не цѣлые дни и ночи у ея постели, и, вѣроятно, благодаря его правильному, старательному уходу, она снова вернулась къ жизни.

V.

Съ тѣхъ поръ прошло около года. Все вошло въ обычную колею, и многое забылось. Саша по прежнему былъ какъ-то въ сторонѣ отъ меня, такъ что объ его женитьбѣ я услыхалъ совершенно случайно.

Послѣ смерти Кости онъ очень рѣдко бывалъ у Тутолкиныхъ. А передъ тѣмъ какъ онъ сдѣлалъ предложеніе, я самъ, по разнымъ обстоятельствамъ, не былъ у нихъ почти цѣлую недѣлю, и въ это время его предложеніе было принято. Аня стала невѣстой. Узнавъ объ этомъ, я поспѣшилъ поздравить Аню и Анну Александровну, и на другой же день, надѣвъ фракъ и бѣлыя перчатки, отправился къ нимъ.

Въ ихъ домѣ все какъ то сіяло и было празднично. Въ гостиной было много гостей. Я поцѣловалъ у Анны Александровны руку и поздравилъ ее.

— А наши голуби сидятъ наверху, у Ани... Вы свой человѣкъ... пройдите къ нимъ.

И я нашелъ ихъ, сидѣвшихъ рядышкомъ на бѣлой кроваткѣ Ани. Онъ держалъ ея руку и что-то говорилъ ей, наклонясь къ ея уху. Увидавъ меня, онъ съ радостнымъ возгласомъ всталъ съ кровати, пошелъ ко мнѣ навстрѣчу и горячо обнялъ меня.

Его наружность совершенно преобразилась, можетъ быть потому, что онъ снялъ свои синія очки,—но это было молодое лицо моего прежняго Саши, друга и товарища моихъ студенческихъ лѣтъ. Это лицо все сіяло радостью и дѣтскимъ умиленіемъ.

— Я рѣшился!..—сказалъ онъ.

— И прекрасно сдѣлалъ!.. перебилъ я его и, подойдя къ стоявшей и закраснѣвшейся Анѣ, поздравилъ ее, поцѣ-

ловилъ ея маленькую, гибкую ручку съ длинными ногтками и съ чувствомъ сказалъ ей:

— Надѣюсь, что вы будете немножко любить меня, какъ товарища и друга вашего будущаго мужа.

— Она и теперь тебя любитъ...—предупредилъ ее Саша. Въ этомъ ты не сомнѣвайся!.. У нея широкое человѣчное сердце, которому дороги всѣ люди-братья.

Я поболталъ еще съ полчаса и, оставивъ ихъ, спустился внизъ.

Я видѣлъ, что онъ не могъ и не хотѣлъ говорить отъ полноты новаго чувства, которое, вѣроятно, захватило все его сердце. Такъ мнѣ казалось тогда. По крайней мѣрѣ, въ глазахъ его, постоянно обращавшихся какъ къ магниту, къ ея прелестнымъ глазамъ, свѣтилось это чувство. Они были, очевидно, оба счастливы и довольны, и я ихъ оставилъ въ этомъ восторженномъ состояніи.

Раза два въ недѣлю я бывалъ у Тутолкиныхъ. Я просиживалъ въ этомъ домѣ по цѣлымъ вечерамъ, играя въ карты, и находилъ ихъ всегда въ ихъ маленькой бѣлой комнаткѣ на антресоляхъ. Онъ всегда читалъ ей что-нибудь изъ стараго или изъ новаго. Одинъ разъ я засталъ ихъ за «Емилемъ», въ другой разъ за «Монтескье». Но одинъ разъ я накрылъ ихъ за чтеніемъ «Пролога». Я, разумѣется, удивился такому выбору.

— Почему же вы думаете,—обидѣлась она, слегка покраснѣвъ,—что я неспособна понимать серьезныя вещи?

— Ахъ! Боже мой,—возразилъ я,—я этого вовсе не думалъ. Я только думалъ, что аскетическій взглядъ вообще несправедливъ... а въ особенности въ ваши года и въ вашемъ положеніи.

Но тутъ онъ перебилъ меня вопросомъ:

— Почему же ты думаешь, что въ ея года и въ ея положеніи не годится читать «Пролога»?

— Да потому, во-первыхъ,—рѣзко отвѣтилъ я,—что человѣкъ вообще обязанъ и долженъ смотрѣть на жизнь, какъ на благо, и радоваться этой жизни... а твой «Прологъ» можетъ развѣ убѣдить въ этомъ взглядѣ?..

— Нѣтъ!—перебилъ онъ меня.—«Прологъ» смотритъ на жизнь такъ, какъ смотрятъ и смотрѣли многіе, то-есть какъ на неизбѣжное зло, отъ котораго чѣмъ скорѣй избавиться, тѣмъ лучше.

— Ну вотъ! вотъ! —вскричалъ я.—Развѣ можетъ помириться съ этими взглядами только-что расцвѣтающая жизнь, которая еще не испытала ея горечи.

— Вы весьма ошибаетесь...—перебила она.—Весьма испытала и вполнѣ понимаю всю ея гадость и все зло ея обмана... Я вѣрю... Я глубоко вѣрю, что моему милому Костѣ... въ той жизни гораздо лучше, что онъ теперь живетъ въ томъ царствѣ, гдѣ нѣтъ «ни печали, ни воздыханія!»... и голосъ ея слегка задрожалъ, а изъ праваго глаза покатилась слезинка.

— Такъ о чемъ же вы плачете?..

— Такъ!.. Мнѣ жаль его... человѣческая, слабая, эгоистическая натура... сказалась...

Я посмотрѣлъ на него вопросительно, а онъ, какъ теперь гляжу на него, сіяющій и торжествующій, сидѣлъ на ея кровати, слегка покачиваясь и тихо, въ тактъ этому качанію, похлопывалъ книгой по одѣялу. Его торжествующіе глаза какъ будто говорили:

«Видишь! Она понимаетъ, вполнѣ понимаетъ меня».

— Послушайте!—вскричалъ я.—Вѣдь такъ нельзя жить, невозможно.. Для чего же люди живутъ на этой землѣ, плодятся и множатся... Чтобы исчезнуть?..

— Какъ исчезнуть!—вскричалъ онъ.—Развѣ ты не вѣришь въ будущую жизнь?

— Ну, можетъ быть, она и существуетъ. Я этого не отвергаю, но я не скажу, чтобы это было доказано.

— Если у тебя нѣтъ твердаго убѣжденія въ ту жизнь, то что же съ тобой спорить?.. Ты, разумѣется, будешь защищать эту ничтожную, временную и полную всякихъ гадостей жизнь.

— Послушайте!—сказалъ я, обращаясь къ Анѣ.—Онъ всегда былъ такой аскетъ-ипохондрикъ!.. Я вѣдь его давно знаю... Не вѣрьте ему въ этомъ. Пусть ваша жизнерадость не смутится его пессимизмомъ... Онъ, можетъ быть, уговаривалъ васъ поступить въ монастырь?

— Н-н-ѣтъ!..

— Ну! Вотъ видите ли... Онъ самъ очень хорошо понимаетъ вкусъ въ этой жизни. У него губа не дура. И, можетъ быть, онъ выбралъ здѣсь самое лучшее, благое и высокое наслажденіе. Я такъ понимаю вашу общую, взаимную семейную жизнь вдвоемъ въ любви и согласіи... Повѣрьте, что Богъ любитъ всѣхъ и желаетъ, чтобы мы любили другъ друга.

Въ это время Саша всталъ и началъ ходить по комнатѣ, заложивъ руки въ карманы. Это была его любимая привычка, когда онъ о чемъ-нибудь задумывался.

— Онъ это говорилъ вамъ?—спросилъ я ее.

— Какъ же, говорилъ... Въ любви высокое, лучшее наслажденіе жизнью... но только въ любви къ Богу, ко благу и ко всему небесному.

— Нѣтъ! Нѣтъ!.. Повѣрьте, что это небесное существуетъ и здѣсь на землѣ... Оно существуетъ въ общей любви всѣхъ ко всему доброму... Развѣ вы не любите здѣсь на землѣ вашихъ ближнихъ?

— Какъ же не любитъ!—вскричала она.—Разумѣется, люблю, и какъ еще люблю. Мнѣ хотѣлось бы, чтобы всѣ они были добры, честны, правдивы и любили другъ друга... А тутъ (и она развела руками)... Развѣ вы не видите, что дѣлается въ мірѣ... Ложь, неправда, себялюбіе, ненависть,

своекорыстіе... Да и не перечтешь всей гадости, которая творится въ этомъ мірѣ...

— Но вѣдь нельзя же вдругъ!..—вскричалъ я. —Все исправляется исподволь. Сравните прошлые вѣка и теперешній... и вы увидите, что состраданія и человѣколюбія прибавилось, и значительно прибавилось.

— Да! Но это плохое утѣшеніе... На мѣсто одной исчезнувшей гадости является другая... Является десять новыхъ гадостей... Зло не исчезаетъ .. Оно становится тоньше, ядовитѣе и дѣйствительнѣе.

— Вотъ такой пессимистическій взглядъ и есть ложный взглядъ. Откуда вы сдѣлали такой выводъ?.. Это онъ вамъ натолковалъ? Пускай же цифрами онъ докажетъ, что это правда.

— Тутъ не нужно цифръ,—сказалъ спокойно Саша, остановившись передо мной.—Посмотри, что дѣлается въ Америкѣ, въ этой передовой странѣ всякаго прогресса... Сѣверъ возсталъ противъ юга. И ты думаешь, что это сдѣлалось во имя человѣчности, свободы... Нѣтъ! Это простой разсчетъ холодныхъ разсчетливыхъ Янки... И этотъ разсчетъ все побѣждаетъ, всюду примѣшивается и всѣмъ завладѣваетъ... Онъ идетъ—этотъ князь міра... и горе побѣжденнымъ!

— Господи! Какія страсти!—вскричалъ я.—Ты точно пророкъ Ниневіи... Поѣхалъ бы въ Америку и тамъ проповѣдывалъ бы на площадяхъ.

— И поѣду!

— Какъ! Вмѣстѣ съ молодою женой?

Онъ замялся, ничего не отвѣтилъ и принялся снова бѣгать изъ угла въ уголъ.

— Ну-съ!—сказалъ я, обращаясь къ ней.—Не будучи пророкомъ, я предскажу вамъ ваше будущее, угодно?

— Сдѣлайте милость.

— Все это пройдетъ, слетитъ, какъ «краски чуждыя съ лѣтами спадаютъ ветхою чешуей»... и останется нѣчто реальное, твердое и правдивое. И будете вы оба прославлять и хвалить вашу семейную жизнь. Будете благословлять Господа и радоваться жизни... Все это будетъ непремѣнно. Маленькія невзгоды жизни, какъ облачка, порой будутъ набѣгать... но фонъ, общій фонъ, будетъ неизмѣнно свѣтелъ... Этого я отъ души желаю... Это сбудется, это будетъ...—и я протянулъ къ ней руку.

Она подала мнѣ свою руку, и я крѣпко пожалъ ее.

— А теперь я ухожу! Прощайте!

— Опять за карты?—спросилъ Саша.

— Да! Опять за карты.

— Не удивительно, что ты такъ цвѣтуще смотришь на жизнь. Карты могутъ наполнить ее и примирить.

— Что же ты не попробуешь?—спросилъ я и, не дожидаясь отвѣта, быстро спустился внизъ.

VI.

Послѣ этого разговора прошло нѣсколько недѣль. Наступило лѣто. Саша почти каждый вечеръ проводилъ у невѣсты въ деревнѣ. Я тоже пріѣзжалъ раза два въ недѣлю, и лѣто прошло незамѣтно. Въ іюлѣ Саша отправился въ уѣздъ на ревизію и пробылъ цѣлый мѣсяцъ. Свадьба была назначена въ августѣ.

Но здѣсь случилось маленькое обстоятельство, которое могло разрастись въ большое несчастіе.

Прежде всего долженъ сказать, что у насъ въ городѣ былъ одинъ господинъ, инспекторъ медицины, Супровскій, который былъ изъ самыхъ ярыхъ враговъ Саши. Онъ радовался его неудачамъ, клеветалъ на него и подъ рукой, и

открыто. Однимъ словомъ, всѣмъ было извѣстно, что онъ вредилъ ему вездѣ, гдѣ только могъ. Точно также, какъ всѣмъ была извѣстна и причина его клеветы, всѣмъ было извѣстно, что онъ добивается мѣста, которое занималъ Саша, для своего племянника, г. Зелинскаго. Раньше еще, чѣмъ Саша былъ опредѣленъ на это мѣсто, онъ уже двинулъ пружины, чтобы получить его для г. Зелинскаго, который, кстати сказать, была весьма ограниченная и тупая личность. Но у Саши нашелся покровитель въ Петербургѣ—старый другъ его отца и, несмотря на всѣ происки Супровскаго, Саша былъ назначенъ главнымъ докторомъ городской больницы. Разумѣется, за эту неудачу онъ мстилъ ему всевозможными и даже невозможными способами. Тайные и явные доносы одинъ за другимъ летѣли въ департаментъ. Нѣкоторое время эти доносы не имѣли силы. Ихъ клали подъ сукно. Пока во главѣ медицинскаго департамента стояла знакомая личность—старый другъ отца Саши, до тѣхъ поръ всѣ происки Супровскаго оказывались безсильны. Но вотъ эта личность перемѣнилась, и доносамъ Супровскаго придали значеніе. Ихъ вынули изъ архива и отдали особому чиновнику на разсмотрѣніе. Онъ приготовилъ экстрактецъ къ докладу и въ немъ представилъ, такъ сказать, самый сокъ всего, что было въ доносахъ Супровскаго. Вышло колоссальное обвиненіе. Въ особенности рѣзко являлись цифры смертности въ той губерніи, въ которой былъ Саша до того времени, какъ онъ былъ опредѣленъ къ намъ. Хотя эти цифры,—какъ я думалъ тогда, нисколько отъ него не зависѣли—и повиновались своимъ общимъ статистическимъ законамъ, тѣмъ не менѣе, онѣ были поставлены на видъ и Саша былъ вызванъ въ Петербургъ для объясненій.

Это было какъ разъ въ августѣ передъ свадьбой. Разумѣется, онъ поспѣшилъ явиться. Помню какъ теперь это тревожное время. Всѣ наши близкіе, хорошіе знакомые при-

няли участіе въ этомъ дѣлѣ. Г. Сербинскій написалъ къ князю Б., г-жа Чудоусова дала рекомендательное письмо къ правителю канцеляріи министра внутреннихъ дѣлъ, съ которымъ была, какъ увѣряла, въ самыхъ близкихъ отношеніяхъ. Помню, тогда нѣсколько дней мы постоянно собирались въ деревню къ Тутолкинымъ и шли у насъ долгія бесѣды и словопренія. Въ этихъ словопреніяхъ раскрывалась такая отвратительная, гнилая канцелярская обстановка, съ которой всѣ какъ будто мирились, что меня иногда вчужѣ коробило. Каждый въ этихъ разсказахъ приносилъ свою лепту и передавалъ разные анекдоты изъ недавняго прошлаго. Въ концѣ-концовъ, вырисовалась такая мрачная картина медицинскаго хозяйства почти въ цѣлой Россіи, что невольно дѣлалось страшно за человѣка.

Саша рѣдко вмѣшивался въ эти разговоры. Онъ, обыкновенно сидя подлѣ Ани, съ улыбочкой слушалъ наши словопренія и очень рѣдко поправлялъ или направлялъ ихъ мѣткимъ авторитетнымъ указаніемъ.

Когда наконецъ всѣ видимо утомились этою темой разговора и мы остались одни, то Саша рѣзко обратился ко мнѣ.

— Ну! Что скажешь?—спросилъ онъ,—карточный мудрецъ, хороша картинка, которую вѣрнѣе всего должно назвать всероссійская помойная яма. Тотъ, кто знаетъ всѣ эти пружины, тотъ относится къ нимъ, какъ Фаустъ къ леченью его и его отца, или примиряется со всѣми этими гадостями, и самъ купается въ нихъ... Вотъ теперь меня зовутъ оправдываться. Какое же оправданіе я приведу?.. Вѣдь мнѣ нельзя тронуть ни одной пружинки, чтобы не обидѣть какого-нибудь Хлюста Хлестовича или Рѣпу Сидоровну... Ты понимаешь?.. Вѣдь это все вотъ какъ!—И онъ приподнялся съ кресла и сдвинулъ пальцы руки, вложивъ ихъ замкомъ, одни въ другіе.—Все тѣсно и законно связано... И послѣ

этого ты говоришь, что жизнь—не мерзость, не помойная яма... Когда въ единственной ея дѣятельности, гдѣ человѣкъ можетъ и долженъ приносить наисущественнѣйшую пользу, все заражено такъ, что дышать нечѣмъ.

И онъ принялся бѣгать изъ угла въ уголъ, заложивъ руки въ карманы.

Черезъ три дня онъ уѣхалъ въ Петербургъ. Рекомендаціи, данныя ему, сдѣлали свое дѣло. Онъ оправдался и пріѣхалъ къ намъ добрый и веселый. Привезъ какіе-то новые, хитро-придуманные наборы и карманную машинку для гальваническихъ токовъ, а невѣстѣ привезъ бездну подарковъ, которымъ всѣ наши дамы сейчасъ же начали завидовать, такъ какъ это были самыя модныя матеріи и гипюры. Привезъ, наконецъ, ей вѣнокъ и гирлянду изъ флеръ-д'оранжа, такъ какъ у насъ искусственные цвѣты были страшно дороги и очень плохи.

Назначили день свадьбы. Я, разумѣется, долженъ былъ быть шаферомъ у него. Къ невѣстѣ пригласили какого-то дальняго родственника-студента. При этомъ она немного поплакала.

— Я все мечтала,—объяснила она,—что у меня шаферомъ будетъ мой Костя.

Къ свадьбѣ Саша передѣлалъ и отдѣлалъ свою казенную квартиру заново. Она дѣйствительно приняла самый изящный видъ. Онъ привезъ съ собой изъ Петербурга новыхъ обоевъ и новыхъ матерій для обивки мебели и для драпировокъ. Положительно его квартира была отдѣлана не только самымъ изящнымъ, но самымъ модньмъ образомъ.

Рѣшили, что черезъ недѣлю послѣ свадьбы молодые проведутъ три дня въ Тутолкинѣ, и Анна Александровна изъ кожи лѣзла и съ ногъ сбилась, чтобы отдѣлать имъ комнату не хуже, какъ отдѣлалъ свою квартиру Саша. Наконецъ, и эта комната была отдѣлана. До свадьбы остава-

лась всего недѣля. Но, странное дѣло, чѣмъ ближе подходилъ день свадьбы, тѣмъ сумрачнѣе и отчужденнѣе становился Саша. Онъ положительно избѣгалъ всѣхъ и даже своей невѣсты.

Наконецъ, его поступки стали до того странны, что Анна Александровна и я начали думать, не пригласить ли къ нему доктора. Онъ проводилъ въ саду по цѣлымъ часамъ совершенно одинъ, стоя гдѣ-нибудь въ темномъ углу и смотря на оторванную вѣточку липы... Иногда онъ прощался съ нами и уходилъ. Мы думали, что онъ давно уже уѣхалъ, и черезъ часъ находили его въ саду на скамьѣ, погруженнаго въ какую-то глубокую, мучительную думу... И все это кончилось непредвидѣннымъ, страшнымъ несчастіемъ.

Въ это время Аня слегка захворала. Какъ-то вечеромъ былъ очень жаркій день и она выпила стаканъ холоднаго меду. На другой же день у нея явились хрипота, кашель, а на третій всѣ признаки дифтерита.

Нужно было видѣть тогда отчаяніе Саши... Онъ тотчасъ же пригласилъ еще доктора, очень хорошаго г. Шипугина, но, несмотря на всѣ ихъ старанія, болѣзнь разгоралась точно пожаръ. Не помню, на четвертый или на пятый день больной сдѣлали операцію, но она осталась безъ всякихъ результатовъ. Разъ какъ-то меня позвали къ ней наверхъ (Она и въ Тутолкинѣ занимала одну комнатку на антресоляхъ).

Я поднялся въ эту темную, занавѣшенную зеленою драпировкой комнату. Аня лежала. Саша сидѣлъ подлѣ нея и она держала его руку въ своихъ рукахъ.

— Я позвалъ тебя,—сказалъ Саша—съ тѣмъ, чтобы ты посидѣлъ съ полчаса около нея. Я долженъ отлучиться на полчаса. Дай ей руку, посиди съ ней.—И онъ хотѣлъ встать, но Аня не выпускала его руки изъ своихъ рукъ.

— Милая, сказалъ—Саша.—Что же ты обѣщала мнѣ, что

[illegible] необходимо... Я только [illegible] орыя мнѣ привезли... [illegible] е къ тебѣ... Я сейчасъ [illegible]

[illegible] й и еще крѣпче сжала [illegible]

[illegible] онъ мнѣ, указывая на [illegible] помнилъ сцену смерти [illegible] ѣлъ выпустить ея руки [illegible]

[illegible] ъ я себя... Вѣдь все [illegible] высвободилъ свою [illegible] рвала и указать мнѣ на [illegible]

[illegible] слышно Саша.

[illegible] вала и запахала обѣ [illegible] ственны.

[illegible] изъ комнаты. Она [illegible] ить, и только дыханіе [illegible] ывалось изъ трубочки, [illegible] анное горло.

[illegible] слышно всхлипывала, [illegible] можетъ быть, мнѣ это [illegible]

VI.

[illegible] а улучшеніе исчезла. [illegible] ея постели и слѣдилъ [illegible] ымъ днямъ она не вы- [illegible] тихо, неслышно скон-

ДЪРЖАВНА МЪЖКА ГИМНАЗИЯ

чалась въ тотъ самый день, когда была назначена ихъ свадьба.

Во время ея болѣзни весь обычный порядокъ дома разстроился. Анна Александровна, хотя это и было видимо тяжело ей, примолкла. Она постоянно посылала Ивана Александровича на верхъ къ больной, и онъ, кажется, былъ этому болѣе радъ, чѣмъ торчать безъ пользы и удовольствія въ гостиной, въ которой прежде не переводились гости, а теперь, за отсутствіемъ ихъ болтовни, царила смертная скука. Если смерть Кости слабо подѣйствовала на Ивана Александровича, то смерть Ани очевидно перевернула всю душу его: какъ-то странно Аня умерла въ ту минуту, когда никого не было въ комнатѣ кромѣ ея и Саши.

Я былъ въ это время внизу, въ корридорѣ, и вдругъ услыхалъ голосъ Саши, зовущій меня.

Я бросился на его зовъ.

— Поди, объяви, что она скончалась—прошепталъ онъ измѣнившимся, дрожащимъ голосомъ.

Я обернулся и пошелъ по корридору. Мнѣ навстрѣчу изъ ближайшей комнаты вышелъ Иванъ Александровичъ. Лицо его было блѣдно, испуганно... Сѣдые волосы топорщились въ разныя стороны.

— Что такое, что такое?—спрашивалъ онъ испуганнымъ голосомъ.—Умерла?—Я молча кивнулъ головой. Онъ бросился на лѣстницу и, вѣроятно, упалъ бы, если бы я не помогъ ему войти. Онъ какъ-то торопливо вошелъ въ комнату Ани, подошелъ къ ея постели и вдругъ упалъ на колѣни и, поклонившись въ землю, заплакалъ и застоналъ.

Я смотрѣлъ на лицо покойницы. На немъ было дѣтски-игривое выраженіе, и только полуоткрытые глаза смотрѣли серьезно.

Наверхъ медленно всходила Анна Александровна и съ нею двѣ какихъ-то пріѣзжихъ дамы. Я вспомнилъ о Сашѣ

и подумалъ, что за нимъ теперь необходимъ уходъ, а съ отчаянія, съ его непроходимымъ пессимизмомъ, онъ можетъ рѣшиться на что-нибудь весьма неблагоразумное. Я разспросилъ гдѣ онъ. Мнѣ сказали, что прошелъ въ садъ. Я быстро обѣжалъ довольно большой садъ и нашелъ его въ темномъ углу, въ бесѣдкѣ, въ которой онъ часто сидѣлъ съ Аней. Онъ стоялъ теперь въ этой бесѣдкѣ на колѣняхъ, опустивъ голову на зеленую скамейку. Мнѣ показалось, что онъ молится.

Я подошелъ къ дверямъ, постоялъ и тихо позвалъ его:

— Саша!

Онъ вздрогнулъ, быстро поднялся съ колѣнъ и подошелъ ко мнѣ. Такого радостнаго, торжествующаго лица я никогда не видѣлъ у него. Глаза его ярко блестѣли; на губахъ скользила улыбка и вмѣстѣ съ тѣмъ онѣ дрожали, кривились въ какую-то грустную, жалобную гримаску.

— Свершилось!—сказалъ онъ тихо.—Рубиконъ перейденъ...—крѣпко пожалъ мнѣ руку и, обнявъ меня, пошелъ въ домъ.

Я пристально посмотрѣлъ на него. Что значатъ его слова, подумалъ я... Какой здѣсь Рубиконъ? Ужъ не сошелъ ли онъ съ ума? И я не покидалъ его все время, около часу, которое онъ пробылъ въ Тутолкинѣ. Все это время онъ какъ-то суетился совершенно безъ толку; все говорилъ о томъ, какъ хоронить и когда хоронить.

— Сжечь нельзя!..—Говорилъ онъ.—У насъ еще не дошло до того, чтобы сжигать то, что заражаетъ воздухъ...

И такія сентенціи онъ бросалъ постоянно, отрывочно, какъ-то мимоходомъ.

— Саша!—сказалъ я,—ты бы выпилъ воды... или принялъ бы чего-нибудь успокоительнаго.

— Чего?.. Aqua lauro-cerasi!.. Это теперь не годится!.. Теперь другое есть... Да брешутъ!.. все брешутъ!..—Я замѣ-

тилъ, что руки и ноги его постоянно дрожали, и по временамъ онъ весь вдругъ вздрагивалъ или пожималъ плечами.

— А сегодня,—говорилъ онъ,—кажется, свѣжо!

— Н-нѣтъ! Сказалъ я, сегодня не холодно...

— А вотъ я поѣду лучше къ себѣ!.. Растрясусь!.. Освѣжусь...—и онъ сильно вздрогнулъ...—Что-жъ?.. Чай надо проститься съ невѣстой-то?..Или не надо?..—И онъ махнулъ рукой и какъ-то жалобно усмѣхнулся... Крупная слеза выкатилась изъ его праваго глаза... Онъ отвернулся... И вдругъ, снова повернувшись ко мнѣ, быстро отрывисто сказалъ...—Что-же?.. Поѣдемъ! Ты меня проводишь!..

Я, разумѣется, не отказался проводить его. Я всячески старался развлечь его, оттянуть его чувства и мысли отъ свершившагося, но онъ упорно, угрюмо молчалъ, молчалъ цѣлый вечеръ, лежа на кровати, и наконецъ сказалъ:

— Я, кажется, спать хочу. Я, можетъ-быть засну, и нервно зѣвнулъ. Я оставилъ его, а на другой день рано утромъ заглянулъ къ нему, но мнѣ сказали, что онъ уѣхалъ съ визитами. Я заѣзжалъ къ нему раза два или три, но его цѣлый день не было дома.

На третій день Аню схоронили. Саша не былъ ни на одной панихидѣ, но на похороны онъ пріѣхалъ.

Почти весь городъ собрался на эти похороны. У Тутолкиныхъ было много знакомыхъ. Всѣ пріѣхали въ деревню. Анна Александровна выписала какого-то моднаго попа совершать заупокойную обѣдню. Онъ славился въ городѣ своими проповѣдями и здѣсь на похоронахъ въ церкви, которая была въ небольшомъ селѣ, въ пяти верстахъ отъ Тутолкина, онъ сказалъ у гроба очень чувствительную проповѣдь, начавъ ее словами:

«Голубица наша не умре, но спитъ! Покойся, бѣлая, до бѣлаго радостнаго утра!..»

Я во все время отпѣванія не отходилъ отъ Саши, а онъ

все время простоялъ, не шелохнувшись, опустивъ угрюмо голову и прислонясь къ колоннѣ. Все лицо его было какъ-то судорожно сжато. Взглянувъ на него, сразу становилось ясно, какая тяжелая, безысходная мука давитъ и ломитъ его сердце.

Когда стали прощаться съ усопшею, онъ оттолкнулся отъ колонны, быстро шатаясь, подошелъ къ гробу и какъ-то порывисто, торопливо, поцѣловалъ руку покойницы, затѣмъ повернулся и снова ушелъ на свое мѣсто. Потомъ онъ исчезъ незамѣтно. Я искалъ его въ церкви, искалъ между провожавшими гробъ къ могилѣ. Его нигдѣ не было.

Гробъ опустили и зарыли безъ него.

Около меня говорили какія-то барыни:

— Вѣдь посудите сами! Вѣдь тяжело ему... Вѣдь любилъ ее... всею душой... И вдругъ... Такой ударъ!..

Когда мы вернулись въ домъ, то тамъ я не нашелъ Саши... Онъ уѣхалъ въ городъ. Меня уговорили остаться обѣдать и ночевать, такъ что только на другое утро я могъ вернуться въ городъ и первымъ дѣломъ заѣхалъ къ Сашѣ... Его не было дома.

Я заѣзжалъ каждый день аккуратно: утромъ, въ полдень, вечеромъ и никогда не могъ застать дома. Онъ съ утра уѣзжалъ по больнымъ и возвращался только поздно ночью.

«Онъ вѣрно хочетъ развлечь себя, заглушить горе и одиночество. Но почему же онъ не подѣлится имъ со мной, его товарищемъ. Ему бы легче было... И тутъ же подумалъ... Какой же я ему другъ, «карточный партнеръ!» Въ этомъ-то вся и бѣда... это-то и опасно, что у него нѣтъ никого... никого... ни родныхъ, ни друзей... а тутъ еще это несчастіе... этотъ страшный, невыносимо тяжелый ударъ. Тутъ по неволѣ сдѣлаешься пессимистомъ и руки на себя подымешь...» Я разспрашивалъ знакомыхъ: не видали ли они нашего доктора?

VII.

Прошло незамѣтно нѣсколько недѣль. Я уже забылъ о Сашѣ. Наступила осень, сырая, холодная, дождливая, съ такими отчаянными вѣтрами, какіе могутъ быть, кажется, только въ нашемъ континентальномъ краю. Притомъ я жилъ какъ разъ на юру, на углу большого поля, въ которомъ было довольно мѣста разгуляться каждому вѣтру.

Одинъ разъ, позднимъ вечеромъ, когда вѣтеръ и дождь работали въ перегонки, и я, возвратясь весь мокрый отъ Тутолкиныхъ, собирался уже ложиться спать, вдругъ раздался отчаянный звонокъ. Слуга побѣжалъ отворять двери; я вышелъ въ залу.

— Дома! еще не спите?—Спросилъ хриплый голосъ, въ которомъ сразу я узналъ голосъ Саши, и съ радостью бросился въ переднюю.

Я увидалъ буквально мокраго человѣка. Вода струилась, бѣжала съ его шляпы, пальто, которое онъ порывисто снималъ, точно срывалъ съ себя.

— Гдѣ это ты?.. Какъ!..—вскричалъ я. И когда онъ снялъ пальто, я обнялъ его и повелъ въ комнаты.—Ты не промокъ ли? Отчего ты не въ каретѣ?..

Онъ ничего не отвѣчалъ. и, войдя ко мнѣ въ спальную, тяжело, сразу сѣлъ на первый попавшійся стулъ и опустилъ голову на руки.

— Ты, можетъ быть, спать хочешь, а я пришелъ мѣшать тебѣ?..—сказалъ онъ глухимъ, разбитымъ голосомъ и затѣмъ снялъ свои синія очки и не положилъ, а точно бросилъ ихъ на столъ. Я замѣтилъ, что вообще его руки и ноги какъ-то нервно вздрагивали.

— Хочешь вина? Согрѣться?—предложилъ я.

Но онъ повертѣлъ головой...

— Сядь сюда! Къ печкѣ... Садись на кресло!.. Хочешь, я велю затопить каминъ въ залѣ?

И я почти насильно перетащилъ его на мягкое, спокойное вольтеровское кресло.

— Я пробовалъ... вино...—заговорилъ онъ...—Третьяго дня я напился какъ свинья... Ничего не беретъ! Даже въ самомъ разгарѣ опьянѣнія мысль работаетъ... Представленіе еще хуже... Нѣтъ успокоенія!.. Я вѣдь три ночи не спалъ... Хотѣлъ уже принять рѣшительный пріемъ laudanum liquidum (опіума)... да не рѣшился!..

— На этакое отчаяніе и не слѣдуетъ рѣшаться... Дуракъ, кто рѣшается на такія безразсудныя дѣла... Вѣдь ты вѣришь въ загробную жизнь... въ любовь и милосердіе Бога?..

— Вѣрю!—Сказалъ онъ какъ-то громко и отрывисто,—точно отрубилъ, и схватилъ обѣими руками мою руку, притянулъ меня къ себѣ.—Вотъ потому-то, что я вѣрю въ эту свѣтлую жизнь...—зашепталъ онъ хриплымъ шопотомъ,—потому-то я и мучаюсь и страдаю... Еслибы я не вѣрилъ.. еслибы мнѣ все равно было... или я вѣрилъ бы, что тамъ ничего нѣтъ... ничего... то я не пришелъ бы къ тебѣ... Нѣтъ!.. Я, можетъ быть, былъ бы счастливъ, какъ многія свиньи, которыя живутъ кругомъ насъ, какъ живетъ Б*** (и онъ назвалъ фамилію одного богатаго помѣщика, извѣстнаго эпикурейца и отчаяннаго матеріалиста). Но я не хочу! Я не могу такъ жить потому, что я вѣрю!..—Онъ вдругъ поблѣднѣлъ, страшно поблѣднѣлъ и откинулся на спинку кресла.

— Саша, выпей воды, успокойся!—И наливъ стаканъ, я подалъ ему. Онъ выпилъ нѣсколько глотковъ и, помолчавъ, снова заговорилъ.

— Я шелъ къ тебѣ совершенно покойный... Я рѣшился!.. Но вотъ, вотъ... слабость и близорукость человѣческая. Въ

представленіи чувствуешь себя удивительно сильнымъ и твердымъ... а какъ до дѣла дойдешь, и спасуешь.

— Саша!—сказалъ я.—Если ты вѣришь въ тотъ міръ и въ лучшую жизнь... то неужели ты не вѣришь, что тамъ наступитъ свиданіе... тамъ, въ вѣчной жизни... и... вѣчное блаженство.

Онъ вдругъ вскочилъ съ кресла и захохоталъ какимъ-то дикимъ, сумасшедшимъ смѣхомъ.

— Ты... ты... думаешь, что для меня тамъ приготовлено вѣчное блаженство... Ты въ твоей самолюбивой и себялюбивой любви... мечтаешь о вѣчномъ блаженствѣ... заботишься о немъ... А знаешь ли что, сказалъ онъ,— Христосъ? Нѣтъ?! Не знаешь?!. Кто хочетъ душу свою сберечь, тотъ потеряетъ ее. «Аще хощетъ душу свою спасти... погубитъ ю» (Матѳ. XVI. 25). Ты это не думалъ, не зналъ... Ну! И я погубилъ ее. Я ради любви къ моимъ братьямъ земнымъ... я погубилъ ее... У меня не было выше, святѣе сокровища души моей... и я отдалъ это сокровище за братій моихъ... И «нѣсть больше сія любви аще кто душу свою положитъ за братья своя»... И я положилъ, положилъ ее... Отрекся отъ вѣчнаго блаженства...—И онъ вдругъ зарыдалъ, захлебываясь и задыхаясь.

Я обнялъ его и подалъ ему стаканъ воды.

— Саша!—вскричалъ я—на, выпей! Успокойся! Не разстраивай себя твоими тяжелыми представленіями... Многія изъ нашихъ скорбей—дѣланныя... напускныя скорби. Errare humanum est... Ты это знаешь?

Онъ вдругъ пересталъ плакать и отнялъ руки отъ лица.

— Вотъ! Вотъ!.. заговорилъ онъ хриплымъ, дрожащимъ голосомъ...—Вотъ за этимъ-то я и пришелъ къ тебѣ... Я подумалъ—онъ проще смотритъ на вещи... Онъ не залѣзаетъ въ глубь, въ разъѣдающую тину... Онъ ближе къ землѣ, къ земному... Что онъ скажетъ?!. Но, чтобы судить и осудить

вѣрно, законно... Ты пойми прежде, что, по евангельскимъ словамъ, каждый имѣетъ право надъ своею душой и что онъ обязанъ отречься отъ нея въ пользу душъ его ближнихъ... Ты съ этимъ согласенъ?.. Согласенъ?.. Согласенъ?..— И онъ вскочилъ съ кресла и при каждомъ вопросѣ сильно встряхивалъ меня за плечи. Его глаза были налиты кровью и горѣли, какъ у безумнаго. Онъ точно насильно принуждалъ меня согласиться и боялся, что я буду ему противорѣчить...

— Ну! положимъ, что я согласенъ,—сказалъ я.

— Нѣтъ! Не положимъ!. А ты согласись!.. Текстъ такъ ясенъ и простъ и такъ логиченъ.. Если мы дѣйствительно хотимъ спасенія блаженства душѣ нашего ближняго, то мы должны отречься отъ собственной души въ пользу души нашего брата... Должны!!! И тогда душа нашего брата... дѣйствительно... не мнимо, а дѣйствительно... будетъ наслаждаться полнымъ блаженствомъ... Вѣдь это просто... логично!.. Только наше поганое, треклятое самолюбіе мѣшаетъ намъ видѣть предметъ въ этомъ правильномъ, простомъ, логичномъ свѣтѣ... Отрекись отъ своего *я*... и отдай его всецѣло... замѣть: *всецѣло* въ пользу другого *я*... И я это сдѣлалъ...—И онъ вдругъ опять захохоталъ громко и неистово.

— Саша!—сказалъ я,—ты бы успокоился хоть немного... А то... вѣдь этакъ нельзя...

Онъ вдругъ стихъ и покорно усѣлся въ кресло. Только руки и ноги его дрожали и зубы скрипнули, когда онъ ихъ стиснулъ.

— Я спокоенъ,—глухо приговорилъ онъ.—Я совершенно покоенъ... Давай разсуждать о чемъ хочешь...

— Поговоримъ лучше, какъ идутъ твои дѣла въ госпиталѣ...—Я заговорилъ объ этомъ, потому что боялся, какъ бы онъ въ его отчаянномъ положеніи не начудесилъ чего-нибудь. Вѣдь каждою ошибкой его пользовались его

враги и могли сдѣлать изъ мухи слона и объявить его сумасшедшимъ.

— Отлично идутъ,—процѣдилъ онъ сквозь зубы.—Прекрасно идутъ. Порядокъ образцовый... Вездѣ порядокъ! Полы словно зеркало... кружки точно серебряныя... Зеленая краска на столикахъ новая, яркая... Халаты съ иголки... All right!.. Пріѣзжай самъ царь—не найдетъ ничего...

— А больные?..

— Ха! ха! ха!.. Развѣ о больныхъ заботятся... Такъ ли ты ихъ уморишь... или иначе? это все равно... Только была бы вѣдомость исправна, ни больше, ни меньше... Держи статистику за хвостъ и всегда будешь правъ. Сегодня одно лѣкарство, завтра—другое... сегодня—гемеопатія или аллопатія... а завтра—гидропатія или еще какой-нибудь вздоръ. Развѣ не все равно?!. И вездѣ такъ, и въ жизни такъ... Вездѣ хуже! И это истина, святая истина!.. Дай людямъ, что хочешь: республику, монархію... все равно, люди останутся людьми... и *никакая* форма не спасетъ ихъ отъ нихъ самихъ... Блаженства на землѣ нѣтъ и не будетъ!.. Вездѣ будетъ гадость... только эта гадость будетъ тоньше, ядовитѣе и притомъ приличнѣе, фешенебельнѣе! Теперь грубые пріемы переходятъ изъ городовъ въ деревни, на большія дороги... Тамъ распоряжаются топорами и кистенями... А у насъ все цивилизовано... Морятъ людей самымъ джентельменскимъ способомъ... И благо, что морятъ!.. Добро дѣлаютъ!.. Чѣмъ меньше страданія, тѣмъ лучше.—И онъ вдругъ снова захохоталъ его сумасшедшимъ хохотомъ... Я понялъ, что его нельзя свернуть съ его idée fixe.

И вдругъ онъ какъ будто стихъ, самъ внезапно замолкъ и всталъ съ кресла, шатаясь, подошелъ ко мнѣ и крѣпко схватилъ меня за руки.

— Костя!..—сказалъ онъ.—Ты мнѣ скажи, что блаженнѣе: существовать ли въ этомъ мірѣ, полномъ всякихъ га-

достей, или жить въ другомъ, высшемъ, лучшемъ мірѣ, гдѣ нѣтъ «ни печали, ни даже воздыханія!?»—Онъ пристально, не мигая, смотрѣлъ на меня. Я чувствовалъ, какъ дрожали его руки, и какъ дрожалъ весь онъ, какъ струна, заколебавшаяся подъ сильнымъ ударомъ смычка.

— Ты мнѣ предлагаешь странный вопросъ... Разумѣется, мы всѣ, все человѣчество, стремимся къ лучшей жизни, къ идеалу.

— Ахъ! Оставь ты все человѣчество съ его глупостью... Оставь ты этого больного ребенка, съ которымъ Господь долготерпѣливый усердно нянчится съ самой его колыбели... Скажи ты мнѣ, еслибы при тебѣ, на твоихъ глазахъ, человѣкъ мучился ужасными мученіями... еслибы ты зналъ, что ему нельзя ничѣмъ помочь, ничѣмъ возвратить къ жизни... да наконецъ, еслибы это было твое нѣжно-любимое существо?.. Скажи, что-бы ты сдѣлалъ?.. Смотрѣлъ ли бы ты хладнокровно на его страданія?..

— Да вѣдь вы же, доктора,— сказалъ я,—употребляете разные наркотики, чтобы ослабить, притупить нервы...

— Вотъ! Вотъ!.. Ты начинаешь понимать меня...

При этихъ словахъ его дрожь дошла до крайняго предѣла. Его зубы стучали, какъ въ лихорадкѣ, руки дергались.

— Саша!—сказалъ я,—успокойся!.. Выпей воды!

Онъ какъ-то безсмысленно хихикнулъ, улыбнулся и сказалъ дрожащимъ, задыхающимся голосомъ:

— Я покоенъ!.. Совершенно покоенъ! Не понимаю, откуда эта дрожь. Я видно простудился.

— Я дамъ тебѣ пледъ... Согрѣйся!..—Онъ было воспротивился. Но я схватилъ пледъ, который лежалъ тутъ же на стулѣ, и накинулъ ему на плечи... Онъ закутался въ пледъ и снова началъ говорить, но сильная дрожь мѣшала ему.

— Вотъ!.. поганая, слабая натура человѣческая... Вездѣ она ищетъ поддержки, руководства .. Сама ничто не мо-

жетъ рѣшить... А какое будетъ рѣшеніе? Вотъ въ чемъ вопросъ!..

Онъ замолчалъ и пристально, угрюмо посмотрѣлъ на меня. Точно въ глубинѣ моей мысли онъ хотѣлъ увидать это рѣшеніе.

— Ты согласенъ, что слѣдуетъ употреблять наркотики? спросилъ онъ меня...—Да?.. Вѣдь ты согласенъ?!

— Еще бы нѣтъ! Это долгъ человѣчности, состраданія.

— Ну! Вотъ!.. Если ты съ этимъ согласенъ... то согласись и съ тѣмъ, что по мѣрѣ силъ и возможности должно избавлять человѣка отъ всякихъ страданій, «болѣзней, печалей и воздыханія!» Вѣдь это такъ?!. Это логично?..

— Еще бы—это долгъ Евангельскій.

— И, если я вижу, что братъ мой... не замѣчаетъ собственнаго своего страданія... Ахъ! Нѣтъ... Я путаюсь... Я не то говорю...—Онъ помолчалъ и схватилъ меня за руки.—Ты согласенъ, что въ натурѣ человѣческой двѣ натуры... Что одна прикрѣплена къ землѣ «цѣпями бытія». Это рабья натура!.. А другая, разумная, чистая, свободная... стремится постоянно dahin... въ лучшую жизнь, въ родные края...

Я началъ читать ему строфу изъ Фауста.

— Ну вотъ, вотъ! Ты значитъ понимаешь меня... и скажи не обязанность ли каждаго христіанина... помочь этой братской душѣ... избавить ее отъ страданій... сократить ей ея время рабьей, несвободной жизни въ темномъ мірѣ?!.

— То-есть, какъ же это? Я не понимаю... Какъ же сократить? Я тебя не понимаю.

— Такъ!..—И онъ сдѣлалъ рѣзкое движеніе сверху внизъ, какъ бы отрубилъ что-нибудь...

— Какъ!..—вскричалъ я...—Сократить жизнь!.. Развѣ мы вправѣ это сдѣлать?!.

— Вправѣ?..—И онъ снова хихикнулъ...—А что такое право?.. Какой юристъ рѣшитъ, что такое право?.. Не дѣ-

лай зла твоему ближнему... Вотъ и все право... Все оно въ этой краткой, ясной, опредѣленной сентенціи.

— Да развѣ это не зло?.. Сократить, отнять жизнь?

— Сократить мученіе въ этомъ подломъ, гадкомъ мірѣ... Нѣтъ... это не зло... Это—благо!

И онъ сказалъ эти слова съ такимъ чувствомъ, поднялъ глаза кверху и перекрестился.

— Сколько мы видимъ несчастныхъ, которымъ, наконецъ, нетерпежъ сдѣлалась эта благоустроенная жизнь и которые сами съ радостью кончаютъ съ собой... Это было во всѣ вѣка, во всѣ времена. Припомни te deum vitae—Римлянъ. Эти умные Римляне и Греки даже вѣрили, что природа, предусмотрительная и добрая, нарочно выращиваетъ ядовитыя растенія, чтобы облегчить людямъ переходъ въ свѣтлую жизнь, въ поля Елисейскія... А наши самосожигатели!.. Они одни прозрѣли правду и черезъ огонь очищенія уходятъ въ свѣтлую страну.

— Саша!—вскричалъ я...—Ты заблуждаешься. Ты принимаешь исключеніе за правило.—И, я помню, при этомъ вскочилъ съ кресла и схватилъ его руки. Только немногіе уроды не чувствуютъ жизнерадости. Припомни Лафонтэнова старика... Что онъ отвѣчалъ смерти?.. Всѣ боятся этого страшилища... отвратительнаго, холоднаго, костляваго...

— Вотъ это-то и заблужденіе!.. Это настоящее заблужденіе... Тѣло наше, по естественному закону, желаетъ жить, желаетъ продолженія жизни... Но развѣ душа наша должна жить для прихотей тѣла?!.

— Саша! Все это софизмы!.. Горькіе софизмы, взятые изъ глупой, односторонней теоріи пессимизма... Высшая премудрая воля устроила нашу жизнь, трудится надъ ней, бережетъ ее... и внушила намъ любовь къ ней...

— Чепуха!—вскричалъ онъ и оттолкнулъ меня.—Съ этакою чепухой мы влѣземъ въ такую путаницу противорѣчій, изъ

которой никогда не вылѣземъ. Вся твоя жизнерадость есть чистое непониманіе жизни. Вонъ животное радуется жизни и дорожитъ ею... потому что у него нѣтъ другой, вѣчной жизни и будущаго... Но человѣкъ, съ разсудкомъ, понимающій дѣло... онъ не можетъ не тяготиться, не презирать этой жизни...

— Саша!—вскричалъ я.—Это смерть твоей доброй, любящей и любимой тобой Ани произвела въ тебѣ такой грустный, странный, страшный переворотъ.

Онъ вдругъ снова захохоталъ какъ сумасшедшій, и вмѣстѣ съ этимъ дикимъ смѣхомъ слезы ручьемъ брызнули и покатились изъ его глазъ. Онъ схватилъ мои руки, привлекъ къ себѣ и зашепталъ, всхлипывая и рыдая:

— Слушай!.. Слушай!..—Онъ крѣпко прижалъ меня къ себѣ и зашепталъ надъ самымъ моимъ ухомъ:— Слушай... я... я... отравилъ ее... Я переселилъ ее въ тотъ міръ, гдѣ нѣтъ скорбей и болѣзней...—И онъ припалъ къ моему плечу и зарыдалъ, зарыдалъ какимъ-то раздирающимъ душу, убійственнымъ плачемъ...

Признаюсь, при этихъ словахъ, я чувствовалъ, какъ руки и ноги мои похолодѣли. Онъ вдругъ отшатнулся отъ меня и снова упалъ въ свое кресло.

— Безумецъ!—зашепталъ онъ сквозь слезы.—Я... я... думалъ, что въ семейной жизни есть блаженство... небесное блаженство... Жаръ крови!.. Влеченіе самца къ самкѣ... Все тѣло, плоть, кровь и... гадость!! Непроходимая гадость и вонь!.. Да! Это было великое торжество!.. Когда весь искусъ кончился... Я перешелъ Рубиконъ... Я побѣдилъ въ себѣ звѣря...

— Саша!—прошепталъ я...—Я не вѣрю!.. Мнѣ не вѣрится, чтобы ты... ты... могъ рѣшиться на преступленіе.

— Ахъ!—И онъ вскочилъ съ кресла и схватилъ себя обѣими руками за голову...—Ахъ! Мы не понимаемъ другъ

друга!.. Мы говоримъ на разныхъ языкахъ. Пойми ты... что преступленія нѣтъ тамъ, гдѣ ты дѣлаешь добро твоему ближнему... и я дѣлалъ это добро, насколько у меня было силъ и умѣнья... Тысячи моихъ братій—добрыхъ и любящихъ—я переселилъ въ тотъ лучшій міръ, гдѣ все благо и гдѣ царствуетъ любовь... Помнишь ли ты тѣ доносы о сильной смертности въ Л—евскомъ уѣздѣ, К... губерніи... Эти доносы была святая истина. Ни одна зараза не истребляла столько жизней, сколько истребилъ ихъ я... И, если зараза дѣйствуетъ глупо. безсознательно, зря... то я убивалъ съ выборомъ... Я переселялъ въ лучшій міръ тѣхъ, которые дѣйствительно заслуживали лучшей жизни... И преимущественно этихъ малыхъ изъ малыхъ, этихъ крошекъ, невинныхъ... которыя смотрятъ такъ наивно, радостно... и не понимаютъ, сколько ужасныхъ гадостей скрываетъ эта жизнь, которой они радуются... Сердце надрывалось у меня, смотря на такого крошку... добраго, наивнаго, ласковаго... Сколько слезъ я видѣлъ... слезъ глупыхъ, бѣдныхъ матерей, которыя не могли понять того, во что́ усердно вѣрили... Не могли понять, что лучшая жизнь дѣйствительно существуетъ за гробомъ.

Я стоялъ передъ нимъ, весь дрожа. Мнѣ все казалось, что онъ говоритъ неправду... что онъ шутитъ.

— Саша!—сказалъ я...—Вѣдь есть заповѣдь Господня: «Не убій!»

— А понимаешь ли ты эту заповѣдь?!.—спросилъ онъ, смотря на меня въ упоръ его блестящими, воспаленными глазами.—Или ты принимаешь ее такъ, какъ принимали въ древнія времена... Не убій, такъ и не убій! И баста... И не разсуждай!.. Слушай! Если ты убиваешь съ корыстною цѣлью, съ выгодой для себя... изъ-за себялюбія... ты преступаешь заповѣдь... Ты дѣлаешь страшный смертный грѣхъ!.. И сколько же людей погибаетъ изъ-за нашей корысти... сколько мы

ихъ убиваемъ, не считая это за грѣхъ... Да! Мы часто, очень часто преступаемъ заповѣдь Господню!.. Но я... я не преступалъ ея!.. Я не убивалъ... Я переселялъ изъ одной жизни въ другую, изъ жизни худшей въ жизнь лучшую... Отрекшись отъ своей души, я отдалъ ее на пользу моихъ братій...

Но тутъ я снова перебилъ его.

— Саша!—вскричалъ я...—Кто тебѣ далъ право встать выше Бога?.. Кто тебѣ далъ право отнимать у человѣка жизнь, которую далъ ему Богъ?.. Развѣ тебѣ извѣстны Его неисповѣдимыя судьбы... его святая воля... Мы смертные, ограниченные... можемъ ли мы понимать то, что начертано тамъ, въ вѣчныхъ путяхъ... неисповѣдимаго?!.

— Можемъ!—перебилъ онъ меня съ увѣренностью и снова крѣпко взялъ меня за руки...—На то намъ и данъ умъ, на то данъ намъ законъ и свободная, святая воля Бога!.. Еслибы я не творилъ Его воли, то Онъ, благой и животворящій, не допустилъ бы меня... Онъ помѣшалъ бы мнѣ, остановилъ бы меня. Онъ, пекущійся о благѣ всѣхъ, не допустилъ бы меня такъ свободно, съ такимъ спокойствіемъ совершать мое благое дѣло...

— Саша!—вскричалъ я въ отчаяніи.—Отчего же теперь ты такъ смущенъ, взволнованъ, отчего ты такъ мучаешься и страдаешь?

— Вотъ, вотъ за этимъ я и пришелъ къ тебѣ. Растолкуй, научи! Отчего теперь, именно теперь, когда я поборолъ единственную глубокую привязанность, когда я уложилъ въ гробъ ту, къ которой любовь перетягивала во мнѣ мою привязанность къ Богу, отчего я теперь мучусь и страдаю?!

И вдругъ онъ упалъ на колѣни, головой на кресло, и снова зарыдалъ какимъ-то дикимъ, убійственнымъ рыданіемъ. Но почти тотчасъ же, всхлипывая и рыдая, онъ повернулъ ко мнѣ голову.

— Не говори, не надо,—вскричалъ онъ сквозь слезы и

всхлипыванія.—Не говори мнѣ глупыхъ утѣшеній, банальныхъ... Я сдѣлалъ то, что сдѣлалъ, что долженъ былъ сдѣлать, что обязанъ былъ сдѣлать...

Но рыданія заглушили его слова.

Я чувствовалъ, какъ глубокій ужасъ сжалъ мое сердце и мѣшалъ мнѣ думать. Мнѣ невольно представлялся длинный рядъ жертвъ его фанатизма, его заблужденій, представлялся Костя, представлялась кроткая, любящая и такъ глубоко любившая его Аня. И вдругъ, какъ бы подъ вліяніемъ этихъ тѣней, мнѣ пришла одна мысль, которую я тотчасъ же ему высказалъ.

— Саша,—сказалъ я дрожащимъ голосомъ, положивъ руку ему на плечо,—Саша, если ты творилъ и творишь доброе дѣло, такъ зачѣмъ же ты отрекаешься отъ своей души, отъ вѣчнаго блаженства. Съ каждымъ добрымъ дѣломъ у насъ должна расти увѣренность въ томъ, что это блаженство становится ближе къ намъ, что мы покупаемъ его каждымъ нашимъ добрымъ дѣломъ. А ты?!

Онъ вдругъ поднялся съ колѣнъ. Онъ страшно поблѣднѣлъ, зашатался и опустился на стулъ.

— Здѣсь противорѣчіе,—прошепталъ онъ.—Оно никогда не представлялось мнѣ. Если я дѣлаю доброе дѣло, то зачѣмъ же мнѣ отрекаться отъ спасенія души? Если я дѣлаю добро, то я спасаю душу свою. Тутъ страшное противорѣчіе! Постой! Не мѣшай мнѣ, прошу тебя, молчи, не мѣшай мнѣ!

И онъ задумался. Потомъ вскочилъ, забѣгалъ взадъ и впередъ по комнатѣ. И вдругъ сбросилъ съ себя пледъ, схватилъ шляпу и выбѣжалъ вонъ. Я бросился за нимъ.

— Саша, куда ты? Я тебя не пущу! Останься ночевать у меня. Куда ты пойдешь въ эту ночь? Дождь, вѣтеръ съ ногъ валитъ.

Но онъ съ нечеловѣческою силой вырвался изъ моихъ рукъ.

— Пусти, пусти, шепталъ—онъ, какъ безумный; глаза его бѣгали и блуждали.—Тутъ противорѣчіе! Тутъ страшное противорѣчіе!..—И онъ быстро, порывисто надѣлъ его мокрое пальто, оттолкнулъ меня, открылъ дверь и выбѣжалъ вонъ.

VIII.

На другой день я заѣхалъ къ нему въ больницу, но онъ былъ на визитаціи, а вечеромъ я не засталъ его дома. Въ этотъ вечеръ и всю ночь былъ такой же страшный вѣтеръ, какъ и наканунѣ. У насъ такіе вѣтры не рѣдкость. Они иногда дуютъ съ замѣчательнымъ упорствомъ по цѣлымъ недѣлямъ. Въ этотъ вечеръ дулъ не вѣтеръ, а какой-то ураганъ. Со многихъ домовъ сорвало крыши.

Помню, часу въ двѣнадцатомъ я вышелъ въ залу и подошелъ къ окну. Мнѣ бросилось въ глаза небольшое красноватое пятно на пасмурномъ небѣ, небольшое зарево, вѣроятно, отъ далекаго пожара. «Вѣроятно, горитъ какая-нибудь пригородная деревня», подумалъ я.

На другой день я узналъ, что это сгорѣлъ «стеклянный заводъ». Подъ этимъ именемъ было извѣстно старинное, полуразвалившееся зданіе, въ которомъ, можетъ быть, и былъ когда-то стеклянный заводъ, но теперь оно почти цѣлое столѣтіе стояло посреди поля и разрушалось, всѣми заброшенное.

Вслѣдъ за извѣстіемъ объ этомъ пожарѣ, ко мнѣ пришелъ фельдшеръ отъ Саши изъ больницы и принесъ мнѣ письмо отъ него.

— Что онъ,—спросилъ я,—здоровъ?

— Дома не ночевали-съ. А вотъ велѣли вамъ снести сегодня это письмо до двѣнадцати часовъ, а потому я и не осмѣлился вручить вамъ его вчерась. Сегодня, какъ Миха-

илъ Егоровичъ (помощникъ Саши) кончили визитацію, тотчасъ же и отправился къ вамъ.

Я вскрылъ письмо. Въ немъ было немного строкъ, написанныхъ криво, неровнымъ, безпорядочнымъ почеркомъ. Вотъ что было въ нихъ:

«Милый и единственный другъ!

«Прости или до свиданія! Это какъ Богъ рѣшитъ. Я «тебѣ открою одинъ секретъ, который можетъ принести и «огромную пользу. Вѣдь трудно разобрать, гдѣ здѣсь, въ «этомъ мірѣ, польза и гдѣ вредъ! Я открылъ, что ядъ диф«теритный можно культивировать. Я сдѣлалъ безчисленное «число опытовъ. Усиленный, онъ убиваетъ въ минимальныхъ «дозахъ. Отъ самой малѣйшей дозы ($^1/_{10,000}$ грана) человѣкъ «умираетъ неминуемо. Стоитъ только прикоснуться къ его «слизистымъ оболочкамъ. Можетъ быть, найдутъ возможнымъ «прививать его.

«Еще разъ прощай. Твой А.»

Въ тотъ же вечеръ я былъ у Тутолкиныхъ и узналъ нѣкоторыя подробности о пожарѣ «стекляннаго завода». На немъ, разумѣется, никто не жилъ, никто не могъ никакимъ случаемъ заронить въ него огонь. Въ особенности въ ту ночь, когда ни одного человѣка нельзя было выгнать на улицу на страшный вѣтеръ, ураганъ и проливной дождь. Пожарные ближайшей къ пожару части, не доѣхавъ до него и увидя, что горитъ «стеклянный заводъ», махнули рукой и со словами «давно бы пора» повернули назадъ. Когда же черезъ два, три дня осмотрѣли пожарище, то внутри нашли три или четыре (показанія даже слѣдователей различны) обгорѣлыхъ трупа. Чьи были эти трупы, давно ли они лежали тамъ—ничего неизвѣстно. Въ городѣ разсказывали даже, что нашли цѣлую массу труповъ. Очевидно, что для полиціи эта находка была не совсѣмъ пріятна.

Съ другой стороны, совершенно случайно я узналъ, что

Саша въ тотъ вечеръ или въ страшную ночь уѣхалъ за городъ на извощикѣ, нагруженный цѣлымъ тюкомъ, завернутымъ въ рогожу. Извощикъ, какъ показало слѣдствіе, довезъ его до окраины города и затѣмъ онъ всталъ, расплатился и пошелъ пѣшкомъ, взваливъ на себя тюкъ

— Куда онъ пошелъ въ этакую непогодь,—показывалъ извощикъ,—Господь его вѣдаетъ!..

И больше о немъ ничего не слыхали.

Какъ-то странно повѣрить, но это совершенно вѣрно, что въ 1857 году пропалъ безъ вѣсти главный докторъ К. городской больницы!

Порой, раздумывая о его загадочной смерти, я невольно вспоминалъ его слова: «А наши самосожигатели!.. Они одни прозрѣли правду и черезъ огонь очищенія уходятъ въ свѣтлую сторону!»

Да будетъ миръ душѣ его!

Я повторяю, что передаю теперь эту исторію, потому что мой разсказъ никому уже повредить не можетъ.

23 мая 1890 года.

ДЖЕММА.

(Изъ дѣтскихъ воспоминаній).

I.

Въ 1830-хъ годахъ семья моя жила въ Петербургѣ. Отецъ мой скорѣе числился, чѣмъ служилъ. Тогда мнѣ было 12 или 13 лѣтъ, и онъ былъ еще бодрый старикъ, по крайней мѣрѣ, гораздо бодрѣе многихъ изъ его товарищей, сенаторовъ. Чего добивался онъ отъ службы, я этого до сихъ поръ не могу понять. Знаю только, что даже на мои невдумчивые, дѣтскіе глаза служба его не привлекала. Онъ охотно пропускалъ засѣданія сената, не добивался ни чиновъ, ни орденовъ, которыхъ у него было и такъ слишкомъ довольно. Я долженъ здѣсь замѣтить, что онъ давно уже служилъ въ министерствѣ иностранныхъ дѣлъ, по восточнымъ дѣламъ, и велъ ихъ съ такимъ искусствомъ, что нѣсколько разъ его посылали въ Лондонъ и въ Константинополь, чтобы устраивать нѣкоторыя дипломатическія разстройства.

Мнѣ кажется, что востокъ его притягивалъ невольно, и

дѣламъ его онъ отдавалъ большую часть времени и трудовъ. По крайней мѣрю, я помню, къ намъ часто являлись чуть не цѣлыя депутаціи разныхъ восточныхъ людей, Башкиръ, Киргизъ, Татаръ, Персіанъ, даже были Турки и Индійцы. Иногда наша столовая и зала представляла настоящій восточный базаръ.

Съ тѣхъ поръ, какъ я сталъ помнить отца, онъ мнѣ всегда представлялся неизмѣннымъ, съ его умнымъ и саркастическимъ лицомъ, съ рѣзкими и выразительными чертами. Не знаю, можетъ быть, онъ красилъ свои волосы, но они всегда, до самой его смерти, оставались такими же темнорусыми, почти черными, слегка курчавыми. Когда онъ надѣвалъ его красный сенаторскій мундиръ со всѣми звѣздами, то меня особенно поражала персидская брилліантовая звѣзда Льва и Солнца, которая, говорятъ, стоила нѣсколько десятковъ тысячъ. Теперь уже нѣтъ такой роскоши, и брилліанты замѣняются скромными стразами.

Я помню, въ это время меня сильно интересовали шахматы. У насъ каждую недѣлю были шахматные вечера по середамъ, на которые собирались сенаторъ Бэргъ, князь Баксютовъ, Нозовъ, Шардонъ, Шпейдель и много другихъ завзятыхъ шахматныхъ игроковъ, болѣе или менѣе, извѣстныхъ въ то время. Почти всегда составлялись двѣ партіи. Одна—обыкновенная, на игрока, а другая вчетверомъ, въ шахматный вистъ. Сперва послѣдняя игра, въ шахматный вистъ, мнѣ нравилась своей оригинальностью, но вскорѣ я понялъ, что это игра изуродованная, въ которой нельзя обдумать почти ни одного ближайшаго хода, и игроки, въ нее играющіе, должны быть совершенно, идеально, ровны. Я оставилъ мои наблюденія надъ этой игрой, и весь, каждый вечеръ, поглощался ловкой, умной игрой вдвоемъ. Въ особенности для меня истинное наслажденіе доставляла игра моего отца съ Иваномъ Гейнриховичемъ Шпейделемъ. Самъ

я игралъ только съ своимъ гувернеромъ французомъ, и мы оба жестоко горячились, такъ что нерѣдко М-r Гуле разбрасывалъ шахматы, или я, проигравъ игру, горько плакалъ.

Одинъ разъ, вечеромъ, въ началѣ весны, когда у насъ была полная распутица, въ середу, собравшаяся компанія заговорила о какомъ-то неслыханномъ и невиданномъ игрокѣ. Рѣчь о немъ началъ отецъ.

Игрокъ былъ индіецъ, и звали его Багараджа. Отецъ разсказывалъ о немъ необыкновенныя вещи. Багараджа давалъ ему двѣ ладьи, затѣмъ двѣ ладьи и пѣшку и, наконецъ, отдалъ ферезь, но съ условіемъ: не брать одну изъ пѣшекъ, которую онъ непремѣнно проводилъ въ ферези. Понятно, что всѣ посѣтители нашихъ шахматныхъ вечеровъ были крайне заинтересованы этимъ шахматнымъ игрокомъ и горѣли нетерпѣніемъ увидать его.

Въ слѣдующую середу онъ явился. Съ самаго утра я уже волновался въ ожиданіи его, и даже всѣ присутствовавшіе пріѣхали раньше обыкновеннаго времени. Всѣ съ нетерпѣніемъ поглядывали на часы и на двери. Никто не сѣлъ играть, и всѣ рѣшили, что они, если только онъ согласится, будутъ вести партію всѣ вмѣстѣ противъ него одного. Князь Баксютовъ въ особенности горячился.

— Помилуйте!—говорилъ онъ,—то, что разсказываетъ намъ Сергѣй Иванычъ (такъ звали моего отца), какія-то невѣроятныя чудеса. Какъ отдать ферезь—и выиграть!! Да тутъ всякій ребенокъ... Вотъ онъ выиграетъ у самаго опытнаго и талантливаго игрока.

И при этихъ словахъ онъ указалъ на меня. Это указаніе на 13-лѣтняго мальчика, какъ на ребенка, и даже ниже, чѣмъ на ребенка, жестоко возмутило меня. Вся кровь прилила къ моему лицу, и я готовъ былъ всѣми силами моей юношеской души возненавидѣть обидѣвшаго меня князя, но тутъ раздался громкій звонокъ, и отецъ мой сказалъ:

— Это, вѣроятно, онъ.

Послышались мягкіе торопливые шаги, и слуга, Семенъ, приподнялъ портьеру и доложилъ:

— Князь Багараджа.

II.

Вошло двое. Вошелъ человѣкъ очень высокаго роста, съ совершенно темно-бронзовымъ лицомъ и, сложивъ руки крестомъ на груди, довольно низко поклонился всему собранію. За нимъ слѣдовалъ другой человѣчекъ, ростомъ съ меня, съ лицомъ почти чернымъ и въ высокой шапкѣ, похожей на персидскую.

Отецъ привѣтствовалъ восточнаго гостя на какомъ-то непонятномъ мнѣ языкѣ и представилъ всѣмъ. Каждый съ любопытствомъ протягивалъ ему руку, а онъ бралъ эту руку въ обѣ ладони, слегка кланялся и не пожималъ, а только какъ-то странно похлопывалъ по ней своими ладонями. Въ это время маленькій человѣкъ стоялъ у дверей, наклонивъ голову, и постоянно кланялся. Это былъ переводчикъ.

Я, помню, весь впился въ высокаго гостя глазами и не знаю, чувство-ли благоговѣнія, страха, любопытства заставляло тогда биться мое сердце и сдавливало грудь.

Черты лица его были строго правильны. Въ особенности поразительны были выведенныя дугами широкія, черныя брови. Небольшіе усы и рѣдкая, курчавая, черная борода оттѣняли его лицо и окружали ярко-алыя, какъ бы оттопыренныя и слегка вывернутыя, губы. Ноздри его совершенно прямаго, тонкаго носа постоянно раздувались, какъ бы дышали. И это была единственная живая черта его лица. Все оно было удивительно неподвижно, точно лицо бронзовой статуи. Глаза какъ-то смотрѣли черезчуръ прямо, мало двигались,

причемъ небольшіе, глубокіе черные зрачки на синеватыхъ бѣлкахъ, кажется, ничего не видали передъ собой. Лобъ его почти весь, до самыхъ бровей, былъ прикрытъ чалмой или тюрбаномъ изъ какой-то блестящей восточной ткани, пестрой, какъ ткань турецкой шали. Костюмъ его—былъ бѣлый, широкій балахонъ изъ какой-то шерстяной полосатой ткани съ широчайшими рукавами, которые каждый разъ, какъ только онъ поднималъ ихъ кверху, открывали чуть не до плечъ его гладкія, тонкія, но мускулистыя бронзовыя руки.

Когда отецъ представилъ его всѣмъ гостямъ и пригласилъ его сѣсть на диванъ, то онъ быстро сбросилъ съ ногъ туфли и сѣлъ по восточному, поджавъ подъ себя ноги. Переводчикъ остался у дверей. Отецъ подвинулъ къ дивану шахматный столикъ, на которомъ уже были разставлены шахматы.

Я долженъ замѣтить, что эти шахматы были особенные, старинные, будто бы, индійскіе, съ очень крупными, чрезвычайно искусно, художественно выточенными и вырѣзанными фигурами. У насъ никогда не играли въ эти шахматы и на этомъ столикѣ, отдѣланномъ серебромъ и бирюзой, они стояли только, какъ украшеніе комнаты.

Багараджа взглянулъ въ полъ-оборота на своего компаньона, и тотъ быстро подошелъ къ нему, скрестивъ руки на груди и наклонивъ голову, всталъ подлѣ дивана. Во все время игры онъ не перемѣнялъ его почтительной позы, и какъ-то странно было смотрѣть на него, неподвижно стоящаго съ наклоненной головой и постоянно говорящаго въ этомъ положеніи съ закрытыми глазами. Впрочемъ, онъ говорилъ весьма мало и только переводилъ то, что говорилъ намъ Багараджа.

Отецъ сказалъ ему, что мы всѣ (и онъ указалъ на всѣхъ присутствующихъ) будемъ играть противъ него одного. И

при этихъ словахъ онъ сѣлъ за столикъ напротивъ Багараджи. Переводчикъ тотчасъ же бойко перевелъ наше рѣшеніе и, когда тотъ отвѣтилъ, то онъ перевелъ намъ:

— Господинъ согласна.

Я, помню, при этомъ взглянулъ на неподвижно серьезное лицо гостя и улыбнулся.

Затѣмъ отецъ спросилъ:

— Кому же начинать?

На что Багараджа склонилъ голову, скрестивъ руки, а переводчикъ сказалъ:

— Господинъ говорилъ: ваша воля!

Отецъ посмотрѣлъ на всѣхъ, какъ бы спрашивая, такъ ли?—и выступилъ гамбитомъ отъ короля.

Багараджа двинулъ на одинъ ходъ пѣшку отъ ферезева коня.

Всѣ переглянулись.

— Очевидно,—сказалъ отецъ:—онъ поведетъ боковую игру... А мы будемъ продолжать свое... Не такъ ли?

И онъ подкрѣпилъ пѣшку короля пѣшкой ферези.

III.

Багараджа выдвинулъ офицера и поставилъ его подлѣ выдвинутой пѣшки.

— Вы видите, видите, онъ желаетъ вести боковую аттаку,—сказалъ отецъ.—А мы будемъ продолжать правильные ходы.—И онъ выступилъ конькомъ со стороны ферези и еще болѣе подкрѣпилъ пѣшку короля.

Багараджа точно такъ же, какъ и на лѣвой сторонѣ, выдвинулъ справа на одинъ ходъ пѣшку отъ королевскаго коня.

Отецъ задумался и спросилъ своихъ товарищей вполголоса:

— Теперь очень соблазнительно поставить предъ этой пѣшкой чернаго офицера.

— Чтобы запереть ходъ пѣшкѣ ферези. Какъ вы думаете? Это недурно, но нѣтъ ли чего нибудь дѣйствительнѣе? —спросилъ Шардонъ.

— Нѣтъ! Нѣтъ! Это будетъ отлично!—вскричалъ Шпейдель, маленькій нѣмчикъ, съ большой лысой головой.

— Ставьте такъ,—сказалъ Бэргъ.—Худого ничего не можетъ быть при боковой аттакѣ. Онъ непремѣнно долженъ защищаться.

— Ставьте! Ставьте!—подтвердили всѣ,—а тамъ увидимъ. —И отецъ поставилъ офицера и загородилъ ходъ пѣшкѣ.

Багараджа, нисколько не думая, выдвинулъ конька и поставилъ его подъ офицера.

— Что̀ сей сонъ значитъ?—удивился отецъ.

Бэрѣ потрепалъ его по рукѣ и сказалъ шопотомъ:

— Это восточная хитрость. Онъ хочетъ отвлечь насъ и смѣнять коня на офицера.—Но, «не дѣлай никогда того, чего желаетъ врагъ твой,»—говорятъ восточные мудрецы,—и я бы на нашемъ мѣстѣ просто подкрѣпилъ офицера пѣшечкой,—и онъ двинулъ пѣшку отъ правой ладьи на два хода впередъ.—Вотъ такъ! Какъ вы полагаете?—И онъ посмотрѣлъ на всѣхъ.

Компанія довольно долго спорила надъ этимъ ходомъ. Шмидтъ совѣтовалъ выступить съ ферезою и очистить мѣсто для рукировки.

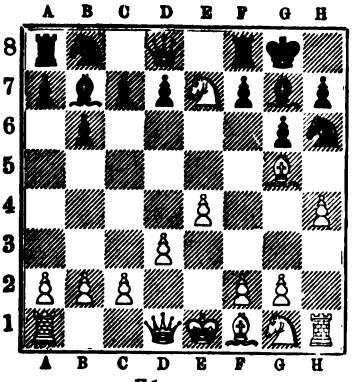
— Помилуйте!—возражалъ князь Баксютовъ:—кто же рукируетъ съ длинной руки, со стороны короля? Это совершенно неправильно.

Шардонъ доказывалъ, что было бы лучше выдвинуть конька и имъ подкрѣпить офицера.

Но всѣ поговорили и оставили тотъ ходъ, на который указалъ Бэргъ. Этотъ ходъ давалъ свободу ладьѣ.

Багараджа тотчасъ же выдвинулъ чернаго офицера.

— Видите! Изволите видѣть! Онъ поведетъ аттаку съ фланговъ,—вскричалъ отецъ.—Но только это ему не удастся. «Кто выигрываетъ съ боковъ, тотъ теряетъ въ серединѣ», какъ говорятъ восточные мудрецы.—И онъ двинулъ лѣваго коня подъ защиту пѣшки короля.—Больше тутъ нечего и думать; впередъ! и посмотримъ, какъ онъ будетъ защищаться!



Багараджа отдаетъ ферезь.

Вся компанія одобрила этотъ ходъ.

Но Багараджа и не думалъ защищаться. Онъ просто рукировался. Отецъ привскочилъ на стулѣ. Князь Баксютовъ проговорилъ:

— Это сумасшедшій ходъ! Онъ непремѣнно теряетъ или ладью, или ферезь!

— Donner-Wetter!—вскричалъ Шпендель, снялъ очки

и началъ ихъ усиленно протирать. Онъ очевидно не вѣрилъ своимъ глазамъ.

Нозовъ только укоризненно, съ сожалѣніемъ, покачалъ головой.

Отецъ взялъ конькомъ пѣшку короля и сказалъ:

— Шахъ королю!

Багараджа съ неподвижнымъ спокойствіемъ взялъ конька ферезью. Мы всѣ ахнули. Шмидтъ вскричалъ:

— Potz-tausend!... Sacristi!—а отецъ поспѣшно взялъ ферезь офицеромъ, какъ будто боялся, что Багараджа спохватится и попроситъ взять ходъ назадъ. Потомъ, обратясь къ намъ, онъ сказалъ спокойно:

— Это онъ нарочно сдѣлалъ. Вотъ вы увидите!

— Какъ нарочно! вскричалъ Шардонъ.—Отдать ферезь нарочно!...

— Что же, онъ насъ за игроковъ не считаетъ?—проговорилъ Баксютовъ.—Такъ мы ему покажемъ! Каждый ходъ, господа, надо обдумывать глубоко и многосторонне.

— Да! да!—согласились всѣ.—Мы посмотримъ, какъ онъ у насъ выиграетъ безъ ферези?!

IV.

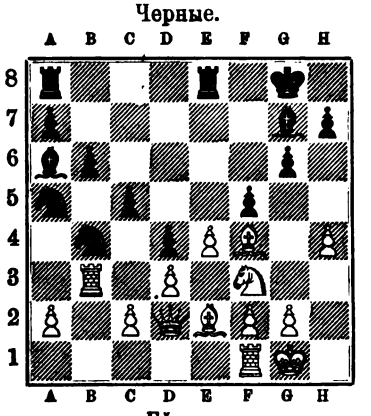
Багараджа поставилъ ладью подъ офицера. Компанія долго совѣтовалась и рѣшила убрать офицера на прежнее мѣсто.

— Мы ничего ему не дадимъ, ничего!—горячился Бэргъ:—ни одной фигуры, ни одной пѣшки не подаримъ.

И отецъ отставилъ офицера на прежнее мѣсто. Багараджа выдвинулъ на два хода пѣшку слѣва, такъ что образовалъ непрерывную линію пѣшекъ. Затѣмъ мы увидѣли вскорѣ, что съ другой стороны точно такъ же выстрои-

лась другая линія пѣшекъ, и обѣ они образовали уголъ, который очень близко подходилъ къ нашему центру. Прорвать эту линію не было никакой возможности, разумѣется, безъ значительныхъ пожертвованій. Но вся компанія единодушно рѣшила не жертвовать ничѣмъ.

— Ни одной пѣшки! Ни одной пѣшечки! Мѣняйся, если хочешь! Мы готовы!



Бѣлые.

Багараджа выстраиваетъ пѣшки угломъ.

Но Багараджа избѣгалъ мѣны. Онъ еще пожертвовалъ офицеромъ, заманилъ этимъ пожертвованіемъ ферезь въ самый край шашечницы и тамъ крѣпко приперъ ее пѣшками подъ защитой коня и офицера. Разъединивъ наши ладьи, онъ, напротивъ, выдвинулъ свои на одну линію и подъ защитой этой батареи провелъ пѣшку и далъ блистательный, ошеломляющій матъ. И, что всего было удивительнѣе и обиднѣе, это то, что̀ онъ предсказалъ его. Когда

онъ свелъ ладьи на одну линію, то онъ сказалъ переводчику:

— Скажи имъ, что чрезъ 8 ходовъ имъ будетъ матъ.

И переводчикъ перевелъ намъ:

— Господинъ говоритъ, что чрезъ 8 ходовъ онъ кончалъ игра. Вашъ король махама.

Можно представить себѣ, какъ это взволновало насъ всѣхъ.

— Ну, это вздоръ!—сказалъ Баксютовъ.—Теперь, господа, намъ всѣмъ надо строго слѣдить и не дѣлать тѣхъ ходовъ, которые онъ будетъ подготовлять. Какъ! Чтобы чрезъ 8 ходовъ былъ бы матъ, неизбѣжный матъ!! Чтобы этотъ матъ нельзя было ничѣмъ отвратить?! Слушай! Ты, какъ тебя зовутъ?—обратился онъ къ переводчику:—скажи твоему господину, что я не вѣрю!! Князь Баксютовъ не вѣритъ. Нѣтъ!—и онъ отрицательно покачалъ пальцемъ передъ самымъ кончикомъ его носа.

Переводчикъ что то пробормоталъ, чего, разумѣется мы не поняли, и въ отвѣтъ ему Багараджа сказалъ тѣмъ же мѣрнымъ, безстрастнымъ голосомъ какую-то фразу.

— Что онъ говоритъ?!—встрепенулся Нозовъ.—Пожалуйста, переведите! Что онъ сказалъ?—обратился онъ къ переводчику.

— Онъ говоритъ,—объяснилъ отецъ:—что воля Всевышняго всегда должна совершиться. Блаженъ человѣкъ, знающій ее.

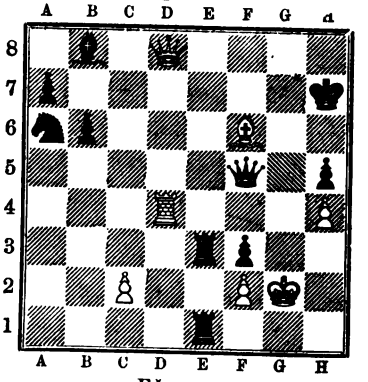
— Ну, это индійскій фатализмъ!—сказалъ Шардонъ.

— Господа! Господа!—напомнилъ намъ отецъ—Не будемте отвлекаться посторонними вопросами. Вотъ видите ли онъ грозитъ этой линіи. Здѣсь наша слабая сторона... Какъ вы думаете укрѣпить ее?!

И всѣ старались не только укрѣпить ее, но дѣлать ходы, которые онъ, по ихъ мнѣнію, никакъ не могъ предвидѣть.

Но на дѣлѣ оказалось, что мы дѣлали именно тѣ ходы, которые лежали въ его пророчествѣ. Они всѣ были предвидѣны.

Черезъ четыре хода будущее игры стало ясно даже для ребенка. Матъ былъ неизбѣженъ и не только неизбѣженъ, но именно тотъ матъ, который онъ предвидѣлъ,—матъ пѣшкой королевы.



Багараджа даетъ матъ пѣшкой королевы.

Кончивъ игру, онъ всталъ съ дивана, медленно надѣлъ свои туфли и, скрестивъ на груди руки, поклонился всѣмъ намъ.

Отецъ и всѣ уговаривали его сыграть еще партію, но онъ упорно отказался и той же торжественно величавой походкой, въ сопровожденіи своего толмача, удалился.

Всѣ тотчасъ же по его уходѣ принялись разбирать и критиковать сыгранную партію. Прежде всего ее, разумѣется, записали на память и затѣмъ спорили и пересматривали каждый ходъ чуть не до двухъ часовъ ночи. Всѣ

рѣшили, что это игра, хотя неправильная, но въ высшей степени талантливая.

Я послѣ много разъ спрашивалъ себя: «Въ чемъ же тутъ лежитъ талантъ, и какую игру можно назвать правильной»?

Въ эту ночь всю напролетъ, до бѣла утра, я не могъ уснуть. Страшная головная боль и спазмы въ груди не давали спать. Порой я забывался, и вдругъ передъ глазами вырѣзывалось отчетливо неподвижное, словно мертвое лицо бронзоваго цвѣта. И я съ испугомъ открывалъ глаза.

Я долженъ замѣтить, что вообще я росъ болѣзненнымъ, впечатлительнымъ мальчикомъ и вырастить меня стоило не мало хлопотъ и горя моей бѣдной матери. Въ 13 лѣтъ я былъ страшно худъ и малъ. Я походилъ на мальчика, которому никакъ нельзя было дать больше 10 лѣтъ. Смуглый, черноволосый, я походилъ лицомъ на отца, но слабость, болѣзненную вялость и ростъ я наслѣдовалъ отъ матери, которая была худенькая, маленькая, болѣзненная блондинка.

Я заснулъ уже на разсвѣтѣ. Мнѣ снилось, что Багараджа былъ какой-то геній повелитель и покровитель всего міра. Всѣ шахматы двигались по мановенію его руки. Тяжелые слоны выступали грузно слоновой поступью. Легкія ладьи шли на всѣхъ парусахъ. Бѣдныя пѣшки летѣли, сломя голову, куда посылали ихъ, и погибали тысячами, а несчастная ферезь, которая во снѣ представлялась мнѣ какой-то прелестной индійской дѣвушкой, погибла въ самомъ началѣ боя. И всѣ бились въ жаждѣ отмщенія за ея смерть.

V.

Вскорѣ я довольно близко познакомился съ моимъ міровымъ геніемъ повелителемъ и его ферезью или индійской дѣвушкой. Вотъ какъ это произошло.

Прежде всего я долженъ сказать, что у отца былъ старый другъ и пріятель, его сослуживецъ, который былъ прежде директоромъ какого-то азіятскаго департамента, а теперь мирно доживалъ свою жизнь на покоѣ. Человѣкъ этотъ былъ весьма замѣчательный и во многомъ крайне оригинальный. Онъ былъ гораздо старше моего отца, хотя былъ крѣпокъ и бодръ на видъ. Звали его Семеномъ Никитичемъ Мурзановымъ. Онъ былъ старый, безсемейный холостякъ, жилъ скромно, пенсіей и какими-то остатками отъ наслѣдственнаго состоянія. Былъ филантропъ. Отецъ разсказывалъ, что большую часть молодости Семенъ Никитичъ провелъ въ Индіи, куда ѣздилъ не столько по порученію министерства, сколько по собственному желанію.— Онъ хорошо изучилъ нарѣчія Индостана, готовился даже, говорятъ, къ профессорской кафедрѣ, но, неизвѣстно почему, остался до конца службы чиновникомъ.

Я, какъ теперь, смотрю на его невысокую, но крѣпко сбитую, коренастую фигурку, на его доброе, даже черезчуръ доброе красное лицо, на его кроткую улыбку и сѣдую голову. Онъ бывалъ у насъ почти каждый день и считался самымъ вѣрнымъ и надежнымъ другомъ дома. Дѣйствительно, вся семья наша видѣла не мало доказательствъ его искренней привязанности къ нашему дому.

И вотъ къ этому нашему общему другу на другой день нашего шахматнаго вечера послалъ меня отецъ съ большимъ конвертомъ. Дѣло въ томъ, что въ этотъ день Семенъ Никитичъ былъ не такъ здоровъ, а дѣло было, очевидно, спѣшное. Въ сношеніяхъ отца съ Багараджей Семенъ Никитичъ, очевидно, игралъ роль какого-то посредника.

— Вотъ,—сказалъ онъ, распечатавъ конвертъ и прочитавъ письмо отца. — Прошу покорно, еще коммиссія! Вѣдь говорилъ моему любезному Сергѣю: не вмѣшивайся, откажись отъ этого дѣла. Нѣтъ! Тянетъ!... А все суэта суэтъ

и всяческая суэта... Положимъ, тутъ есть добрая часть, но, покорнѣйше прошу!.. Какъ прикажете ее выдѣлить?!..

— Что такое, Семенъ Никитичъ! Я ничего не понимаю.

— И прекрасно дѣлаешъ!.. Отлично дѣлаешь! Покорнѣйше прошу.—Какъ понимать такія дѣла! Кто ихъ поймета!?.. И не понимай, мой невинный младенецъ!

И Семенъ Никитичъ съ оника началъ мнѣ излагать всю сущность дѣла. У него была привычка говорить вслухъ, не стѣсняясь собесѣдникомъ или присутствующимъ. Если этого собесѣдника или присутствующаго не оказывалось, то онъ обращалъ свою рѣчь къ толстому своему коту, Пуду Стахичу, или къ хриплой старой моськѣ Маврушкѣ, или къ скворцу, Злодѣю Иванычу. За этотъ грѣхъ онъ никогда не могъ быть дипломатомъ.

— Багараджа пріѣхалъ сюда съ очень тонкимъ дѣломъ,— говорилъ онъ.—Неизвѣстно, по собственной причинѣ или депутатомъ отъ индійскихъ раджей... Вотъ!.. Покорнѣйше прошу!.. Ты только, другъ мой милый, держи это за зубами... Никому!—И онъ строго погрозилъ мнѣ.

— Помилуйте, Семенъ Никитичъ, развѣ въ первый разъ вы мнѣ довѣряете свои тайны? Все равно, что вашъ Пудка... Сохраню...

— То-то! Смотри, злодѣй, не выдай... А ты знаешь, что въ Индіи готовится?.. Не знаешь? Ну! И не знай!.. Покорнѣйше прошу! И не знай! Оно лучше!.. Такъ вотъ Багараджа пріѣхалъ... склонять... того... помочь имъ... Ты только держи языкъ за зубами!.. И вдругъ!.. Покорнѣйше прошу!.. Я, я... Мертвый человѣкъ.. Отсталый человѣкъ... Устрой депутацію, цѣлую депутацію отъ департамента... А! Покорнѣйше прошу!.. Нѣтъ! Я васъ спрашиваю... Покорнѣйше прошу!.. Какъ вы это думаете? (должно сказать, что когда Семенъ Никитичъ былъ взволнованъ, то обращался ко мнѣ съ церемоннымъ «вы»)... Могу ли я быть тутъ по-

средникомъ?.. Тебѣ, говоритъ, легче, чѣмъ мнѣ... Слышите!!!.. Я надѣвай теперь хомутъ (такъ называлъ Семенъ Никитичъ свой мундиръ), всѣ бляхи и отправляйся... Да что скажутъ?.. Покорнѣйше прошу!.. Ты что, скажутъ, изъ мертвыхъ воскресъ или бѣлены объѣлся? Не хочешь ли въ желтый домъ, на девятую версту? (Тогда желтый домъ былъ на девятой верстѣ, по Петергофской дорогѣ). Тебя, говоритъ, цѣнятъ... Да позвольте, покорнѣйше прошу .. Кому тепло или холодно, что меня цѣнятъ. Ты, пишетъ... вотъ, вотъ, прочти! Ты всегда былъ простъ и откровененъ... а это теперь важно въ дипломатіи... Видите, видите (и онъ совалъ мнѣ въ лицо письмо отца).—Да позвольте мнѣ самому судить, что важно, и что не важно. Ты простъ и откровененъ... То-есть, другими словами... простоватъ и дураковатъ!.. Тебѣ повѣрятъ... Покорнѣйше прошу!.. Какъ это вамъ лестно!.. А?!..

— Да папа, вѣроятно, думаетъ, что вы лучше сдѣлаете, Семенъ Никитичъ!.. Онъ офиціальное лицо, а вы по простотѣ...

— Нѣтъ, юнецъ! Нѣтъ, младенецъ! Покорнѣйше прошу! Какая тутъ простота!.. А то вотъ что!.. Слушай!.. И семенъ Никитичъ нѣсколько задумался.

— Что такое, Семенъ Никитичъ?!..

— А вотъ говорятъ, Господь младенцевъ умудряетъ. Покорнѣйше прошу!.. Пойдемъ-ка мы вмѣстѣ съ тобою.

— Куда?

— А къ Багараджѣ... Ты, вѣдь, по-англійски говоришь?

При одной этой мысли, пойдти къ этому «шахматному генію», царю, у меня кровь бросилась въ лицо.

— Говорю немножко,—прошепталъ я.

— Ну вотъ и прекрасно! Покорнѣйше прошу... Тутъ немного и нужно.

— А развѣ онъ говоритъ по-англійски?—И тутъ же

подумалъ: да почему же съ нимъ отецъ не говоритъ по-англійски?

— Нѣтъ, онъ не говоритъ! А у него, покорнѣйше прошу, есть племянница, хорошенькая дѣвочка... Такъ вотъ ты съ ней... А?! Покорнѣйше прошу!.. А?!.. Меня-то къ ней не пустятъ... А ты, вѣдь, младенецъ, Божья душа!..

Я возмутился было при этой роли въ качествѣ младенца, но желаніе увидѣть еще разъ Багараджу, увидать въ его домашней жизни, было такъ соблазнительно, что я кивнулъ головой въ знакъ согласія.

VI.

— Видишь ли, юнецъ!—говорилъ Семенъ Никитичъ, наклонясь къ моему уху.—Тутъ дѣло, покорнѣйше прошу, очень тонкое... У! Какое тонкое!.. Тутъ съ одной стороны Великобританія... а съ другой... эти несчастные Раджи... Если мы вмѣшаемся въ это дѣло, то надо тонко дѣйствовать... У! какъ тонко! А то грязи наѣшься... И секретъ весь простой! Только и надо знать, чья дочь Джемма... Если Раджи Кульджистанскаго, то мы и прочь!.. Покорнѣйше прошу!.. Сейчасъ же и прочь!.. Понимаешь, юнецъ?

Но я ничего не понималъ.

— Если же она дочь Раджи Джарраханскаго... То мы должны дѣйствовать... Покорнѣйше прошу!.. Мы обязаны дѣйствовать и защитить ихъ отъ Виликобританіи... Да! Непремѣнно защитить...

— Что же, она притѣсняетъ ихъ?..

— Она... и Семенъ Никитичъ не договорилъ, но сдѣлалъ жестъ обѣими руками, сгребая и схватывая ими воздухъ.—Покорнѣйше прошу!.. Понимаешь?..

Но я ровно ничего не понималъ.

— Если Джема... Покорнѣйше прошу!.. Хорошенькая дѣвочка!.. (И онъ сдѣлалъ самую умиленную восторженную мину).—Если Джема дочь Раджи Джарраханскаго, то мы обязаны дѣйствовать... Это, покорнѣйше прошу... самое законное дѣло... Но вотъ въ этомъ-то весь вопросъ... И ты его, покорнѣйше прошу, разрѣши.

— Да какъ же я его разрѣшу!!—удивился я.

— А просто... Очень просто,—и онъ началъ говорить почти надъ самымъ моимъ ухомъ.—Ты, покорнѣйше прошу, спроси только Джемму: какъ, молъ, зовутъ вашего батюшку?..

— Ну! И больше ничего?..

— И больше ничего... Понимаешь?!.. И покорнѣйше прошу!.. И мы сейчасъ же пойдемъ къ нимъ.—И крикнувъ своего такого же стараго, какъ и онъ, слугу, Григорія, торопливо, при помощи его, началъ одѣваться. Онъ надѣлъ бѣлый гастукъ и жилетъ, черные чулки и фракъ, на который нацѣпилъ двѣ звѣзды.

— Вотъ оно, какъ слѣдуетъ являться,—говорилъ онъ:—къ этимъ англійскимъ Будамъ Full dress!.. и all right!..

А я, смотря на него, думалъ: «Хорошо или дурно я дѣлаю, что иду»? Но желаніе видѣть великаго шахматнаго игрока заглушало всѣ вопросы и этическія тенденціи.

Во время своего туалета Семенъ Никитичъ постоянно обращался ко мнѣ и бросалъ короткія разъясненія.

— Если,—говорилъ онъ:—ты это раскроешь, то дѣло будетъ чисто... Понимаешь?!.. Покорнѣйше прошу!.. Имъ очень важно, чтобы мы повѣрили, что она дочь Раджи Джарраханскаго... Принцесса, законная наслѣдница чуть не половины всей Индіи... Покорнѣйше прошу!.. Вотъ и ты тоже будешь дипломатомъ... Покорнѣйще прошу!.. — И онъ засмѣялся своимъ тихимъ добродушнымъ смѣхомъ и нѣжно похлопалъ меня по спинѣ.

Мы вышли на подъѣздъ. Погода была сырая, но дождя не было. Григорій проводилъ насъ до послѣдней ступени и крикнулъ кучеру подавать. Къ подъѣзду тихо, неторопливо подкатила маленькая, скромненькая каретка, запряженная парой желтыхъ шведокъ. Мы сѣли и отправились.

VII.

Багараджа остановился у Демута... Въ то время это былъ единственный, болѣе комфортабельный отель. Послѣ я узналъ, что онъ пріѣхалъ съ цѣлой свитой, какъ владѣтельная особа, и занялъ десять роскошныхъ номеровъ въ бель-этажѣ. Притомъ и эти роскошные номера свита его отдѣлала по восточному, привезенными коврами и разными накупленными уже здѣсь, въ Петербургѣ, восточными вещами. Однимъ словомъ, онъ очевидно хотѣлъ выказать здѣсь царскую роскошь.

Какъ только мы вошли, то передъ нами встали и вытянулись человѣка три, четыре какихъ-то темнобронзовыхъ сипаевъ. И всѣ они поклонились Семену Никитичу. А передъ самой дверью всталъ тоже какой-то темный человѣкъ, одѣтый въ яркое, расшитое золотомъ платье и попросилъ идти за нимъ.

Мы прошли двѣ или три комнаты и, наконецъ, вошли въ ту залу, гдѣ былъ Багараджа. Здѣсь, у самой двери, поклонился намъ тотъ же маленькій переводчикъ, который былъ у насъ въ Середу.

Комната была полутемная, убранная вся коврами, обращенная окнами на дворъ. Багараджа сидѣлъ на низенькомъ и широкомъ диванѣ, почти на полу. Передъ нимъ стояли какіе-то ларчики. Онъ что-то разбиралъ въ нихъ. Стояло нѣсколько бронзовыхъ лицъ въ очень безцеремонныхъ ко-

стюмахъ и съ длинными ножами за поясомъ. Это были его тѣлохранители.

Увидѣвъ насъ, онъ поднялся съ своего мѣста и пошелъ къ намъ навстрѣчу. Въ ту же минуту переводчикъ какъ-то быстро подошелъ къ намъ, въ своей обычной позѣ, со скрещенными на груди руками и приготовился слушать и переводить.

— Хвала Богу, что вижу васъ,—перевелъ онъ привѣтствіе Багараджи.

— Хвала Всевышнему, дозволяющему видѣть людей, знающихъ и вѣрящихъ другъ другу, — сказалъ Семенъ Никитичъ.

И вслѣдъ за тѣмъ Багараджа сдѣлалъ какой-то едва замѣтный знакъ всѣмъ слугамъ, стоящимъ около него и его переводчику. Они всѣ, не исключая тѣлохранителей, съ низкими поклонами вышли изъ комнаты. Мы остались одни и Багараджа заговорилъ съ Семеномъ Никитичемъ на непонятномъ мнѣ языкѣ. Какіе-то гортанные рокочущіе звуки съ придыханіями и захлебываніями вылетали изъ его горла. Семенъ Никитичъ говорилъ почти также довольно бойко, но этотъ эффектъ не выходилъ изъ его гортани. Притомъ онъ говорилъ не такъ плавно и свободно.

Порой можно было подмѣтить одушевленіе въ рѣчи Багараджи. Онъ говорилъ быстрѣе, сильнѣе раздувались его ноздри, слова какъ будто торопились и сталкивались, слетая съ его гибкаго и изворотливаго языка. Вдругъ онъ остановился и, указавъ на меня пальцемъ, спросилъ что-то. Въ это время я весь былъ погруженъ въ вопросъ: не играетъ ли Багараджа такъ хорошо въ шахматы потому, что онъ говоритъ на этомъ гибкомъ и бойкомъ языкѣ.

Семенъ Никитичъ что-то отвѣтилъ и потрепалъ дружелюбно меня по спинѣ... И вслѣдъ за его отвѣтомъ Багараджа хлопнулъ въ ладоши. Почти въ то же мгновенье, изъ-за

портьеры выставилась голова въ чалмѣ. Багараджа что то приказалъ ей, и она быстро, съ низкими поклонами, подошла ко мнѣ и взяла меня за руку.

— Пойди за нимъ!—сказалъ Семенъ Никитичъ:—онъ проводитъ тебя къ Джеммѣ.

Я съ неохотой отправился, но прежде всего выдернулъ руку изъ руки высокаго Индійца съ черной бородой.

Онъ провелъ меня черезъ рядъ комнатъ, такъ же роскошно убранныхъ, и остановился передъ дверью одной комнаты, около которой стоялъ высокій, черный тѣлохранитель. —Онъ сказалъ ему что-то, и онъ стукнулъ три раза въ дверь; на эти стуки черезъ нѣсколько секундъ изъ-за двери выглянула какая-то мулатка, поговорила съ тѣлохранителемъ и провожавшимъ меня Индійцемъ, потомъ, отвернувшись, что-то спросила у того, кто былъ внутри комнаты, и протянула ко мнѣ руку. — Но я, не давая моей руки, быстро двинулся къ ней и вошелъ въ темное пространство, которое было амбразурой дверей.

Мулатка заперла за мной двери и распахнула портьеру.

Въ комнатѣ былъ полусвѣтъ.—На широкомъ диванѣ сидѣла Джемма, сидѣла по восточному, поджавъ подъ себя ноги. И какъ только я вошелъ, она сдѣлала движеніе, чтобы подняться съ дивана, но остановилась и что-то спросила мулатку. Затѣмъ быстро поднялась, сдѣлала нѣсколько шаговъ ко мнѣ и, наклонясь и полуобнявъ меня, сказала по-англійски:

— Good Day! My dear! Boy (здравствуй, мой дорогой мальчикъ!)—И она горячо поцѣловала меня въ щеку, причемъ я замѣтилъ, что вся ея фигура и все въ комнатѣ было пропитано какими-то сильными духами. Но все это я замѣтилъ и ощутилъ полусознательно. Лицо Джеммы, если можно такъ сказать, поглотило меня всецѣло. Мнѣ не хотѣлось спускать съ него глазъ, до того оно было привлека-

тельно. Красивое, смуглое личико съ большими, добрыми, черными глазами. Она была высока, стройна, но смотрѣла совершенно по дѣтски. Ея округлыя, выпуклыя щеки были покрыты легкимъ пухомъ, а ярко алыя какъ бы припухшія губки были полуоткрыты, и за ними выставлялись ровные зубы ослѣпительной бѣлизны.

Она взяла меня своими маленькими ручками, съ длинными красными ногтями, подвела къ дивану и усадила подлѣ себя.

На ней былъ какой-то восточный костюмъ изъ легкой шелковистой ткани, съ широкими рукавами, которые быстро спадали съ ея стройныхъ рукъ, когда она поднимала ихъ кверху. На головѣ ея была низенькая шапочка темносиняго цвѣта, вышитая золотомъ и жемчугомъ. При каждомъ ея движеніи на ней бренчали и звенѣли ожерелья и цѣпочки, надѣтыя на ея шеѣ, а на ея стройныхъ рукахъ подъ тактъ имъ звенѣли браслеты.

— Вотъ, мой дорогой мальчикъ!—говорила она довольно свободно по-англійски: — видишь, это у меня священныя буссы-четки отъ нашего святаго дервиша Галярджабума-Матхата. Никакой глазъ, никакое злое желаніе не коснется меня до тѣхъ поръ, пока я буду носить ихъ... Хочешь, я подарю тебѣ одну бусынку, и ты надѣнешь ее на твою милую шейку, и эта бусынка будетъ хранить тебя отъ всякихъ несчастій.

Но я, разумѣется, отказался отъ этого подарка.

Въ это время изъ другой комнаты вышло еще двѣ женщины, и всѣ онѣ обступили меня и смотрѣли на меня, какъ на дикаго звѣрька, необыкновенно скоро болтая и жестикулируя. Джемма точно такъ же болтала съ ними; иногда онѣ дотрогивались до моего платья, гладили его и брали въ руки полы моего пиджака.

— Дорогой мой,—сказала Джемма.—Отчего ты носишь

такое теплое платье? Неужели тебѣ не жарко въ этомъ шерстяномъ платьѣ?

И, дѣйствительно, въ ея комнатахъ было удивительно жарко натоплено, а отъ ея сильно пахучихъ, пряныхъ духовъ невольно кружилась голова.

VIII.

— Дорогой мой! — сказала она: — скинь твою теплую шкурку. Я тебѣ дамъ чудную кофту. — И тотчасъ же она обратилась къ одной изъ женщинъ и что-то сказала ей на непонятномъ языкѣ. Та опрометью бросилась въ другую комнату и почти тотчасъ же вынесла длинную кофту съ широкими женскими рукавами, всю расшитую золотомъ. Я покраснѣлъ при одной мысли надѣть такую кофту, но Джемма сѣла передо мной на коверъ и только повторяла ея мягкимъ, ласковымъ, пѣвучимъ говоромъ:

— I beg You! My dear, if you love me!

А сзади мулатка и другая женщина безъ церемоніи стаскивали съ меня мой пиджакъ, и не прошло полъ-минуты, какъ я былъ наряженъ въ женскую кофту. Джемма, не поднимаясь съ колѣнъ, обняла меня.

— О, мой дорогой, милый мальчикъ,—прошептала она: —ты такъ гораздо, гораздо красивѣе!

И она быстро поднялась съ колѣнъ и, медленно отступая и наклоняя голову то направо, то налѣво, щурилась и любовалась на меня. При этомъ почти поминутно вскидывала руки кверху, точно хотѣла обнять меня, и наконецъ бросилась ко мнѣ и страстно обняла меня и поцѣловала.

— Ты, вѣдь, любишь меня? Моя душечка! Мое сердце! Мой глазокъ!—спрашивала она.

И когда она прижала меня къ своей груди, то я чув-

ствовалъ, какъ сильно колышется ея сердце, и какъ тяжело дышетъ и волнуется эта горячая и упругая грудь, прижимаясь ко мнѣ.

Я невольно отстранился и подумалъ:

— Какая тутъ дипломатія?! Тутъ нужно жениха, а не дипломата.

Затѣмъ все съ тою же поспѣшностью, съ тѣми же быстрыми, ловкими, точно кошачьими движеніями, она усадила меня опять подлѣ себя и опять приказала что-то своимъ прислужницамъ. Двѣ изъ нихъ опрометью бросились и почти тотчасъ принесли подносъ, установленнный какими-то чашечками и флакончиками.

— Хочешь ты фисташковаго тѣста или вареной Батли танги? Это очень вкусно и сладко.

— Я немного попробую,—сказалъ я.

— Кушай, кушай, дорогой мой!

Я попробовалъ. Что-то сладко, черезчуръ сладко, ароматно и страшно перечно... Я не могъ ѣсть и отказался къ крайнему удивленію ея и всѣхъ стоящихъ тутъ, которыя заахали и затараторили, какъ сороки. Она взяла отъ меня блюдце и, посматривая на всѣхъ и болтая безъ умолку, быстро съѣла.

Затѣмъ она опять что-то сказала своимъ прислужницамъ, и онѣ принесли два ларчика, одинъ меньше, черный, изъ какого-то дерева или массы, но удивительно художественно сдѣланный. Онъ весь представлялъ сплетеніе мельчайшихъ фигурокъ, людей, змѣй, слоновъ, тигровъ, арабесокъ. Другой былъ, богато украшенный дорогими камнями, ларецъ изъ слоновой кости. Она взяла первый, отперла и раскрыла передо мной. Ларецъ былъ полонъ нитками жемчуга. Нѣкоторыя жемчужины были такой громадной величины, что никогда затѣмъ нигдѣ не видалъ такихъ, да и вѣроятно не увижу.

— Это мои старинные жемчуги...—говорила Джемма:—Жемчуги моего рода... Вотъ посмотри! Красиво!

И она вынула самую крупную, необыкновенно чистой воды жемчужину, которая была оправлена болѣе мелкими, въ родѣ звѣзды.

Она щурилась и любовалась на эту жемчужину, примѣривала на меня, то приставляя къ горлу, то на лобъ.

— Это «звѣзда радости», — сказала она.—Ей ужъ теперь лѣтъ триста.—И она положила эту звѣзду радости снова въ ларчикъ и открыла другой ларецъ побольше, изъ слоновой кости. Я невольно ахнулъ. Такой массы дорогихъ камней я никогда не видалъ. Весь ларецъ былъ наполненъ ими. Тутъ были колье изъ крупныхъ солитеровъ, отъ которыхъ, казалось, исходили брилльянтовые огни. Тутъ были чудные сапфиры, изумруды, рубины... Но все это, было тяжело, некрасиво оправлено, безвкусно. И все лежало, наваленное, другъ на друга. Она безъ церемоніи вытаскивала изъ ларца то ту, то другую ривьеру или фермуаръ, или брошу, или серьги. При чемъ камни терлись другъ отъ друга и объ металлическія, золотыя украшенія. Она надѣвала ихъ на себя одну за другой и, надѣвъ, смотрѣла на меня и щурилась.

— Хорошо?.. а это хорошо?! А? — спрашивала она, гордая красотой дорогихъ камней и своей собственной.—Ты хочешь, я тебѣ подарю это,—говорила она, протягивая ко мнѣ одно колье.—Хочешь? У тебя будетъ хорошая, дорогая цѣпь на твоей хорошенькой, нѣжной шейкѣ...

И она надѣла брилльянтовую цѣпь мнѣ на шею.

Но я запротестовалъ всѣми моими силами, противъ этого неожиданнаго и дорогаго подарка.

— Нѣтъ! Я хочу, чтобы ты носилъ ее,—спорила она. Мой дорогой! Жизнь моя!—И она никакъ не соглашалась взять ее назадъ.

— Я послѣ пришлю ей назадъ,—подумалъ я:—съ ней не сговоришь, какъ съ маленькимъ ребенкомъ. А теперь просто надо бѣжать, а не то она, пожалуй, захочетъ укладывать меня спать на ея постели и убаюкивать меня.

— Я долженъ идти,—сказалъ я, быстро вскочивъ съ дивана и посмотрѣвъ на часы.—Меня ждутъ... Мнѣ никакъ нельзя,—говорилъ я. Отдайте мнѣ мое платье! и я хотѣлъ сбросить кофту.

— Нѣтъ! Нѣтъ! Я дарю тебѣ эту кофту... Мой дорогой! —и она хотѣла обнять меня.

Но я ловко увернулся и, схвативъ мой пиджакъ, который лежалъ тутъ же на диванѣ, сбросилъ ненавистную кофту и быстро надѣлъ свое платье.

Этотъ рѣшительный шагъ поразилъ, кажется, и Джемму и ея прислужницъ. Нѣкоторыя даже слабо вскрикнули. Я началъ разстегивать коллье. Но замочекъ былъ съ какимъ-то секретомъ, а Джемма, увидавъ, что я дѣлаю, снова бросилась передо мной на колѣни и съ мольбой заговорила.

— Но! Но! Но! Ты этого не снимешь! Ты это возьмешь себѣ!.. Это я подарила тебѣ... Мое сердце... Мое сокровище!.. Пламя очей моихъ!

— А вы меня выпустите? — спросилъ я.—Мнѣ здѣсь жарко... душно... И, дѣйствительно, я просто задыхался.

— Прощай! Иди!.. Прощай, мой милый, милый мальчикъ! И она такъ страстно прижалась ко мнѣ. Мнѣ казалось даже, что въ ея зазвенѣвшемъ голосѣ зазвучали слезы.

Я вырвался и со всѣхъ ногъ бросился вонъ.

Только въ третей комнатѣ я остановился и вспомнилъ, что не исполнилъ того дипломатическаго порученія, съ которымъ послалъ меня Семенъ Никитичъ.

IX.

Тихими шагами, соображая, идти мнѣ или не идти къ нему, и что онъ обо мнѣ подумаетъ, скажетъ: «мальчикъ, ребенокъ, дитя!.. развѣ возможно поручить ему что-нибудь серьезное?!» Но въ то же время я утѣшалъ себя мыслью, что я еще разъ буду имѣть предлогъ быть у Джеммы.—И съ этимъ рѣшеніемъ предсталъ передъ Семеномъ Никитичемъ и Багараджей. Они сидѣли по прежнему вдвоемъ и объ чемъ то говорили, съ увлеченіемъ перебивая другъ друга.

— Ну! Что?!.. Какъ дипломатія?—вскричалъ Семенъ Никитичъ, увидавъ меня.

Но я завертѣлъ отрицательно головой и сказалъ:

— Никакъ нельзя было... Никакъ нельзя. Я вамъ послѣ разскажу.

Семенъ Никитичъ укоризненно покачалъ головой и что то сказалъ Багараджѣ по-индійски.

— О!—вскричалъ онъ и проговорилъ какую-то фразу, быстро, но съ достоинствомъ, какъ-то величественно, по царски прошелъ въ уголъ комнаты и, взявъ оттуда небольшой шахматный столикъ, съ разставленными шахматами, онъ принесъ его и поставилъ передъ диваномъ. Затѣмъ, опустившись на него, указалъ мнѣ мѣсто противъ себя на низенькомъ табуретѣ или, вѣрнѣе, на высокой подушкѣ.

— Раджа приглашаетъ тебя играть съ нимъ,—сказалъ Семенъ Никитичъ.—Я сказалъ, что ты страстный любитель шахматъ.

Я чувствовалъ, кыкъ закружилась моя голова, и завертѣлись зеленыя змѣйки, или крохотные зеленые червячки.

— I beg You!—сказалъ Раджа и указалъ мнѣ на по-

душку. На моей сторонѣ стояли бѣлыя... Я долженъ былъ начинать.

Мое волненіе не покидало меня во все продолженіе нашей игры. Я не буду описывать ее. Скажу только, что въ самомъ началѣ ея я потерялъ ферезь, а за ней обѣ ладьи и, къ крайнему моему стыду, остался съ однимъ королемъ и съ двумя конями. Очевидно, Багараджа игралъ со мной, какъ котъ съ мышью. Онъ что-то сказалъ Семену Никитичу, который захохоталъ неистово, а я вскочилъ весь красный и со слезами на глазахъ,—сказалъ, что играть больше не буду, и тутъ же далъ себѣ честное слово выучиться по-индійски и притомъ какъ можно скорѣе, чтобы понимать все, что они говорятъ.

Когда мы уходили, то я обратился къ Семену Никитичу съ просьбой разстегнуть мое коллье и возвратить хозяевамъ. Семенъ Никитичъ только теперь обратилъ на него вниманіе и разохался.

— Ахъ! Ахъ!—сказалъ онъ, всплеснувъ руками:—что ты надѣлалъ!.. Дипломатъ ты, дипломатъ! Покорнѣйше прошу!.. Вѣдь этого нельзя... этого никакъ нельзя... чтобы возвращать подарокъ. Покорнѣйше прошу! Они страшно обидятся... А между тѣмъ они теперь, покорнѣйше прошу, задарили тебя... Ты уже закупленъ ими... Они будутъ такъ и считать... Ахъ! Ахъ! Что ты надѣлалъ!

Мнѣ хотѣлось сказать: «неужели они не понимаютъ, что это была шутка? Со мной играли какъ съ ребенкомъ». Но на это объясненіе, признаюсь, откровенно, у меня не хватило духу.

Дома мать моя разстегнула коллье и всѣмъ показывала этотъ дорогой подарокъ. По оцѣнкѣ знатоковъ, онъ стоилъ, по крайней мѣрѣ, 10,000 руб. ассигн.

Визитъ этотъ, по своимъ послѣдствіямъ, имѣлъ для меня довольно важное значеніе и опредѣлилъ на многіе годы

мою дальнѣйшую дорогу въ жизни. Данное мнѣ самому честное слово я долженъ былъ сдержать. Я долженъ былъ доказать и моей хорошенькой ласковой Джеммѣ и этому бронзовому истукану Багараджѣ, что я взрослый мужчина, а не мальчикъ, и что, если даю слово, то умѣю держать его.—Джемма и Багараджа не выходили изъ моего представленія, они стояли передо мной, мерещились мнѣ на-яву и во снѣ.

Съ другой стороны совѣсть мучила меня за то, что я не выполнилъ порученія Семена Никитича, т.-е. того, за чѣмъ онъ возилъ меня къ Багараджѣ. Я горѣлъ нетерпѣніемъ скорѣе исправить эту ошибку.

X.

Въ тотъ же день я обратился къ отцу съ убѣдительной просьбой выучить меня говорить по-индійски и, если можно, то скорѣе.

— Что такъ загорѣлось?—спросилъ меня отецъ съ его обычной усмѣшкой.—Люди учатся цѣлыми годами, ѣздятъ, живутъ въ Индіи... а ты, какъ всегда... На! Тяпъ,-ляпъ и корабль!.. По щучьему велѣнью, по моему хотѣнью, а по чьему нетерпѣнію?.. Этого и не знаешь!..

Я упросилъ его на другой же день привезти мнѣ индійскіе разговоры, грамматику и лексиконъ.

— Разговоры я тебѣ привезу и грамматику тоже, а лексиконъ ты можешь и у меня найти.

И онъ привезъ мнѣ и то и другое, только все на англійскомъ языкѣ. Слѣдовательно, я долженъ былъ съ языкомъ, совершенно для меня чуждымъ, управляться посредствомъ другаго также чужаго языка, который, я не скажу, чтобы зналъ основательно.

Но молодость двигаетъ горами.

На другой же день я сбѣгалъ къ Семену Никитичу и сказалъ, что я хоть сейчасъ готовъ загладить мою вину и вывѣдать отъ Джеммы, чья она дочь, и что у меня къ нему просьба, выучить меня говорить по-индійски и притомъ возможно скорѣе.

Семенъ Никитичъ вытаращилъ глаза и сказалъ:

— Покорнѣйше прошу!.. Къ чему такъ поспѣшно?.. Что такъ приспичило?.. Или въ Джемму влюбился?.. О! Плутъ-дипломатъ!.. А вѣдь хорошенькая дѣвочка!.. А? Неправдали, хорошенькая, покорнѣйше прошу!.. И коллье тебѣ подарила, богатѣйшее. Это... вѣдь по-индійски... только невѣсты женихамъ дарятъ... А? Покорнѣйше прошу!

Въ тотъ же день я съ жадностью засѣлъ за азбуку. Семенъ Никитичъ показалъ мнѣ выговоръ буквъ, къ которому надо было приспособиться, и я долго не могъ приналовить мое горло и языкъ къ этимъ гортаннымъ, грассирующимъ и грохочущимъ звукамъ.

Должно замѣтить, что въ то время моей юности я былъ не только упрямъ, но и настойчивъ; а къ этому присоединилось мое горячее увлеченіе шахматами, Джеммой и всѣмъ этимъ теченьемъ, которое я называлъ «индійскимъ навожденіемъ». Разумѣется, это увлеченіе не прошло мнѣ даромъ, и черезъ три, четыре дня я лежалъ въ постели, обложенный горчичниками и съ холоднымъ компрессомъ на головѣ. Я бредилъ по-индійски, звалъ Джемму, поминутно собирался въ Индію и разыгрывалъ самыя трудныя шахматныя игры.

На третій день медики, пользовавшіе меня и твердо опредѣлившіе у меня горячку, заявили, что у меня былъ просто приступъ остраго возбужденнаго состоянія, которое могло кончиться воспаленіемъ въ мозгу, приступъ, прошедшій благодаря ихъ лѣченію. Они строго настрого запре-

тили мнѣ игру въ шахматы и всякія умственныя занятія. Но, разумѣется, это запрещеніе было только фикціей, которой они утѣшали себя и мою добрую маму. Въ сущности же я разыгрывалъ въ умѣ шахматныя игры,—что было гораздо тяжелѣе и вреднѣе,—и зубрилъ и долбилъ наизусть индійскія слова и цѣлыя фразы.

Черезъ недѣлю я уже считалъ себя совершенно здоровымъ и усердно упрашивалъ Семена Никитича идти со мной къ Багараджѣ.

— Какъ же мы пойдемъ, покорнѣйше прошу, когда мать тебя не пускаетъ?!

— Семенъ Никитичъ!—вскричалъ я въ отчаяньи:—вѣдь Джемму могутъ увезти!.. И мы ничего не узнаемъ!

— Не такъ скоро, покорнѣйше прошу! Такія дѣла скоро не дѣлаются... Они еще растрясутъ здѣсь свою индійскую мошну... Покорнѣйше прошу!.. А главное, что мы не можемъ дѣйствовать до тѣхъ поръ, пока руки наши связаны. Еслибы ты былъ тогда умнѣе и спросилъ Джемму, какъ зовутъ ея отца, то мы, покорнѣйше прошу, были бы уже дома! А теперь... Вотъ... Стоимъ какъ раки на мели.

Черезъ нѣсколько дней мы, однако, двинулись съ нимъ снова къ Багараджѣ. Семенъ Никитичъ, кажется, успѣлъ убѣдить отца, что для ихъ цѣли существенно важно узнать, чья была дочь Джемма. Я упросилъ мать, чтобы мнѣ позволили надѣть болѣе легкое платье.

XI.

Когда, прежнимъ порядкомъ, меня ввели къ Джеммѣ, то я нашелъ ее не одну. Подлѣ нея, на диванѣ сидѣлъ высокій, худой старикъ въ бѣлой чалмѣ и съ длинной бѣлой бородой. На немъ ничего не было, кромѣ широкаго

бѣлаго пояса, который нѣсколько разъ былъ обвернутъ около его живота. Высохшее, исхудалое, но мускулистое тѣло его, бронзоваго цвѣта, представляло рѣзкій контрастъ съ его бѣлой бородой и чалмой, да и вообще на меня произвелъ отталкивающее впечатлѣніе его слишкомъ легкій костюмъ. Впрочемъ въ комнатѣ Джеммы было такъ жарко натоплено, что этому костюму можно было позавидовать.

Джемма, какъ только увидала меня, входящаго вслѣдъ за мулаткой, то радостно вскрикнула, всплеснула руками и бросилась ко мнѣ навстрѣчу.

— О! мой милый, дорогой мальчикъ! Звѣзда души моей! Ты былъ боленъ!? И, подведя къ старику, она что-то пробормотала ему по-индійски и сказала мнѣ указывая на старика.

— Это мой дядя, Джамма-Багавари.

Старикъ, ничего не говоря, схватилъ меня его длинными руками за обѣ мои руки и, крѣпко держа, уставилъ прямо на меня его бѣлесоватые глаза, зорко смотрѣвшіе изъ подъ густыхъ посѣдѣвшихъ бровей. Затѣмъ, не выпуская меня изъ своихъ мускулистыхъ рукъ, началъ что-то медленно говорить Джеммѣ, а она говорила мнѣ.

— Дядя находитъ, что ты добрый, честный мальчикъ. У тебя чистое сердце и ясные глаза.

Тогда я, краснѣя и заикаясь, сказалъ ей на деванагарскомъ нарѣчіи:

— Прошу сказать, что я очень люблю тебя и всѣхъ родственниковъ твоихъ.

Джемма съ радостнымъ крикомъ обняла меня.

— Онъ говоритъ по-индійски?—вскричала она по-англійски... Мой дядя!—заговорила она по-индійски, что-то объясняя ему. Но я тотчасъ же остановилъ ее.

— Джемма!—сказалъ я по-англійски:—эта фраза... я ее

составилъ и выучилъ... а больше я ничего не знаю. Я только хотѣлъ показать тебѣ, что я учусь по-индійски.

Она опять забормотала что то по своему.

— Мой милый мальчикъ!.. Хочешь, я буду учить тебя нашему великому языку?.. Ты знаешь ли, что на этомъ языкѣ написаны всѣ священныя книги Веды?.. Его только изуродовали, сдѣлали изъ него *урду* или *ректу*. Ты хочешь, чтобы я тебя учила?!.. Да?

Разумѣется, я съ радостью согласился и тутъ же, не откладывая въ долгій ящикъ, поспѣшилъ исполнить мою дипломатическую миссію.

— Скажи мнѣ, Джемма, — спросилъ я:—какъ зовутъ твоего отца?.. Вѣдь онъ живъ, надѣюсь?.. Да хранитъ его Отецъ Всемогущій!

— А зачѣмъ тебѣ, мой милый мальчикъ?! Душа моего сердца!—И тутъ же она обратилась съ какимъ-то вопросомъ къ Джамма-Багавари.

— Мнѣ это очень нужно,—сказалъ я. — Я тебѣ послѣ скажу.

— Ея отца,—сказалъ Джамма-Багавари:—зовутъ князь (раджа) Аянъ-Ханъ Бараджу-Матари.

И Джемма повторила его отвѣтъ.

— Онъ Раджа Джарраханскій? — спросилъ я Джемму. Она кивнула головой и тихо съ гордостью сказала:

— Да! Онъ Раджа Джарраханскій... Зачѣмъ же это тебѣ нужно?..

Но я такъ обрадовался этому отвѣту, который дозволялъ намъ (кому? я въ точности не зналъ) дѣйствовать въ пользу ея отца, что крѣпко обхватилъ ее руками и прошепталъ ей:

— Я тебѣ это послѣ разскажу... послѣ!..

— А я любопытна,—призналась она мнѣ также шепотомъ съ шаловливой усмѣшкой.—Меня будетъ это мучить.

— Нѣтъ! Послѣ!.. Послѣ!—И я посмотрѣлъ многозначительно кругомъ.—Пожалуйста!.. Милая моя, не спрашивай теперь.

Она посмотрѣла на Джамма-Багавари, что-то пробормотала ему по-индійски и вдругъ совершенно неожиданно крѣпко поцѣловала меня въ самыя губы.

Я никакъ не ожидалъ этой ласки. Скажу откровенно, что я чувствовалъ, что пользуюсь ею совершенно не законно.

Я остался еще ненадолго въ комнатѣ Джеммы и поспѣшилъ скорѣе къ Семену Никитичу, чтобы сообщить ему то, что я узналъ. Я постоянно твердилъ имя Раджи Джарраханскаго, чтобы не забыть его и передать въ точности. На сердцѣ у меня было удивительно весело и радостно.

Войдя въ комнату къ Багараджѣ, я бойко подошелъ къ Семену Никитичу и съ радостью, но шопотомъ ему на ухо сообщилъ имя отца Джеммы.

— Это вѣрно?..—спросилъ онъ, смотря на меня недовѣрчиво.

— Да!—кивнулъ я головой.

— Ну! Тогда помогай Богъ!.. Покорнѣйше прошу!

XII.

Уроки мои съ Джеммой начались черезъ два дня.

Нужно ли говорить, что эти уроки шли на всѣхъ парахъ? Вообще у меня были сильныя способности къ изученію языковъ, къ полиглоттіи. Это было, вѣроятно, наслѣдственное отъ отца. Но тутъ эти способности, кажется, по крайней мѣрѣ удвоились, если не удесятерились. Я схватывалъ многое и запоминалъ на лету. Я какимъ-то чутьемъ

проникалъ въ сокровенный смыслъ конструкціи языка, въ его идіомы и характеръ... Короче сказать, черезъ двѣ или три недѣли, т.-е. черезъ девять или десять уроковъ (чаще, чѣмъ три раза въ недѣлю меня не пускали къ Джеммѣ), я уже зналъ очень много фразъ и могъ самъ составлять довольно скоро эти фразы. Джемма была въ восторгѣ. Она съ такой теплой любовью ласкала меня, съ такимъ дѣтскимъ счастьемъ въ ея глазахъ, что я весь проникался гордостью и радостью и считалъ себя чуть-чуть не всемірнымъ геніемъ.

Должно замѣтить, что при нашихъ урокахъ постоянно присутствовалъ Джамма-Багавари, и когда присутствовалъ онъ, то всѣ прислужницы Джеммы удалялись, и она сама прислуживала ея дядѣ.

Когда этотъ дядя услыхалъ мою нетвердую рѣчь на дава̀нагарскомъ нарѣчіи, то онъ опять такъ же, какъ и въ первый разъ, обѣими руками крѣпко взялъ меня за предплечія и, держа прямо противъ себя, началъ говорить мнѣ тихо и торжественно.

— Слушай! Невинный отрокъ Всемогущаго. Если ты будешь такъ же прилеженъ, то тебѣ откроются тайны Премудраго, и ты не будешь слѣпцомъ.

И съ этихъ поръ, почти каждый разъ, когда онъ присутствовалъ на моемъ урокѣ, онъ послѣ этого урока говорилъ со мной при помощи Джеммы.

Онъ обыкновенно начиналъ свою рѣчь словами:

«Великій Брама говоритъ».

И когда онъ произносилъ эти слова, то Джемма поднималась съ дивана и вставала въ почтительную позу передъ дядей, скрестивъ руки на груди и склонивъ голову...

Прошло нѣсколько мѣсяцевъ и я совершенно освоился съ языкомъ Джеммы, легко понималъ ее и Джамма-Багавари и хотя съ трудомъ и неправильно, но могъ говорить.

Джемма была въ восторгѣ отъ меня, а Багавари дольше и дольше бесѣдовалъ со мной, такъ что, наконецъ, мнѣ не трудно было понимать его рѣчь. Впрочемъ, главное затрудненіе состояло здѣсь въ томъ, что я не могъ переспрашивать. Онъ не повторялъ того, что было сказано, и каждую свою рѣчь начиналъ неизмѣннымъ арабскимъ стихомъ:

«Слушай внимательно мудрыхъ и лови ихъ слова,
«Какъ птицъ быстрокрылыхъ»...

XIII.

Одинъ разъ онъ разсказалъ мнѣ притчу или преданіе, которое придавало шахматной игрѣ символическій смыслъ—разумѣется въ духѣ индійскихъ вѣрованій. Онъ говорилъ, что эта игра была въ очень древнее время, за нѣсколько сотъ вѣковъ, открыта одному изъ тысячи индійскихъ Буддъ, одному изъ тѣхъ Буддъ, которыхъ имя означаетъ «премудрость» и которыхъ зовутъ люди Мандши-Будда («Человѣкъ—премудрость»).

— Тайна міра лежитъ въ десницѣ Вышняго,—говорилъ Джамма-Багавери. Онъ премудрый устроитель и зиждитель всего существующаго. Въ немъ сила и мудрость. Благодать его,—вездѣсущая *Аказа*, все проникаетъ и всѣмъ распоряжается по его волѣ. Все небесное борется съ землей. Духъ борется съ плотью и не можетъ побѣдить ее. Но все, что совершается на землѣ и въ небѣ и во всемъ мірозданіи отмѣчено въ книгѣ судебъ,—такова воля Вышняго. Три ступени ведутъ къ царству Нирваны: жизнь плотская, жизнь душевная и благодатная жизнь духа. Всякій смертный долженъ пройти черезъ эти три ступени, чтобы выработать себѣ твердую волю, безстрастное сердце и благодатную силу. Всякій идетъ тѣмъ путемъ, который указала

ему воля Вышняго и совершаетъ то великое, что написано въ книгѣ судебъ. Но свѣтлая Аказа вѣчно работаетъ въ духѣ блага и любви всемірной. Она живетъ въ каждомъ человѣкѣ, еслибы даже этотъ человѣкъ былъ отданъ злымъ силамъ Кришну и Кали. И въ этой силѣ внутренняя, единичная свобода каждаго смертнаго. По закону великаго Вишну онъ долженъ творить его волю, и онъ творитъ ее. Но Аказа его остается вѣчно свободной. Злой Кришну и хитрая Кали могутъ опутать его злыми сѣтями и заставить совершить то, что написано въ книгѣ судебъ, но они не властны надъ его собственной, свободной волей. Когда духъ его возмущенъ, тогда человѣкъ не можетъ чувствовать этой свободы, но она въ немъ, въ его спокойномъ духѣ. При встрѣчѣ добра и зла духъ его влечется въ ту или другую сторону. Силы невидимыя просыпаются. Благо ему, если онъ послушается голоса сердца и пойдетъ направо. Горе ему, если онъ заглушитъ въ себѣ этотъ руководящій голосъ и пойдетъ за страстью, пойдетъ налѣво, въ сторону Кали и Кришну. И сказалъ великій Вишну мудрому Мануши: Вотъ премудрость міра! Иди и сдѣлай доску, раздѣленную на 64 квадрата. Да изобразитъ она борьбу сферъ небесныхъ, съ юдолей земной скорби, ибо на 64-хъ буквахъ утверждены всѣ земныя скорби и небесныя радости.

«Такъ явились шахматы въ семъ мірѣ,—прибавилъ Джамма-Багавари. Блаженъ, кто стремится проникнуть въ ихъ глубокій смыслъ, и горе тому, кто утѣшается ими, какъ пустой забавой человѣческаго ума».

И, проговоривъ это, Джамма Багавари замолкъ. И вдругъ ослабѣлъ, опустился, какъ будто длинный разсказъ утомилъ его старческое дряхлое тѣло.

Подбѣжала къ нему Джемма и начала ухаживать за своимъ дряхлымъ дядей.

XIV.

Этотъ разсказъ оставилъ во мнѣ впечатлѣніе на всю мою жизнь. Но только послѣ многихъ, многихъ лѣтъ я началъ смутно понимать отношеніе міровой воли къ единичной волѣ каждаго человѣка и каждаго индивида. И до сихъ поръ, я признаюсь, не могу вполнѣ ясно понять этихъ отношеній.

Но я никакъ не могу сказать, чтобы не было вовсе того, чего я не понимаю... Впрочемъ объ этомъ я еще буду имѣть случай поговорить потомъ.

Послѣ разсказа Багавари я иначе сталъ смотрѣть на шахматы. Для меня всѣ фигуры и пѣшки стали символами, за которыми пряталось что-то глубокое и непонятное. Мистическія представленія, очевидно, были въ моей натурѣ. —И Багавари, и Багараджа, и даже Джемма получили въ моихъ глазахъ какой-то особенный смыслъ.

Спустя много лѣтъ, когда я основательно познакомился съ нарѣчіями Индостана, я всюду искалъ того преданія, которое разсказалъ мнѣ Багавари. Но я нашелъ только разсказы, анекдотическіе, весьма неопредѣленные объ томъ, что какой-то дервишъ (я забылъ его имя) придумалъ забавлять какого-то шаха шахматной игрой. Таинственнаго, мистическаго смысла для шахматной игры я не нашелъ во всей индійской литературѣ. Между тѣмъ очень тяжелое событіе, разразившееся надъ Джеммой, какъ бы оправдывало смыслъ сказанія, которое мнѣ передалъ Багавари.

Прошла недѣля или двѣ, въ которыя происходила какая-то оживленная дѣятельность у «Индійцевъ». Такъ называла

мать моя всѣхъ пріѣзжихъ вмѣстѣ съ Багараджой. Отецъ и Семенъ Никитичъ о чемъ-то хлопотали, куда-то ѣздѣли; отецъ въ мундирѣ, а Семенъ Никитичъ во всѣхъ орденахъ. Багараджа съ его тѣлохранителями также куда-то ѣздилъ. И наконецъ что-то готовилось, назрѣвало, что мнѣ не удалось узнать. Но тутъ разразилось громовымъ ударомъ то, что лежало въ судьбахъ міра.

Въ это время у «Индійцевъ» началъ появляться одинъ молодой флигель-адъютантъ Графъ Б. Онъ былъ близокъ къ Государю, и я думалъ сначала, что дѣло «Индійцевъ» шло при его посредничествѣ, но вскорѣ я убѣдился, что онъ игралъ здѣсь роль только посыльнаго и нахально преувеличивалъ свое значеніе во всей этой плачевной исторіи.

Это былъ очень красивый, высокій и статный молодой человѣкъ, брюнетъ съ черными усиками и курчавыми волосами. Черты лица его были довольно правильны. Ровными дугами выведенныя брови. Большіе, черные, блестящіе глаза, но какъ-то вяло смотрящіе изъ подъ выпуклыхъ вѣкъ. Большой, нѣсколько чувственный, ротъ и довольно длинный и прямой носъ. Манеры его были очень ловкія, чисто придворныя. Голосъ—нѣжный, бархатный баритонъ. Говорилъ онъ какъ-то мягко, грассируя, и при этомъ такъ нѣжно, любовно смотрѣлъ въ глаза того, съ кѣмъ говорилъ. Съ перваго взгляда онъ мнѣ ужасно не понравился, но потомъ я подумалъ: «онъ долженъ быть такой добрый и услужливый господинъ».

Онъ пріѣзжалъ почти всегда въ сопровожденіи Семена Никитича, и всѣ разговоры его съ Багараджей велись черезъ переводчика. Я сталъ замѣчать, что почти съ тѣхъ самыхъ поръ, какъ онъ появился у «Индійцевъ», Джемма какъ-то стала задумчива и пуглива. Она часто не отвѣчала на мои вопросы, къ чему-то прислушиваясь. Иногда я находилъ ее въ углу на диванѣ съ закинутыми руками на

головѣ, съ закрытыми глазами и такъ сладко, восторженно улыбающуюся и мечтающую о чемъ-то.

Эта перемѣна меня сильно безпокоила; но Джемма отдѣлывалась отъ моихъ вопросовъ, шутя и играя. Порой я видѣлъ, какъ вдругъ, почти внезапно краска пропадала съ ея лица, и оно становилось изжелта блѣднымъ, а глаза какъ-то потухали, словно погружались куда-то вглубь. Порой на нее находилъ какой-то страстный порывъ нѣжности. Она съ такимъ самозабвеніемъ и слезами цѣловала меня, называла такими нѣжными именами, говорила дрожащимъ шопотомъ. Ея дыханье было такъ горячо, сердце билось неровнымъ боемъ, и грудь такъ тяжело поднималась. Она крѣпко прижималась къ моей груди, такъ что я невольно отстранялся отъ нея.

Одинъ разъ такой порывъ кончился слезами и истерикой. Въ комнатѣ никого не было. Всѣ прислужницы ея ушли. Страшно перепуганный я бросился въ сосѣднюю комнату, гдѣ были онѣ и позвалъ ихъ.

Онѣ говорили, что это сглазу, какъ-то косо и подозрительно смотрѣли на меня, обмахивали Джемму вѣерами опахалами и окуривали ее какими-то крѣпкими одуряющими ароматами. Онѣ говорили, чтобы я ушелъ. Но я не хотѣлъ оставить Джемму до тѣхъ поръ, пока она не пришла въ себя, и сама не сказала мнѣ, что я долженъ уйти.

XV.

Нужно ли говорить, въ какомъ страхѣ и волненіи я вернулся на половину Багараджи. Но его не было дома, и я со слезами на глазахъ отправился прямо къ Семену Никитичу и передалъ ему все мое горе. Я сказалъ, что Джемма больна, чуть не умираетъ, но добрый старикъ успоко-

илъ меня и объявилъ, что это бываетъ съ каждой дѣвушкой въ ея года, и что теперь я не долженъ ходить къ нимъ, по крайней мѣрѣ съ недѣлю.

— Нѣтъ, я этого не могу!—вскричалъ я и залился слезами.

— Какъ не можешь?—удивился Семенъ Ныкитичъ.

— Не могу... я люблю ее.—И я припалъ на спинку кресла и разразился неистовыми рыданіями.

— Покорнѣйше прошу!—вскричалъ Семенъ Никитичъ: Ты!.. Карапузъ!.. Скажите пожалуйста!.. Вздоръ, вздоръ!.. Если ты такъ будешь вести себя, то тебя больше не пустятъ къ ней... Покорнѣйше прошу! Я, первый, скажу матери, чтобы тебя не пускали... Это вредно для тебя и для нея...

И эта угроза такъ напугала меня, что я, несмотря на всю мою гордость, бросился передъ нимъ на колѣни и, рыдая, началъ обнимать его ноги. Однимъ словомъ, я не помнилъ себя, и весь былъ «подъ вліяніемъ»,—какъ нынче говорятъ,—«страстнаго аффекта».

Онъ поднялъ меня и началъ утѣшать.

— Ну! Покорнѣйше прошу!.. Успокойся!.. Стыдись!.. Покорнѣйше прошу!.. Взрослый мальчикъ... Покорнѣйше прошу!.. Григорій! дай ему холодной воды... Покорнѣйше прошу!.. Григорій! (и онъ позвонилъ).

Я понемногу успокоился, но цѣлый день у меня сильно болѣла голова, и весь я былъ какъ будто разбитый.

На другой день, съ самаго утра, у насъ былъ Семенъ Никитичъ... Я тотчасъ же обратился къ нему съ разспросами, что Джемма? Что съ ней?

Онъ махнулъ рукой.

— Собирается,—проговорилъ онъ.

— Куда же собирается?—допрашивалъ я дрожа, какъ въ лихорадкѣ.

— А во дворецъ... Покорнѣйше прошу!.. Представляться Государю Императору и Государынѣ Императрицѣ.

— Зачѣмъ же?—спросилъ я съ ужасомъ и сожалѣніемъ.

— Какъ зачѣмъ? Басурманъ ты московскій!... Покорнѣйше прошу!.. Государь и Государыня пожелали видѣть ее, и дядю ея, и Багараджу, а ты спрашиваешь, зачѣмъ?.. Покорнѣйше прошу!.. Дѣло теперь на мази... Превосходнѣйшимъ порядкомъ!.. Покорнѣйше прошу!

На другой же день я упросилъ, чтобы меня отпустили «къ нимъ», и побѣжалъ со всѣхъ ногъ.

Въ первой комнатѣ, которая была больше другихъ и представляла родъ залы, я нашелъ князя Б... Увидавъ меня, онъ съ ловкой развязностью подлетѣлъ ко мнѣ.

— А?! Здравствуйте! Молодой человѣкъ! Выздоровѣли? Какъ теперь здоровье ваше? Ничего? А?

И онъ, наклонясь ко мнѣ, съ такимъ участіемъ засматривалъ въ мои глаза и такъ крѣпко жалъ мнѣ руку. Эксельбанты красиво свѣшивались съ его груди, на которой было довольно много крестиковъ и медалей, и прежде всего бѣлѣлъ Георгіевскій крестъ.

— Послушайте, молодой человѣкъ,—говорилъ онъ.— Вѣдь, вы пройдете, вѣроятно, къ Джеммѣ... Неправда ли?.. Ее вчера очень милостиво приняла Императрица и подарила ей превосходный фермуаръ съ изумрудомъ... Такъ если вы пройдете къ Джеммѣ... то вѣдь неловко молодому человѣку приходить... къ дѣвушкѣ съ пустыми руками... Я объ этомъ думалъ... Я позаботился о васъ... — И онъ изъ задняго кармана мундира вынулъ не большую коробку, обвязанную розовой ленточкой.

— Вотъ!—сказалъ онъ, подавая мнѣ коробку,—передайте ей и кланяйтесь отъ меня... Это особенныя восточныя конфекты... Передайте ей... Прошу васъ.

Я нерѣшительно взялъ коробку и сказалъ:

— Хорошо! Я передамъ.

— Только лучше вы сдѣлаете, если спрячете куда нибудь эту коробку... А то вы понимаете... этотъ Багараджа... Они, вѣдь, ужасно суевѣрны и подозрительны, ужасно!! Они будутъ разспрашивать васъ: да какъ? да почему?.. И отберутъ отъ васъ коробку... Какъ надсмотрщики на таможнѣ... И не пропустятъ!.. А Джемма такъ любитъ сладкое!..

И, говоря это, онъ засунулъ коробку въ боковой карманъ моей бархатной визитки.

Я пришелъ къ Багараджѣ, который встрѣтилъ меня его обыкновеннымъ восточнымъ привѣтствіемъ и сказалъ одному изъ слугъ, чтобы онъ проводилъ меня къ Джеммѣ.

Джемма крѣпко обрадовалась мнѣ. Она обнимала и цѣловала меня, приговаривая:

— Радость сердца моего! Свѣтъ моей души! Мой глазочекъ ясный!..

Я шепнулъ ей, что у меня ѣсть нѣчто передать ей отъ князя Б.

Она вся вспыхнула и вскричала по-англійски:

— Въ самомъ дѣлѣ!.. Ахъ! Какъ я довольна и рада!

И я вынулъ коробку и передалъ ей.

Она быстро развязала, раскрыла ее дрожащими руками и, взявъ одну конфекту, положила въ ротъ. Подъ конфектой лежала записка, сложенная вчетверо.

Что было въ этой запискѣ, я не могъ узнать, такъ какъ она тотчасъ же спрятала ее въ карманъ, оглянувшись по сторонамъ, и спросила меня шопотомъ:

— Ты, вѣдь, никому не скажешь? Не выдашь меня, мой дорогой мальчикъ? Нѣтъ!?.. Ты мнѣ это обѣщаешь?

— Я никого никогда не выдавалъ и выдавать не буду... Но это нехорошо.

— Что нехорошо?

— Нехорошо, что ты тайно отъ твоихъ дядей получаешь записки отъ молодаго человѣка.

Она встала передо мной на колѣни и, обнявъ меня, самымъ тихимъ шопотомъ проговорила надъ моимъ ухомъ по-англійски:

— Я люблю его!—и вдругъ, припавъ ко мнѣ, тихо заплакала.

Мнѣ стало ужасно жаль ее.

— Не плачь, Джемма...—утѣшалъ я ее:—милая моя; Всевышній все устраиваетъ къ лучшему. Не плачь, дорогая моя!

Она крѣпко поцѣловала меня, быстро поднялась съ полу и оправилась.

Я былъ въ такомъ возбужденномъ состояніи, что плохо сознавалъ, что совершилось, и что я сдѣлалъ, и что творится кругомъ меня. Голова моя кружилась.

Вспоминая теперь эту сцену и то чувство, которое тогда обхватило мое сердце, мнѣ кажется, главный фонъ его была злоба, злоба на князя Б.. Еслибы я зналъ, что онъ передаетъ ей записки въ конфектахъ, я ни за чтобы не исполнилъ его гнуснаго порученія... И она любитъ его?!. Вотъ это всего болѣе возмущало меня... Но что же дурное я могъ сказать о немъ? Онъ былъ стариннаго княжескаго рода. Его предки были въ связи съ владѣтельными домами. Хотя въ Грузіи, но все таки они были владѣтельные князья.

XVI.

Я скоро простился съ Джеммой и ушелъ домой въ самомъ печальномъ настроеніи. Любилъ ли я ее или нѣтъ, я этого до сихъ поръ не знаю. Чувство мое было очевидно

сочиненное. Это была аффектація. Какая же могла быть любовь у 13 лѣтняго мальчика?

Тѣмъ не менѣе я мечталъ, какъ только сдѣлаюсь взрослымъ, женюсь на Джеммѣ. У нея богатыя владѣнія въ Индіи. Я приму индійскую вѣру и сдѣлаюсь Раджей—владѣтельнымъ княземъ индійскимъ. У меня будетъ много городовъ, будетъ столица, хрустальный дворецъ, множество слоновъ и между ними десять бѣлыхъ слоновъ,—непремѣнно десять. Я построю великолѣпный храмъ, гдѣ будутъ поклоняться Вишну.

Все это устраивалось въ мечтахъ такъ легко. Но, разумѣется, центръ этой мечты или самый крупный брилльянтъ ея это была Джемма. Мои невольники открывали богатѣйшія алмазныя розсыпи, гораздо богаче голкондскихъ рудниковъ. Я осыплю Джемму съ головы до ногъ брилльянтами. Я уберу всю ея комнату брилльянтами.

И вотъ всѣ эти мечты теперь были сразу опрокинуты княземъ Б. «Я его вызову на дуэль», думалъ я: «непремѣнно вызову... Мы будемъ драться на пистолетахъ, и я убью его... Непремѣнно убью...» И эта мысль такъ серьезно засѣла въ моей головѣ, что я началъ уже придумывать, кого бы я могъ пригласить къ себѣ въ секунданты.

Это напряженное состояніе и сильная головная боль, наконецъ, разрѣшились какой-то сложной болѣзнью, которая имѣла неопредѣленный характеръ и сильно перепугала и отца и мать и всѣхъ моихъ домашнихъ.

Въ бреду, который былъ со мною и продолжался нѣсколько дней, мнѣ казалось, что я видѣлъ Джемму, что она наклонялась ко мнѣ и цѣловала меня, что она приходила навѣстить меня больного. Разумѣется, все это былъ бредъ. Никогда Джемму не пустили бы ко мнѣ.

Но я получилъ отъ нея во время моей болѣзни подарокъ. Это были тѣ священныя четки, отъ которыхъ она

предлагала мнѣ одну бусынку. Она прислала ихъ мнѣ съ мулаткой и служителемъ гостинницы и написала по-индійски коротенькую записочку:

«Да будетъ надъ тобой благая воля Великаго. Дорогой мой! Свѣтъ души моей! Надѣнь прилагаемыя четки на твою дорогую шейку, и смерть не похититъ тебя.

Любящая тебя Джемма».

Я постоянно цѣловалъ присланныя ею четки. Я исполнилъ ея просьбу, но, разумѣется, четки нимало не участвовали въ моемъ выздоровленіи.

Какъ только я началъ поправляться, то мною овладѣло непреодолимое желаніе видѣть Джемму.

Докторъ сказалъ, что это желаніе непремѣнно надо исполнить.

Помню, это было на послѣднихъ дняхъ Пасхи.

Весна была ранняя. Не Невскомъ начинали уже развертываться листья липъ (Тогда по Невскому проходила цѣлая аллея липокъ). Дни стояли солнечные. Несмотря на это, меня укутали, какъ мумію, и сдали съ рукъ на руки Семену Никитичу, который повезъ меня къ Демуту.

Помню, все тогда меня радовало, но главная радость, свиданіе съ Джеммой, была впереди.

Багараджа былъ такой же, какъ и прежде. Точно также нисколько не измѣнился и Джамма-Багавари, но Джемма, что сталось съ Джеммой! Я ахнулъ, и сердце мое сжалось.

Это была не пятнадцатилѣтняя дѣвушка, веселая, живая, очаровательная. Это была тѣнь Джеммы. Это была, если не старая, то сильно пожилая женщина съ худымъ блѣднымъ, лицомъ, и только одни глаза ея были тѣ же ярко-блестящіе, черные, добрые глаза прежней Джеммы. Мнѣ кажется, они стали еще больше.

— Джемма, что съ тобой?!—вскричалъ я со слезами.— Ты была больна!?

— Да! Такъ же, какъ и ты, мой дорогой, милый мальчикъ. И она припала къ моей груди, обняла меня крѣпко и нѣсколько мгновеній не выпускала изъ ея объятій.

Но на всѣ мои вопросы она молчала и какъ-то кротко болѣзненно улыбалась.

— Мой дорогой! Радость сердца моего!—прошептала она надо мной.—Исполнишь ты мою просьбу, только одну просьбу?

— Разумѣется, исполню! Можешь ли ты сомнѣваться въ томъ?

— Вотъ!—сказала она и, вынувъ изъ ея платья крохотную записку, подала и сказала чуть слышно:—Передай ему!

Я также чуть слышно спросилъ ее:—Князю Б.?—Она молча кивнула головой.

И я ничего не могъ сказать ей на эту просьбу, и если бы она попросила меня привезти къ ней князя или устроить какимъ-бы то ни было образомъ съ нимъ свиданіе, то и на это я согласился бы безпрекословно.

Я не могъ говорить, не могъ смотрѣть на нее безъ слезъ, а она прямо, не мигая, смотрѣла на меня ея черными, большими глазами и грустно улыбалась.

XVII.

На другой же день я исполнилъ порученіе Джеммы.

Я встрѣтилъ князя у Семена Никитича и, отозвавъ его къ окну, передалъ ему, когда въ комнатѣ никого не было, записку Джеммы. Я думалъ, что онъ, взглянувъ на нее, обрадуется, расцѣлуетъ ее, но онъ просто оглянулся кругомъ, взглянулъ, прищуривъ глаза, на записку и, скомкавъ ее опустилъ въ задній карманъ его мундира. Очевидно, что эта записка была не такъ дорога ему, какъ мнѣ. Еелибы я

получилъ записку отъ нея, моей дорогой радости сердца... О!.. Я бы не разставался съ ней. Я цѣловалъ бы ее со слезами, а онъ!?.

Я тогда не зналъ, что эта записка была не первая и не послѣдняя между ними, только она была рѣшительная...

Сдѣлавшись невольно и негаданно передатчикомъ ихъ любовной корреспонденціи, я постоянно колебался, не открыть ли это Семену Никитичу. Онъ добрый. Мнѣ все казалось, что изъ этой переписки выйдетъ что-нибудь ужасное. Я открою ему такъ, какъ нибудь, не говоря именъ...' И эта мысль чаще и чаще стала навертываться, какъ противодѣйствіе моимъ тайнымъ страхамъ. Наконецъ, я спросилъ его:

— А что, Семенъ Никитичъ, если Джемма влюбится въ меня и начнетъ писать мнѣ записки, а я къ ней?..

Я предложилъ этотъ вопросъ въ совершенно серьезной формѣ. Но Семенъ Никитичъ, взглянувъ на меня, залился самымъ добродушнымъ смѣхомъ.

— Ахъ! Ты сердцеѣдъ индійскій!—вскричалъ онъ. Такъ вотъ какъ!.. Ты хочешь завести сердечную дипломатію, и если узнаетъ Багараджа или Джамма-Багавари, то Джемму, покорнѣйше прошу, засадятъ въ темную, на хлѣбъ да на воду... а тебя, покорнѣйше прошу!!—И онъ, отворотивъ обшлага халата, началъ хлопать по голой рукѣ.—А я и вицу приготовлю!.. Покорнѣйше прошу!

Разумѣется, прежде всего я возмутился до глубины души тѣмъ, что Семенъ Никитичъ предполагаетъ возможнымъ для меня такое постыдное наказаніе, но вмѣстѣ съ тѣмъ я понялъ, что, дѣйствительно, преступленіе должно быть ужасно; если моя дѣтская любовь можетъ произвести такія послѣдствія, то что же послѣдуетъ, если откроютъ любовь Джеммы къ князю?!.. Я просто замиралъ отъ ужаса.

Въ тотъ же день я рѣшился поговорить съ Джеммой,

поговорить дружески, какъ братъ съ сестрой Я спрашивалъ себя, приведетъ ли ея любовь къ чему нибудь, и чѣмъ она можетъ кончиться? Нѣсколько разъ я въ мечтахъ устраивалъ свадьбу Джеммы съ княземъ. Я считалъ это вполнѣ возможнымъ. Въ моемъ великодушномъ порывѣ я отрекался отъ Джеммы въ пользу его. Я говорилъ: «что же? если дѣйствительно она любитъ, и онъ любитъ ее, то я, любя ее, развѣ не радъ буду ея счастью?» И я уже начиналъ мечтать, какая это будетъ великолѣпная блестящая свадьба. Она непремѣнно будетъ здѣсь, въ Петербургѣ, въ Казанскомъ соборѣ (тогда Исаакіевскій соборъ не былъ еще оконченъ). И я непремѣнно буду ея шаферомъ (обстоятельство, что я ниже ее, нисколько меня не смущало). И нѣсколько разъ въ день я примѣривалъ передъ зеркаломъ, могу ли я держать надъ ней вѣнецъ. Я отчаянно вытягивалъ мою руку и рѣшалъ, что могу. На другой день свадьбы я приду къ молодымъ, уведу Джемму въ уголокъ и скажу ей: «Я любилъ тебя, какъ не могутъ любить двадцать тысячъ князей, и теперь для меня все кончено. Я отрекаюсь отъ свѣта». И тотчасъ же удалюсь на Валаамъ, въ монастырь. Мечтая объ этомъ послѣднемъ эпизодѣ, я заливался такими горько-сладкими слезами, бѣгалъ по комнатѣ и восхищался моимъ великодушіемъ.

Около 12 часовъ я побѣжалъ къ ней, поздоровался по обыкновенію съ Багараджей, и меня провели къ ней. Я засталъ ее одну, на диванѣ, въ самомъ темномъ углу. Увидавъ меня, она радостно вскрикнула и пошла ко мнѣ на встрѣчу. Она, кажется, въ эти два дня еще болѣе похудѣла и поблѣднѣла.

— Джемма!—сказалъ я, когда она усадила меня съ ногами на диванъ, подлѣ нея,—когда же будетъ ваша свадьба, и почему князь не является къ тебѣ женихомъ и не ѣздитъ къ тебѣ каждый день?

Она посмотрѣла на меня и засмѣялась.

— Я объ этомъ не мечтала, мой дорогой мальчикъ. Это невозможно!—И она вздохнула и грустно задумалась.

— Какъ же такъ?.. Джемма! Развѣ можно любить другъ друга и не желать свадьбы?

— Свадьба... это сказка... Слушай, мой дорогой, я разскажу тебѣ хорошую индійскую сказку. Слушай!..

XVIII.

И она закуталась въ ея большую индійскую шаль, хотя въ комнатѣ и было вѣрныхъ 20 градусовъ, если не больше. Она начала говорить мѣрно, риѳмическими стихами. Она говорила рапсодію, и ей недоставало только аккомпанимента. Сказка эта такъ мнѣ понравилась, что я потомъ отыскалъ ее.

«Благословенъ Всевышній въ чудныхъ дѣлахъ твореній. Моря и горы, лѣса и долы поютъ ему хвалу и вѣчную славу».

«На берегу моря Гіэтала, въ роскошномъ лѣсу каллабара расцвѣла розовая Калима. Лучше этого цвѣтка не видали ни дивы, ни пери. Вѣчному слава»!

«Она была стройна, какъ пальма Даулила. Расцвѣла она, и весь лѣсъ наполнился ея благоуханіемъ, ибо было оно дыханіе красоты и молодости. Вѣчному слава»!

«Пери Альяра наклонилась къ цвѣтку и дала ему свѣжесть утренней росы. И на жаркомъ солнцѣ заблестѣлъ цвѣтокъ Калимы, засверкалъ тысячами брилльянтовыхъ огней. Вѣчному слава!

«И наклонилась надъ нимъ Пери Марбуни и дала ему очарованіе. И всѣ цвѣты и травы, всѣ кусты и деревья устремились къ Калимѣ. И не могли они отвести отъ нея очей наслажденія... Вѣчному слава!

«И наклонилась надъ цвѣткомъ Пери Амарра и вложила въ него лучшее, что у нея было. Она вложила въ самую его сердцевину любящее сердце. И моря, и горы, лѣса и долины, все стало близко Калимѣ. Все ожило и отразилось, какъ въ зеркалѣ, въ ея сердцѣ. Вѣчному Слава!

«И говорили Калимѣ всѣ цвѣты и травы, кусты и деревья: «Воля вѣчнаго Вишну да исполнится на тебѣ. И принесешь ты сладкій плодъ, который также будетъ ароматенъ, какъ твое дыханіе. Вѣчному Слава!

«Но не исполнила Калима воли Вишну. Понравились ей не цвѣты, а свободная, вольная птица Бугуръ. Красивая птица; звучно распѣвала она въ роскошномъ лѣсу, на берегу моря Гіэтала.—Вѣчному слава!

«Ужаснулись всѣ цвѣты и травы, кусты и деревья. «Лучше бы ты напилась ядовитыхъ испареній отъ цвѣтовъ Баннара», сказали они Калимѣ. «Птица Бугуръ съѣстъ твое сердце, она оборветъ твою красоту». «Но, сказала Калима:—«Да будетъ!»—Вѣчному слава!

«Ужаснулись всѣ пери и дивы. «Несчастная, сказали онѣ: «зачѣмъ желаніе твоего сердца ты ставишь выше воли великаго Вишну? Борись съ твоей страстью... Борись и принеси добрый плодъ. Такова воля Небесъ!.. Вѣчному слава!

«Какъ же я буду бороться съ моей страстью»,—сказала Калима: «развѣ не Онъ послалъ любовь и страсть въ мое сердце, и не по Его волѣ бьется мое сердце?»—Вѣчному слава!

«И всѣ пери и дивы, и всѣ цвѣты и травы, кусты и деревья, всѣ въ одинъ голосъ сказали: «Спроси твоего сердца! оно скажетъ, гдѣ воля Премудраго.—Вѣчному слава!

«Но не захотѣла Калима слушаться голоса сердца. — Лучше мнѣ наслажденіе, чѣмъ борьба и страданіе; къ нему зоветъ меня мое сердце, Приди, князь души моей!.. Моя радость и счастье! Моя любовь!..»

И при этихъ словахъ Джемма вдругъ зарыдала и припала къ плечу моему.

— Джемма!—вскричалъ я:—Моя дорогая! Успокойся!.. Не надо мнѣ твоей сказки... Не хочу я!..

Она подняла свою голову. Она остановила на мнѣ ея большіе неподвижные глаза, изъ которыхъ бѣжали слезы, и, стиснувъ мои руки въ ея холодныхъ ручкахъ, начала шептать страстнымъ дрожащимъ шопотомъ.

«И прилетѣла птица Бугуръ — красивая птица. Крылья ея блестятъ, какъ рубины, ея грудь — багряная заря надъ долиной Джаннара.—И сердце Калимы потянулось все къ птицѣ Бугуру.—Вѣчному слава!

«И клюнула птица Бугуръ Калиму въ самую середину цвѣтка, въ сердцевину стебля, клюнула въ ея горячее сердце... И облетѣли лепестки, и выступила алая кровь Калимы, и взялъ ее духъ злой Кришну, чтобы мучить ее десять вѣковъ. Свершилась воля судебъ!—Вѣчному слава.

И, съ трудомъ проговоривъ это, она закрыла глаза и откинулась на спинку дивана. Дыханіе ея было коротко и неровно... Тяжело и быстро поднималась и опускалась ея грудь, и лицо ея было какъ у мертвой.

— Джемма! — вскричалъ я.—Дорогая, родная моя! Неужели ты принесла себя въ жертву страсти? Неужели ты отдалась птицѣ Бугуру?..

XIX.

Она ничего не отвѣчала, только еще сильнѣе сжала мои руки въ ея холодныхъ рукахъ. Дыханіе ея становилось медленнѣе. Она болѣе и болѣе блѣднѣла и, помню, я страшно боялся въ ту минуту, чтобы она не умерла.

Вдругъ все это какъ будто слетѣло съ нея. Она встре-

Всюду тянется что то отвратительное, какіе то осклизлые лохмотья.

Господи! Гдѣ же спасенье... отъ земной грязи!..

— Оно внутри тебя!—Шепчетъ ей строгій голосъ—оно въ дѣтской простотѣ невиннаго сердца. Въ любви къ чистому и возвышенному!..

И Гризли чувствуетъ, какъ радостны эти слова, какъ твердое и тихое успокоеніе вливается съ ними въ душу... Съ нее спадаетъ тяжесть плоти, грязь, горе. Она стала ребенкомъ, маленькой дѣвочкой... Вотъ тысячи маленькихъ головокъ смотрятъ изъ всѣхъ цвѣтовъ... расплетаются вѣнками, блестятъ звѣздочьками.

— Выше Гризли! Выше!.. говорятъ они, полетимъ выше отъ земли въ чистыя высоты, гдѣ нѣтъ ничего земнаго... Ни стремленій, ни запаха земли.

И она летитъ, поднимается выше и выше... Она чувствуетъ, что тяжесть и грязь земли спадаетъ съ нея; она чувствуетъ, какъ рвутся гнилыя нити, привязывавшія ее къ этой землѣ, полной всякихъ гадостей... Она летитъ къ свѣту, который всѣхъ любящихъ грѣетъ съ такой великой неземной силой и любовью... Онъ блеститъ надъ ней, своими ласковыми притягивающими лучами — и въ этихъ лучахъ исчезаютъ всѣ узы земныя, таютъ всѣ помыслы и стремленія плоти...

Она видитъ, какъ незамѣтно спускается, окружаетъ ее красота небесная...

И она понимаетъ, что эта красота полна гармоніи, что она часть великаго свѣта, блещущаго въ высотахъ недостижимыхъ.

Кругомъ ея невиданные, непостижимые цвѣты и деревья... Это не красота земная. Нѣтъ! Это что-то высшее, недостижимое и не описуемое... Это садъ, въ которомъ все стройно, прекрасно, на что можно вѣчно смотрѣть и не налюбоваться...

И чудный нѣжащій свѣтъ, и чудный нѣжный ласкающій запахъ, святое благоуханіе...

— Господи! Вотъ дѣти!.. Много дѣтей. Она слышитъ ихъ радостный лепетъ... Ихъ говоръ, веселые крики и дѣтскія пѣсни... Они всѣ взялись за руки, составили громадный кругъ и запѣли славу... Славу Ему — славному и сильному, доброму и любящему... Ему—источнику свѣта, любви и всякой красоты и гармоніи!

И въ слезахъ отъ сильнаго душевнаго порыва, Гризли вся приникла долу.

. . . . . .

— Иди! Пора!—шепчетъ ей строгій голосъ...—Иди назадъ.....

— Куда же идти!?.....

Но она чувствуетъ, какъ тихо, тихо, незамѣтно она опускается долу... Закрывается, меркнетъ красота небесная, меркнетъ свѣтъ нѣжный и ласковый!.. Сердце снова сжимается земной тоской и страданіемъ...

— Господи!—простираетъ она руки къ небу.—Господи! Отецъ мой небесный!.. Смилуйся надъ твоей дочерью... Не дай мнѣ снова погрузиться въ тьму земную.

— Иди!.. Твердитъ ей повелительный голосъ...

И чувствуетъ она, что уже окружаетъ ее надземный воздухъ, тяжелая убійственная атмосфера и опять этотъ невыносимый, тлетворный запахъ, запахъ плоти, пота и крови... земныхъ трудовъ и страданій. Опять окружаетъ ее грязь земли — жидкая, зловонная... Грязь и пыль... Опять носятся въ воздухѣ тѣ же злыя крохотныя существа... Много ихъ, цѣлыя миріады!

Вотъ она опять въ ея спальнѣ и видитъ, какъ передъ ней на диванѣ лежитъ опять она... въ мертвенной неподвижности...

Вся душа ея замираетъ отъ страха и горя...

— Иди!—твердитъ могучій, повелительный голосъ...

И остановилась она надъ этимъ страшнымъ мертвымъ тѣломъ.

— «Въ немъ нѣтъ духа жизни и оттого оно такъ безобразно...—думаетъ она.—Въ немъ точно въ темной, душной темницѣ».

И она наклоняется надъ нимъ, смотритъ... Какъ страшно глядитъ этотъ бѣлый полуоткрытый, закатившійся глазъ... И эти космы волосъ, грубыхъ, точно проволоки... И вся эта мертвая плоть, покрытая холоднымъ, липкимъ, вонючимъ потомъ... При одной мысли, что она должна войдти въ нее... во всѣ эти кровавые органы и фибры, въ эти отвратительныя слизистыя оболочки и поры... При одной этой мысли у ней сжимается сердце, кружится голова...

— Господи!—шепчетъ она:—Спаси!.. Избави!..

— Иди!!.—твердитъ могучій, неумолимый голосъ.

И она сама не зная какъ, съ слезами отчаянія, бросается въ это мертвое тѣло и въ то же время оно все проникается жизнью...

Забилось сердце, вздохнула грудь, втянула убійственный тяжелый смрадный воздухъ земли... приподнялась Гризли... очнулась... Только смутныя, тоскующія тѣни проходятъ въ ея сознаніи, и тяжело и больно ей... и слезы сами льются изъ глазъ.

XIV.

Тяжелые дни спустились на старой домъ. Дождь и непогода пируютъ въ старомъ саду, точно поздней осенью. Неслышно пѣнія птичекъ, присмирѣли, запрятались, даже, юркіе воробьи; попрятались всѣ насѣкомыя.

Тяжело, противно Гризли это скучное—унынie стараго

сада; но еще противнѣе ей унылыя стѣны стараго дома,—запачканныя,—осыпающіяся—противна ей запыленная, душная зала и почернѣлая позолота рамъ на картинахъ и самыя картины, потрескавшіяся и выцвѣтшія.

— Все рушится!.. Все тлѣнъ!.. наслѣдіе червей и могилы—шепчетъ она.

Но гдѣ же это вѣчное... недосягаемое—что наполняло такимъ сладкимъ трепетомъ ея дѣтскія грезы... когда жизнь манила ее въ даль невѣдомаго и смутно желаннаго?!.

— Все вздоръ! Все бабья сказка!—слышится Гризли смущающій голосъ старыхъ стѣнъ, мраморовъ, бронзы и картинъ.

И постоянно чудится Гризли тяжелый смрадный запахъ... точно запахъ старыхъ, тлѣющихъ костей...

Воздуху нѣтъ!... этого тяжелаго, губительнаго, разрушающаго воздуха, этого вѣрнаго помощника времени... крылатаго, дряхлаго старика съ косой...

— Это все дѣло кислорода и озона — говоритъ — Гриша... это зубъ времени!..

И она закутывается теплой шалью... Ей холодно; лихорадка въ ея тѣлѣ, въ ея костяхъ... Но она должна идти... Тамъ, въ ея больницѣ лежатъ страждующія и немощныя... Каждое утро навѣщаетъ ихъ Гризли... Иногда она проводитъ даже ночи у постели больной, которая нуждается въ утѣшеніи ..

— Вотъ!—думаетъ Гризли—здѣсь нѣтъ тяжелыхъ мучительныхъ вопросовъ, здѣсь нѣтъ красоты... нѣтъ неопредѣленныхъ стремленій къ таинственнымъ неизвѣстнымъ областямъ... Но отчего же сердце все-таки бьется любовью къ этимъ страждующимъ и немощнымъ?...

— Что?—спрашиваетъ Гризли, наклоняясь надъ больной, еще не старой, но страшно исхудавшей женщиной.—Лучше ли тебѣ Агафья?....

— Матушка наша—шепчетъ Агафья — ангелъ нашъ... дѣточекъ моихъ... крохотныхъ не оставь!..

И слезы текутъ изъ ея глазъ.

— Не оставлю... милая... не оставлю... будь покойна!..

— Болѣзная наша—говоритъ баба—сама то ты наша благодѣтельница... кака худая, испитая, болѣзная... лихоманка съ тобой?... что ли?.. дрожишь ты вся.

— Это пройдетъ! ничего!—говоритъ Гризли.

И дѣйствительно она чувствуетъ, какъ по временамъ это проходитъ. Лихорадка оставляетъ ее и она полна молодыхъ силъ и жизни... И ей хотѣлось бы, страстно хотѣлось, отдать эти молодыя крѣпкія силы всѣмъ этимъ, хворымъ, болѣзнымъ, умирающимъ.

— На что они мнѣ?!—думаетъ Гризли—на что они этому бренному тѣлу; хлипкому, этому праху земному... пускай разрушается!.. если нѣтъ другой свѣтлой жизни... жизни полной красоты, гармоніи, свѣта истины и благости... Зачѣмъ же жить?!

Живи чтобы трудиться
Трудись чтобы жить.

Шепчетъ несмолкаемый, однообразный дождь и унылый вѣтеръ.

— О! я знаю эту лукавую пѣсню!.. Я не вѣрю ей!.. Я вѣрю въ то высшее, что надъ нами, что выше бреннаго земнаго и сіяетъ тамъ... за этими плачущими небесами...

И она смотритъ на верьхъ, на сѣрое небо и съ этого неба каплютъ ей на лицо мелкія дождевыя капли.

— Это слезинки Господни!..—думаетъ она.—Это слезы людскаго горя, земной тяготы и неволи.

И идетъ она домой, кутаясь въ шаль... Но и сквозь теплую шаль долитъ ее внутренній холодъ...

Вотъ уже нѣсколько дней, почти каждую ночь и каждый день является этотъ нестерпимый холодъ, отъ котораго дрожитъ душа ея и сердце...

Напрасно ея Гриша старается побѣдить ея лихорадку и

слабость. Его сила оказывается безсильна. Натура Гризли уже не поддается ему, не засыпаетъ, какъ прежде отъ одного его прикосновенія, отъ одного взгляда, отъ одной мысли...

— Гриша! — говоритъ Гризли — мнѣ страшно за тебя, за твое сердце, за твои убѣжденія и вѣрованія.

Онъ пожимаетъ плечами.

— Вѣрованій у меня нѣтъ—говоритъ онъ,— а мои убѣжденія всѣ вытекаютъ изъ неумолимой логики фактовъ... Я не могу, какъ ты, ставить выше всего чувство... Не могу отдать себя служенію прихотей глупаго сердца.

— Гриша! — сказала она, приподнявшись съ постели, и схватила его за руку... Гриша! Не разрушай этой жизни, которой ты не можешь сочувствовать, не тронь этой вѣры, которую ты не понимаешь! Скажи мнѣ: неужели же все человѣчество ошибалось до сихъ поръ...

Онъ медленно кивнулъ головой и сказалъ задумчиво:

— Все развивается. Глупое смѣняется умнымъ. Одностороннее — многостороннимъ. Страсти и животныя посягания — стремленіемъ къ истинѣ. Фанатизмъ — разсудочностью и человѣчностью...

— Но вѣдь человѣчность Гриша... Это любовь! — Любовь къ брату моему, къ человѣку?

— Нѣтъ это разсудокъ... Я — одинъ не могу ничего сдѣлать, но чѣмъ больше насъ и чѣмъ энергичнѣе мы работаемъ, тѣмъ успѣшнѣе и крупнѣе результаты—плоды нашей работы... Чтобы работать я долженъ быть сытъ, одѣтъ, свободенъ и доволенъ жизнью—также какъ и всякій другой работникъ... Вотъ въ этомъ и лежитъ вся человѣчность. А остальное все извращеніе, бабьи бредни, прихоть плѣннаго ума, развратъ мозга, — который ведетъ къ истерикѣ и къ фанатизму...

И съ этими словами что-то холодное, тяжелое, словно скользкій холодный гадъ, наползаетъ на сердце Гризли...

— Гриша! — вскричала она, вся замирая отъ ужаса.— Страшна!.. Тяжела эта холодная жизнь!.. Въ истинѣ лежитъ любовь... Это ея душа... Необходимо чтобы знаніе было полезно для меньшихъ страждующихъ братій нашихъ.

И она вся трепещетъ. Дрожатъ ея руки и ноги отъ нестерпимаго внутренняго холода. Зубы сталкиваются. Языкъ не слушается...

Она закрываетъ голову и старается ни о чемъ не думать, ничего нечувствовать и желаетъ одного—полнаго всепоглощающаго забвенія.

Долго сидитъ Гриша, сидитъ цѣлый часъ — по временамъ взглядывая на нее, и наконецъ тихо, не слышно, встаетъ, уходитъ и притворяетъ двери...

. . . . . .

XV.

Свѣтаетъ!... Темныя тучи бродятъ по небу... Холодный вѣтеръ гудитъ въ полѣ.

Очнулась Гризли. Тихо привстала и сѣла на постель. Все ноетъ внутри ее... и все что передъ глазами смотритъ какъ во снѣ, пустомъ и тягостномъ...

И какой-то внутренній ласковый голосъ твердитъ Гризли одно и тоже.

— Успокойся безпокойная душа!... Усни сострадательное сердце!...

Сѣрый свѣтъ крадется въ окно. Сѣрыя тѣни волнуются вокругъ Гризли. Клубятся, слетаются... сходятся, расходятся и вновь таютъ, исчезаютъ.

— Ты наша, наша Гризли!—говорятъ эти тѣни...—Ты вѣтка нашего стариннаго рода!...

— Ты наша, наша Гризли!...—говорятъ свѣтлыя дѣтскія

головки...—И сколько ихъ—этихъ головокъ!! точно на Сикстинской Мадоннѣ... Весь воздухъ наполненъ этими чудными головками.

— Ты наша, наша Гризли—шепчутъ какіе-то таинственные голоса... которые тамъ, гдѣ-то въ недосягаемой вышинѣ, звучатъ окруженные дивнымъ, неприступнымъ сіяніемъ любви...

Дрема и грёзы, сны и мечты долятъ Гризли... Она точно во снѣ встаетъ.

Утро или вечеръ вокругъ нее? Какой-то туманъ, хаосъ!.. Да не все ли равно?! Она чувствуетъ и нечувствуетъ свое тѣло.

И туманъ въ головѣ, и звонъ въ ушахъ и, при всякомъ малѣйшемъ движеніи... вся комната передъ ней вертится, вертится и рябитъ въ глазахъ.

Но собираетъ она всю крѣпость, всю мощь ея духа... И выходитъ она изъ спальни идетъ по заламъ стараго дома... По мертвымъ, пыльнымъ, разрушающимся заламъ...

О! Теперь она знаетъ: нѣтъ въ нихъ красоты, нѣтъ въ нихъ гармоніи... Она тамъ... въ недосягаемой вышинѣ... въ свѣтлыхъ порывахъ, человѣческаго духа... А здѣсь сусальная поддѣлка ея... Мертвые образы, въ которыхъ человѣкъ думалъ воспроизвести нетлѣнную красоту неба мраморомъ, бронзой и кистью.

— Тамъ красота—шепчетъ она—гдѣ благо!.. Тамъ... въ недосягаемыхъ высотахъ... далекихъ отъ всего земнаго, бреннаго.

И больно и противно ей смотрѣть на все, что окружаетъ ее теперь въ старомъ домѣ... И кажется ей, что все это должно сгорѣть въ огнѣ очищенія...

— Не оживетъ, аще не умретъ!..—шепчутъ ей и стѣны, и мраморъ, и картины, и всѣ атомы стараго дряхлаго дома...

И какіе-то звуки дрожатъ въ ея душѣ и сердце. Чудные

сладостные звуки, отъ которыхъ такъ отрадно замираетъ сердце... и такъ легко, свободно во всемъ существѣ ея...

О! Она чувствуетъ, что эти звуки... призывные звуки... Что она поднимается по ихъ дрожащимъ ,протянутымъ струнамъ... Не звуки это, а какіе-то токи... теченья, таинственныя и влекущія...

Въ сердцѣ свѣтло... покойно.—Звуки поютъ чудную мелодію... Свѣтъ тихій, ласковый, окружаетъ ее... Она плыветъ, она поднимается... выше, выше... выше...

Все сердце ея полно радостью и трепетомъ.

— Господи!—думаетъ она, достойна ли я?..

Но кругомъ ея свѣтлыя чистыя созданія и кто то ведетъ, несетъ ее, на крыльяхъ могучихъ...

— Ты дѣлала добро!,. Говоритъ его голосъ, строгій и ласковый. Ты стремилась къ благу. Ты облеклась любовью. Ты просвѣтилась!—Земное исчезло—эфирное одѣло тебя... Воля Великаго исполнилась!!.

. . . . . .

XVI.

Старый Дормидонычъ, истопникъ стараго княжаго дома, проснулся ни свѣтъ, ни заря. Голова у него болитъ и кружится; всего его разломило. Дрожатъ, трясутся руки и ноги. Туманъ и мракъ въ головѣ, звонъ въ ушахъ.

Вчера онъ былъ пьянъ; въ первый и, можетъ быть, въ послѣдній разъ въ его жизни онъ напился...

Да и какъ же было устоять ему, когда тяжелое горе сломило его?

Захворала его княжна. Двадцать пять лѣтъ былъ онъ истопникомъ стараго дома. Двадцать пять лѣтъ не видалъ и не слыхалъ онъ такой смуты, какая идетъ теперь въ старомъ княжомъ домѣ.

Заболѣла княжна, тяжко заболѣла. Онъ самъ видѣлъ ее въ спальнѣ: лежитъ она блѣдная, какъ пластъ и тихо стонетъ.

Сказалъ ему старый дворовый, сѣдой Архипъ, что въ винѣ забвенье. И выпилъ Дормидонычъ. Болитъ, кружится его голова.

Но по-прежнему несетъ онъ тяжелую вязанку дровъ въ княжіе покои. И топитъ старикъ массивныя, нарядныя печи и камины. Но неслушаются его старыя, пьяныя, дрожащія руки. Неслушаются его ни лучины, ни береста. Натолкаетъ онъ много въ печь, а ему кажется все мало, и подбавляетъ онъ еще и еще. Зажжетъ—и пойдетъ дымъ. Идетъ дымъ, валитъ. «Эка бѣда!—шепчетъ старикъ,—забылъ, знать, отдушники закрыть и зачѣмъ топить!?.. Среди лѣта!»...

И смутно припоминаетъ Дормидонычъ, говорила ему старая Ненила: «Не забудь закрыть отдушники!»

И лѣзетъ, шаритъ онъ въ потьмахъ: «Гдѣ тутъ отдушникъ-то, непутный!.. Прости Господи!»..—А открылъ-ли онъ трубы? Этого онъ и самъ не помнитъ. «Да и зачѣмъ ихъ открывать,—думаетъ онъ,—кажинный день? Только княжія вьюшки ломаешь... Ну, подымитъ маненько, подымитъ и перестанетъ».

И не видитъ, сквозь дымъ, старый Дормидонычъ, что вывалились горящія щепки и даже цѣлыя полѣнья, на паркетъ, что горитъ уже паркетъ и занимается мебель и портьеры.

— «Ну, ихъ!—думаетъ онъ.—Вишь, какой злой дымъ!.. Такъ и ѣстъ глаза!» А глаза у него старческіе, больные.

И выходитъ онъ вонъ изъ залъ. «Кажись всѣ печи затопилъ,—думаетъ онъ.—И всѣ печи дымятъ. Какъ есть всѣ—надо починить, чай... Охъ, голова, голова похмѣльная!».

И затопилъ онъ печи чуть не съ полночи, во второмъ часу ночи. Пошелъ, шатаясь и повалился въ своей каморкѣ на грязный, замасляный тюфякъ. Еще князь старый сдѣлалъ

ему этотъ тюфякъ. И сладко уснулъ Дормидонычъ. Но не спитъ злой огонь.

Разгорается онъ шире и шире; сильнѣе затрещали, задымились старыя обои; трещитъ и горитъ старая мебель. Съ ужасомъ смотрятъ старыя стѣны на дѣло разрушенія.

Безстрастно смотрятъ старыя ели изъ сада. Угрюмо качаютъ сѣдыми вершинами и тихо бормочатъ:

«Бренное проходитъ! Вѣчное остается!».

Горятъ, тлѣютъ старыя картины. Трескается мраморъ, калится бронза. Смрадъ и дымъ идутъ по всему старому дому. Гулъ и трескъ катится въ старыхъ залахъ. Работаетъ, гуляетъ, радуется злой огонь. Вырвался онъ на свободу разрушенія...

Сладко спятъ всѣ въ старомъ домѣ.

. . . . . .

XVII.

Чуть-чуть брезжитъ утренній свѣтъ. Очнулись, проснулись слуги стараго дома. Проснулся и Гриша...

Вопли и крики наполнили старый домъ. Вопли и крики понеслись съ полей и весей.

— Княжой домъ горитъ! Старый домъ горитъ!..—гудитъ въ ночномъ воздухѣ.

Бѣгутъ, спѣшатъ со всѣхъ сторонъ... Едва, кое какъ одѣлся Гриша.

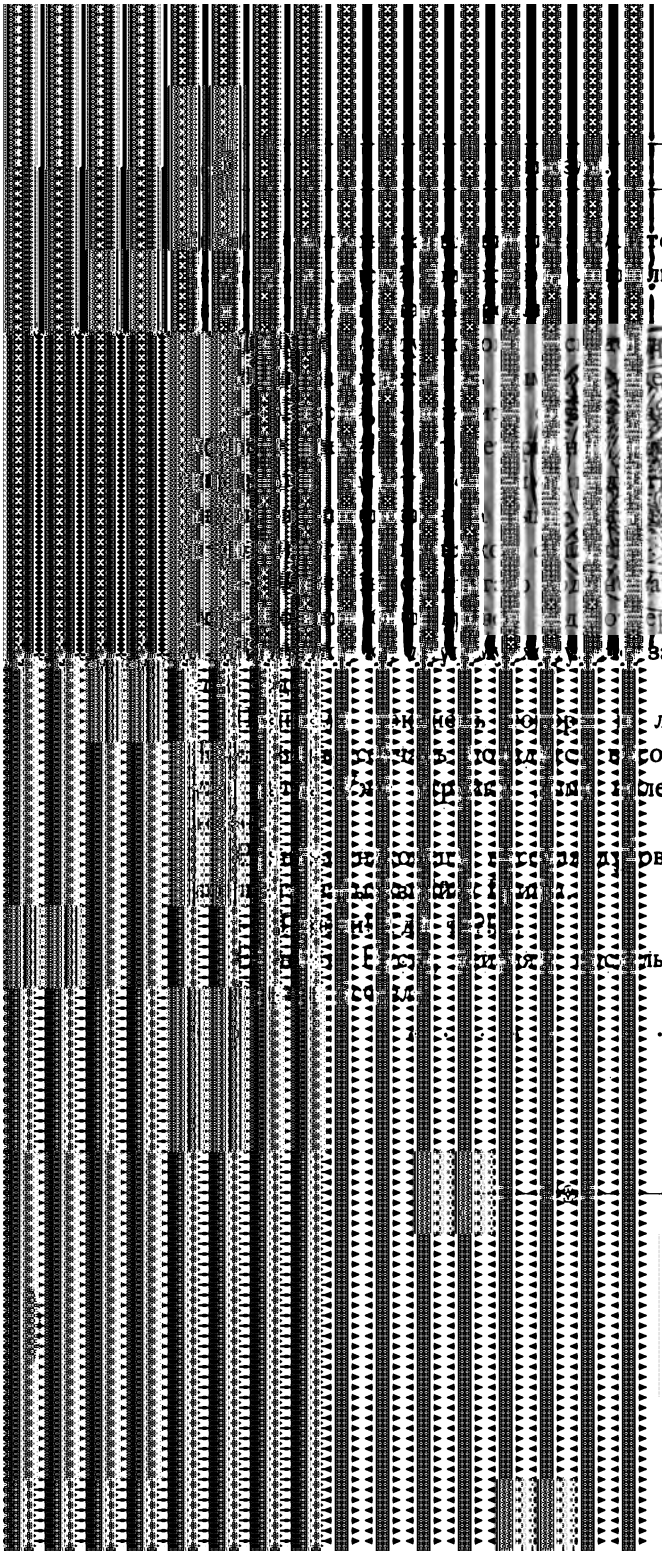
— Гдѣ барашня? Кричитъ онъ... Не спитъ ли она?!

И всѣ, вмѣстѣ съ нимъ, бросаются въ спальню княжны.

Но спальня заперта. Стучатся, торкаются въ двери... Кричатъ, зовутъ...

Гробовое молчаніе отвѣтъ имъ...

А огонь уже разрушилъ парадныя залы... Горитъ библі-



ОГЛАВЛЕНІЕ.

ЧЕТВЕРТАГО ТОМА.

	СТРАН.
1. Новый вѣкъ	1
2. При царѣ Горохѣ (сказка)	7
3. Два брата	40
4. Инегильда (разсказъ)	67
5. Актриса (изъ провинціальныхъ воспоминаній)	130
6. Гризли (поэма-фантазія): часть первая	215
часть вторая	283

PG 3470
V2
v.4

University Libraries
ord, California

ook on or before date due.